

1989 № 8 (32)
АВГУСТ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЕЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

НАДЕЖДА РЯБОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (2)
Линардс Таунс. Стихи (8)
Улдис Берзиньш. Стихи (9)
Маргерс Зариньш. «Политически незрелый сон» (12)
Юлия Кисина. Стихи (14)
Игорь Клех. «Введение в галицийский контекст» (16)
Бруно Шульц. Из книги «Лавки пряностей» (19)
Игорь Клех. Рассказы (24)
Григорий Комский. «Дом» (28)
Илья Кутик. Стихи (29)

КУЛЬТУРА

- Янис Тамужс: «... Так родились мои рисунки» (32)
Видвудс Ингелевичс. Фотографии (39)
Гагик Карапетян. «Москва—Тбилиси. Апрельские уроки» (42)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Екатерина Борщова. «Энергия заблуждения» (48)
Рудите Калпиня. «Теперь, когда истина установлена» (54)
Айварс Клявис. Интервью (62)
Тина Гринберга. «Кто мы и куда идем?» (64)
Программа ДННЛ (70)
Байба Озолия. «ДННЛ в Латвии» (71)

ЛИТЕРАТУРА

- «Нам пишут...» (73)
М. Агеев. «Роман с кокаином» (74)



Фотопрография АНДРИСА КРИВНИНЬША

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

Перевод АНТЫ СКОРОВОЙ

РОМАН

*«Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
И жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.»*

(В. Набоков. В поезде)

Поезд тронулся точно в назначенный час и минуту. Высвобожденные руками машиниста, тысячи дизельных лошадиных сил закрутили колеса локомотива, и по ту сторону стекла поплыли мимо фасад вокзала, столбы семафоров и фонарей, толпы людей и горы чемоданов. Бледное ноябрьское солнце отсвечивало в лужах перрона, в глазах ребятни и на голенищах милиционера. «Ну, все, вперед, на землю обетованную!» — чуть было не выкрикнул Арнольд, как только перестал махать на прощанье кучке знакомых. Он взглянул на загаженные голубями часы времен культа личности, и до него вдруг дошло — еще не поздно, ей-богу, не поздно: вскочи ты, кинься вон из купе, промчись сквозь проход спального вагона, распахни дверь, и — прыгай, пока поезд не достиг запретной зоны у моста, где колючая проволока, прожектора и вооруженный охранник в будке. Надо успеть. Первая пуля — в небо, вторая — промеж лопаток. Черт поberi, ну и оторопь бы взяла провожающих там, на перроне, катапультируйся я из вагона, стремительно набирающего ход. Вытряхнулся бы этаким кубарем, а потом встал бы, почистил замаранные грязью брюки и объявил бы, так, промежду прочим: я, передумал, к чему мне э т о, в конце концов. Я ошибся, да, ошибся, а ошибки надо исправлять, покуда они не превратились в трагедии или, по крайней мере, в несчастные случаи. Я готов просить прощение, каяться. Письменно в газетах или устно с голубого экрана. Вымаливать прощения, стоя на коленях на родной земле.

Конечно, он остался сидеть неподвижно. На землю обетованную! Вперед на полных парах! Арнольду неожиданно вспомнились исторические фильмы о революции и гражданской войне. Их герои спархивали с крыш мчащихся вагонов, носили буденовки на затылке, а за пазухой мандаты, ни черта не боялись — ни Антанты, ни тифа и левых эсеров, грезили будущим, а наяву пели о паровозе, который идет все вперед. Арнольд в этот миг лицезрел конструкции моста, мутную воду реки, закопанную в камень набережную, праздничные транспаранты и золотых петушков, сидящих на церковных башнях. Да, впрямь Домский силуэт, трех стрелков из красного гранита, бунтовщиков Пятого года с дровком в руках, неоновое прославление несокрушимой дружбы народов СССР или высоту отеля «Латвия» придется ласкать взором лишь в воспоминаниях, во сне или на открытках. Арнольд перебрал на столике букеты поздних цветов. Пахло свежей землей и осенью. Мелкие хризантемы, ну, точно, кладбищенские цветы. Каждому свой час уготован, ах ты страсть какая, жил я себе, добрый человек, и на тебе, какая тяжкая утрата, жестокий слепой рок! Мир праху моему, да будет пухом отчая земля! Похоронные марши прокатываются в стьлом воздухе, колокол часовни, каркает воронье, деревья стоят сырые, и нищие, а вдали сквозь сетку ветвей виден бойкий язычок газового пламени Вечного огня. *Мать Латвия* скорбит уже который год, старушки несут астры

по усыпанным листвой дорожкам, охотники до цветов прячут руки в карманах, а поллитровки в карманах штанов, и тут я возвращаюсь. Чокнутого старикашку, чья последнюю волю усопшего, ссыпали в жестяной короб, за доставку которого плачено долларами, франками, марками, а может быть шеккелями, да, почему бы и не шеккелями? Пути господни неисповедимы, а обрезать всегда можно успеть.

Тут Арнольд взглянул на жену и, к удивлению, заметил в ее глазах слезы.

— Тебе не холодно, Софья?

Жена покачала головой в знак отрицания.

— Вагон, кажется, все-таки отапливают, — сказал Арнольд и тут же сообразил, насколько лишним был вопрос. Фраза, только что брошенная, прозвучала как нельзя более глупо, а лицо жены казалось странным от того, что Софья была без серег. На их месте на мочках маленькие, еле заметные дырочки. Ерунда какая, взамен вечно сверкающих бриллиантов теперь искрится соленая водица. За все надо платить, иногда и каратами. Пес с ними, с каратами, негры еще накопают в кимберлийских шахтах, главное, он едет. Арнольд потянул как следует ноги и ухмыльнулся, ведь ему как пассажиру полагается теперь развернуть газетный сверток, очищать крутые яйца, мусолить куриное крылышко и хрумкать русским огурцом, да, и, совершенно верно, бегать по вагону, выпрашивая у проводницы горячего чаю.

Попутчица тем временем перебирала в купе увесистую поклажу. В воздухе витали запахи разнообразной снеди. Зашла проводница, обрадовалась свободному месту и сгребла билеты. Арнольд попросил подыскать какую-нибудь посудину для цветочков. А поезд уже мчался через пригородные поля — у кромки горизонта мелькал трактор, на бороздах согнувшиеся горожане-помощники выковыривали из грязи второй хлеб. Софья упорно молчала, дама в ангоровом костюме разобралась с багажом и с облегчением села, высморкалась и принялась рассказывать, что едет в Брест к сыну, Юритиса в мае в армию забрали, он студент у нее, учится на ветеринара, в животных души не чаает, а в солдатах с едой неважно, все каша да каша, мама должна наведаться, вкусенькое привезти, пусть потешится, да и офицерам тоже надо черную икру и черный бальзам в глотку сунуть, а то укут мальчишку в Афганистан, Чернобыль или к белым медведям... Женщина еще расспрашивала, сколько ему, Арнольду, лет и служил ли в армии. Арнольд ответил, что весной тридцать пять стукнуло, в армии не был, зато в тюрьме отсидел. За расхищение государственной собственности, он добавил примирительно. Все равно, женщина пообедала, стала подтягивать поближе пузатые сумки с отбивными и компотами и умоляюще смотрит на дверь. Тут Софье пришлось успокоить соседку, объяснить, что муж бывший танкист,

старший сержант, иногда он шутит, а сегодня они едут вдвоем в Брест — на экскурсию и по магазинам. Тем временем проводница принесла литровую банку с водой. Наконец цветы поставлены — агония продлится, и можно раскачиваться дальше в такт постукиванию колес.

Арнольд направился в тамбур, там двое мужчин курили, стряхивая пепел на пол, разговор шел о футболе. Заперевшись в туалете, Арнольд пил коньяк. Из крана подле него падали редкие капли, на полке валялся иссохшийся бурый обмылок, в унитазе белели обрывки «Правды», табличка призывала пользоваться туалетом исключительно во время движения поезда. Мимо окна проплывала осенняя Земгальская равнина, Арнольд смотрел на голые поля и ждал, когда, наконец, тепло достигнет кончиков пальцев и руки перестанут предательски дрожать и когда же алкогольный яд незаметно снимет накопившееся в сознании напряжение, подобно бряцающей железной цепи, которую тащат по брусчатке бензовоз, чтобы отвести в землю заряд статического электричества и уберечь цистерну от взрыва. Пахло хлоркой. Арнольд задумался о пассажирах в поезде — вагон затхлый, пыльный, из репродуктора доносится бодрая песня, проводница разносит чаек в отбитых стаканах и влажные, побывавшие в дезинфекции простыни, ночью она спекулирует водкой или торгует телом. Напротив друг друга сидят людишки, их лица серы и равнодушны. За стенкой визжат грудные дети, крепко пахнет потом, темно, кто-то надоедливо храпит. А колеса все стучат, впереди мелькают семафоры и переключаются стрелки, на улице стихает дождь и тянется до горизонта однообразная пахота. Так мы и едем, не ведая, куда, считаем часы и ждем конечной станции. Мозолит глаза красный стопкран, так и тянет сорвать его. Мы слоняемся по коридорам, режемся в карты, пьем, курим в уборных, щиплем баб за ляжки и рыгаем — так длится поездка, и приходится довольствоваться отражением мелькающих столбов на сетчатке глаза — единственное, чем может порадовать эта езда.

Арнольд, смакуя, сделал еще глоток коньяка. Похмелье он заработал накануне вечером за богатым столом — искрилось шампанское и хрусталь, император Франции взирал с коньячных этикеток и считал у гостей во рту куски поглощаемых ими деликатесов, водка прославляла «Золотое кольцо» России, а серебро чайных ложек, ведомое интеллигентными руками, деликатно касалось довоенного фарфора. Им с женой завидовали, ими гордились и желали счастливой дороги. Гости обсуждали: с каким трудом даются иностранные языки, как сложно утвердить вузовский диплом, какие там пособия и благотворительные фонды, примечали, что на первых порах дешевле всего питаться курами и бананами. Толковали о СПИДе, Горбачеве, о возможных еврейских погромах и о чеках Внешпосылторга. Пересказывали политические анекдоты и криминальные слухи, в тот вечер довелось много смеяться и танцевать, клясть советскую власть тут и инфляцию там. Без конца упоминали родственников в Хайфе и на Брайтонбич, поносили таможную и хором распевали песню «*Havanagila*». На всеобщем жаргоне подобные вечеринки назывались коротко — «отплытие». Но утехи мстились нещадно. Не помог даже принятый на ночь профилактический коктейль — активированный уголь, успокоительное, плюс ферменты для улучшения деятельности желудка. Все равно утром голова раскалывалась, тут как тут черный юмор и неумолимый страх смерти, проклятый спутник жизни, который заставляет время от времени вздрагивать от ужаса и выгоняет маслянистые капли пота на лице и в подмышках. Ум в такие минуты отказывается осознавать бесконечность вселенной, так хочется достигнуть края и заглянуть вниз, в пустоту, к тому же забывается, что человек всего лишь более или менее сложная биологическая машина с определенным гарантийным сроком, его не продлевают даже самое невинное топливо, сожженное в топках клеток — кислород. От бессилия Арнольда подмывало выругаться, в бессмертие души он не верил ни в изрядном подпитии, ни при свете

рождественских свечей. Арнольд невольно прислушался. Мужчины в тамбуре принялись обсуждать женщин. Раздавались слова, оставленные анонимным автором на стенах туалета, причем текст был проиллюстрирован нацарапанными рисунками, простыми и доходчивыми, как каракули древнего человека на пещерных скалах. Арнольд еще раз поднес флягу к губам и, насладившись глотком, стал разглядывать гравировку на корпусе сосуда, — орла и готические буквы «*Waffen SS*», — завинтил пробку и услышал...

... и услышал рядом низкий голос Мартыньша:

— Старик, всю водку не вылакай!

— Не свисти, начальник! — он отпарировал.

— Классная фляга... Откуда?

— Ты что, гебешник?

— Не хочешь говорить, не надо...

— Гросфатер в легионе служил. Глотку прочищал, чтобы «Голубой платочек»¹ лучше пелся и «шмайсер» в руках не дрожал.

— А-а-а... — не поднаторевший в питье Мартыньш поперхнулся. — В Сибирь сослали?

— Десять лет у Усатого горбатился... Идем, наши далеко вперед ушли!.. Куда нам эти шесты девать, — Арнольд упрятал флягу в карман ветровки.

— Стой!.. Дай воду слить.

Мартыньш повернулся к стене дома. Моча дымилась на морозном утреннем воздухе. Мартыньш, застегивая ширинку, кажется, еще сказал: «Вот кайф», потом они схватили знамена, выбежали из подворотни и припустили за институтской праздничной колонной. Арнольду был доверен флаг Грузинской ССР с синим солнцем, а Мартыньш нес, как пипку, штандарт одной из республик Средней Азии. Своих они догнали недалеко от набережной. Пронизывающий ветер, разыгравшись над судьбоносной рекой, то трепал транспаранты, украшенные цифирью и призывами, то цеплялся за полы пальто демонстрантов, вырывал надувные шарики из детских ручонки и протаскивал по асфальту не одну шляпу. Дежурные дружинники на перекрестках торопили колонну, вопили через мегафон и требовали «подтянуться». Тут институтские парни налегли и бегом покатали тележку с эмблемой вуза — бокалом зелья, увитым змеей. Милиціонеры командовали, общественники ассистировали, и толпа галопом мчалась навстречу порывам ветра, в том числе и декан — в солидном пальто, в тщательно отутюженных брюках и с красной розеткой над сердцем коммуниста — поскакал в указанном направлении. Потом строю было приказано выравняться. Вот и трибуны, стоявшие на их высотах товарищи махали трудящимся в знак праздничного приветствия, а у подножия, у роскошных цветочных корзин, мерзли девушки в национальных костюмах с накладными косами. На демонстрантов целились объективы телекамер, а с огромного портрета хмурились пышные брови генсека. Заслыша через громкоговорители дикторские здравицы — «Да здравствует студенческая молодежь!», — все орало в ответ — «Ура, ура-а-а!..» Наконец колонна успешно отошла маршем от набережной. В ближайшем переулке ждал грузовик, в него загрузили тележку и флаги. Один из деятелей комитета комсомола проверял их численность и сохранность, контролировал лозунги и осматривал посаженные на шесть портреты государственных мужей. Арнольд еще заметил вожаку, что если пропадет хоть один флаг, то их всех расформируют, а беднягу секретаря предадут трибуналу.

С честью выполнив патриотический долг, группа первокурсников, сбросились и судорожно прикидывали, сколько банок выдет. Ребята надеялись на выброшенную в магазины дешевую водку, девочки просили шампанского. Они спешили, на улицах по случаю праздника было перекрыто движение, под ногами, как использованные презервативы, валялись лопнувшие надувные шарики, поблескивали осколки бутылок и лед в лужах. Выездные буфеты торговали нарасхват беляшами и фруктовой водой. Попавшая на демонстрацию малышня размахивала флаж-

ками, ветераны звенели медалями из-под распахнутых пальто, а в ближайших скверах были видны аккордеонисты. Они браво выводили «Катюшу» и «Амурские волны», на лицах многочисленных вальсирующих расцвела неподдельная радость за этот день, за долгие годы мира и благополучия. Вокруг слышались песни, радостные возгласы, хмельные голоса, духовая музыка и стук в дверь. Прозвучало:

— Эй, ты, давай побыстрей!²

Арнольд швырнул окурки в унитаз и повернул замок. На пороге стоял один из курильщиков. Мужчина был в тренировочных штанах с вытяннутыми коленками и в клетчатых фетровых шлепанцах.

— Ну, что так долго?

— По-большому сходить — не поле перейти, — философски произнес Арнольд.

Мужчина привычно матернулся и скрылся в уборной.

В купе Арнольд увидел, что жена орудует маникюрными щипчиками, а мама защитника родины читает «Унесенные ветром». Это было довоенное издание, женщина прямо выхватывала слова с пожелтевших страниц, и радость на ее лице сменялась гримасой грусти, уголки ярко накрашенных губ так и тянулись вниз.

— Стало легче? — спросила Софья, не поднимая головы, и взяла пилочку.

— Да, — ответил Арнольд. Софья была мудрой женщиной, в таких случаях она не морщилась и не закатывала истерику, потому что прекрасно знала, Арнольд после алкогольного эксцесса отходит с умом и расстановкой, тормозит тягу к спиртному внимательно, словно машинист тяжеловоза, и вовсе не собирается умирать в похмелье от паралича сердца. Возня с ногтями заменяла Софье транквилизаторы, и в минуты напряжения она могла часами сидеть неподвижно и заниматься своими холеными руками. Хризантемы раскачивались в банке из-под огурцов, шелестели страницы книги, и блестящая стальная пилочка продолжала свой бег между пальцев — туда, сюда, туда, сюда — а главное, наконец стало легче...

— ... легче? Стало легче? — уже который раз спрашивалась у больного доктор Дунская.

Арнольд находился рядом в этой пышно обставленной комнате, его белый халат отражался в стеклах мебельных витрин, ноги вязли в восточном ковре чуть ли не по щиколотки. Торшер излучал алый свет, вокруг ни пылинки. Лицо пациента казалось безжизненным — на диване лежал мужчина в импортном спортивном костюме. Худощавый, лет пятидесяти. Опасный возраст, когда может вдруг одолеть инфаркт или инсульт. Если больному посчастливится вытянуть, он спешно бросает курево и выпивку, соблюдает диету и всю оставшуюся жизнь отдает ужин врагу, обеими руками голосует за умеренность в супружеской постели, презирает лифты, по утрам усердно делает зарядку и долгие годы выписывает специальные медицинские журналы.

Жена пациента, кажется, об этом не думала. Дебелая блондинка ломала руки и чуть ли не в десятый раз рассказывала, как Харис вернулся с работы, перекусил, смотрел телевизор в кресле и неожиданно стих, она еще что-то спросила, напрасно, Харис был без сознания, ладони, казалось, уже похолодели, она кинулась звонить в «скорую помощь». Вдвоем с сыном уложили папу в постель и стали ожидать врачей. Арнольд повернул голову. Сын-подросток стоял в протертых джинсах и в майке с рекламой кока-колы на груди.

— Стало легче? — врач осведомилась в который раз и попыталась нащупать пульс.

На столике валялись пустые ампулы, тут же вечерняя газета и ключи от автомашины в брелке с костяной фигуркой слона. Лицо мужчины казалось серым, морщины словно золотом выдолблены, рот был приоткрыт, при свете лампы поблескивала коронка зуба. Арнольд взглянул на часы. Стрелка на циферблате зачеркнула еще одну минуту. Тает шестидесятая часть белого круга, ракета за этот срок

достигает верхних слоев атмосферы, а мозговые клетки начинают чувствовать, как стихает ток крови, и они уже на пятую часть приблизились к смерти от кислородного голодания.

— Вы побывали в Индии? — спросил неожиданно Арнольд, указывая на медную вазу на полке.

— Зимой. В Индии и на Цейлоне, — хозяйка ответила автоматически, — путевка стоила целых две тысячи.

— Будьте любезны, принесите чистое полотенце!

— Да, да, — женщина засуетилась и вышла. Как и следовало ожидать, сын последовал за матерью, пугливо втянув голову в плечи.

— Коллега! — сказал Арнольд. — Вам не кажется, что сердце останавливается?

— Да, — прошептала Дунская. Она в тот миг походила на девочку, которая трогает за руку чужого дядю. — Надо вызвать кардиологическую бригаду.

— Адреналин!

— Я...

— Хватит дурака валять, Илона! Адреналин в сердце, а то он угаснет...

— Я еще никогда...

— Когда-то же надо начинать.

— Где тут телефон? Арнольд, звони...

Арнольд не ответил, потому что расслышал приближение пробковых босоножек хозяйки. Он раскрыл свой фельдшерский чемоданчик, нашарил ампулу и шприц. Игла казалась невероятно длинной, можно было подумать, что в случае неудачи она проколет несчастного больного и пришиллит к койке, как пойманного для коллекции жука. В ноздри бил резкий запах спирта. Не поворачивая головы, Арнольд командовал:

— Вызывайте кардиологическую!

Эх, неплохо бы хватить спиртика из мензурки, он деловито подумал, один-единственный обжигающий глоток, чтобы пальцы не дергались от страха. Подумал и начал колоть. Сквозь кожу, между ребер, внутрь грудной клетки. Так, вперед, за нами Москва, та, что слезам не верит. Игла медленно увязала в груди, лицо мужчины оставалось неподвижным. Арнольд, ощущая холодок спирта на пальцах, уже двигал поршень, и кубики адреналина извергнулись в сердечную мышцу. Шприц пуст. Игла вынута, место инъекции протерто тампоном.

Он снова испытал, насколько разным может быть течение времени. Когда он еще распиливал ампулу, оно казалось бесконечным потоком, стиснутым в каньоне, как в узкой кабине лифта — секунды пронеслись мельком, едва успев блеснуть подобно пронумерованным контрольным лампочкам на шкале, в тот момент, когда кабину уносит вниз в шахту и от перегрузки гудят перепонки. А тут вдруг каждый миг стал нарождаться и растворяться в небытии пространства с трудом и натугой, зрея долго, как капля воды на медном кране, которая, наконец, наливается и утратив точку прикосновения, падает и разбивается, уступая место следующей. Медлительность секундной стрелки в белом круге не проходила, и не отпускало сознание того, что в случае неудачи эта дама, как только оправится от похоронных ритуалов и расходов, наверняка поднимет шум на весь белый свет и на всю прокуратуру: дескать, студент-головорез отравил ее Хариса.

— Есть пульс! — сказал Арнольд, прослушивая сердце. — Коллега, вы позвонили?

— Они едут.

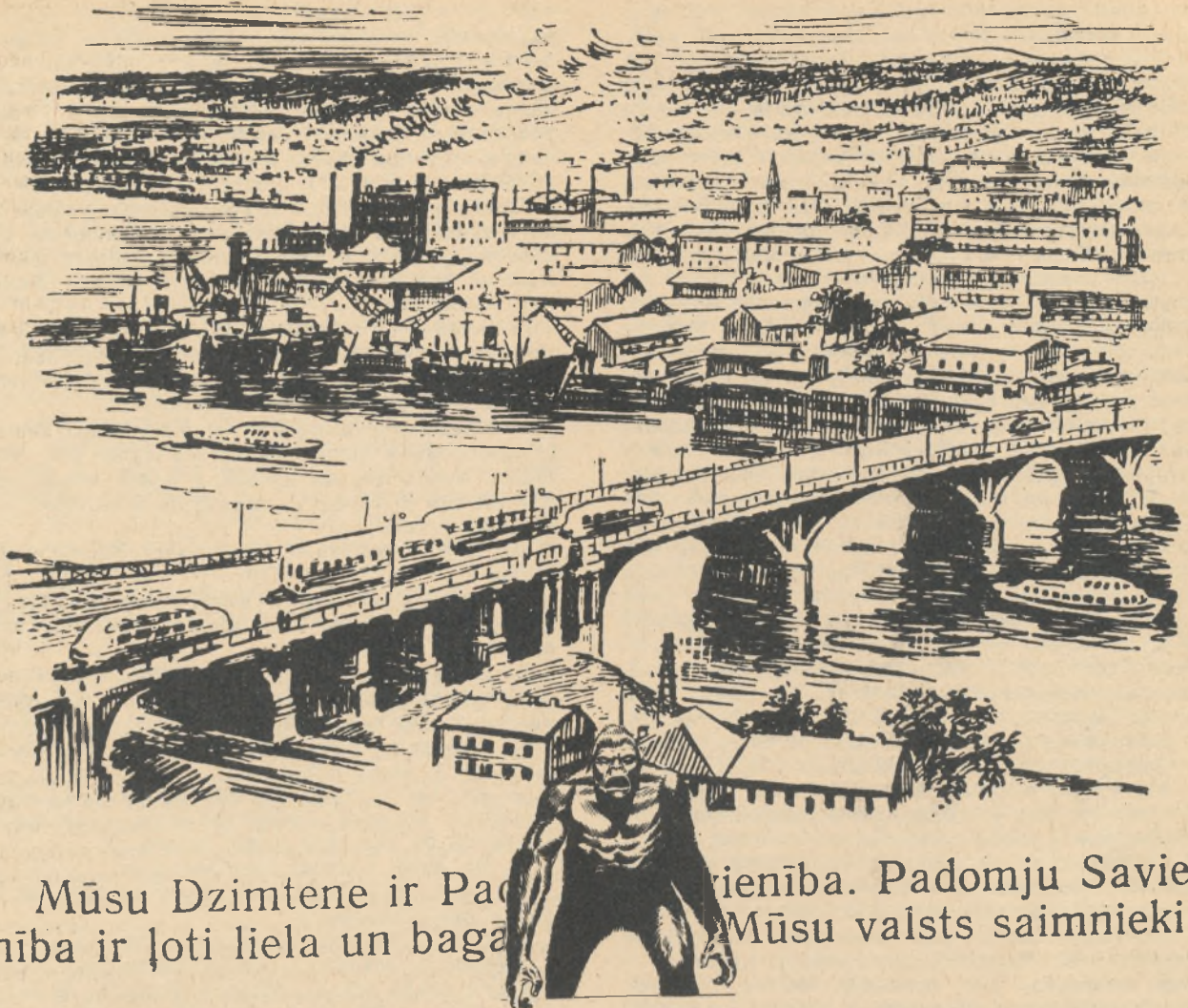
Арнольд взглянул через плечо. В дверях, прижавшись друг к другу, стояли мать с сыном и доктор Дунская. Лицо больного, если присмотреться как следует, порозовело, зрачки реагировали на свет, мембрана фонендоскопа отчетливо улавливала пока еще слабые признаки жизни.

— Тогда хорошо, — он рассмеялся, — мне полотенце, пожалуйста!

Хозяйка вспомнилась и кинулась подавать стерильное махровое полотенце. Арнольд вытер пот с лица и вдохнул запах лаванды.

— Стало легче? — она спросила шепотом.

62. Mūsu Dzimtene.



Mūsu Dzimtene ir Pa...rienība. Padomju Savie-
nība ir ļoti liela un bagā... Mūsu valsts saimnieki!

Иллюстрация СЕРГЕЯ ДАВЫДОВА

— Да, — шепнул в ответ Арнольд и сказал, что теперь главное — поскорее подключить больного к системе.

Приехала кардиологическая бригада. Врач — молодой еще, лысый еврей, фигурой и движениями походивший на пингвина, действовал неожиданно ловко. Минут десять спустя носилки уже плыли к машине. Заталкивая больного в «рафик», Арнольд поскользнулся и чуть было не свалился на обледеневший асфальт. Дверцы захлопнулись. Кардиолог, потирая мерзлющие ручки и косясь сквозь очки в сторону Дунской, вместо прощания сказал, что упасы Господь угодить в лапы бесплатной советской медицины, любая сельская девчонка, у которой хватило терпения зубрить диамат, спустит тебя в яму, моргая глазенками. Арнольд забежал в квартиру за чемоданчиком. Блондинка все благодарила, величала доктором и истинным спасителем ее мужа. От денег Арнольд отказался наотрез, но позволил сунуть себе в руки большую банку оригинального цейлонского чая...

... выпала свободная минута, и он на станции скорой помощи в комнате отдыха с жадностью попил «Old London. Ceylon Tea». Напиток бодрил не хуже кофеина, к которому он пристрастился, забывая усталость во время длительных ночных дежурств. Дунская уже утешилась и, съев бутерброд с колбаской, распорядилась по телефону мужем, благодаря которому и совместно рожденному ребенку будущая врачиха вовремя улизнула в декретный отпуск и прописалась в частном доме в Берги, избавившись, таким образом, от необходимости возвращаться в родное латгальское селение, и обрела право выполнять клятву Гиппократата в столице республики, разъезжая с синей мигалкой. Арнольд взял брошенную на стол газету.

Некрологи в жирных рамках. Глянь, из Тамбова прикатил, группа товарищей, ордена и три сажени латвийской земли.

Концерты филармонии. Гениальный Вольфганг Амадей Моцарт и нищие во фраках...

Хоккей. Снова Рига продула. Мало платят, наверное...

Поздравление, посланное Леонидом Ильичом. Интересно, кто их сочиняет...

Трудовая победа заводского коллектива. Вкальвайте, вкальвайте...

Очередная встреча в клубе ветеранов. Старики всегда воняют мочой. Интересно, я тоже буду таким?...

Хлебнув цейлонского чая, Арнольд на миг задумался о лимоне, коньяке и перевернул газетный лист. Программа телевидения. Интересно, что на Новый год покажут...

Агрессивные планы Израиля. Одни евреи кругом, как же они друг друга цапают...

Безработица в странах Общего рынка. Вранье...

Арнольд неожиданно напряг зрение — заголовок «Умер Дж. Леннон» и десять строчек непарелью. Известный артист эстрады... Бывший участник... Нью-Йорк... Убийца... маньяк... По дороге в больницу... ТАСС... Арнольд отложил газету в сторону.

Обычная ночь в комнате отдыха. Кто-то в кресле, кто-то читает детектив. Шоферы играют в традиционный преферанс. Ставка — копейка за очко. Доктор Блюма вяжет

свитер из серой деревенской шерсти, молодцы из психбригады устремились на вызов. Все вдруг показалось близким и в то же время недостижимым, как вчерашний день: плакат, когда-то висевший над его постелью — четыре ливерпульских парня засели в торт и чуть ли не по уши увязли в взбитых сливках; диск «*Sgt. Peppers lonely hearts club band*», песня «*Hey Jude*». Казалось, что он все тот же маленький мальчик, — старшие силой затащили его в кабинет физики и посадили на кафедру рядом с крохотным магнитофоном. Чудо техники привез отец Зариньша, большой начальник. Идет перемена, крутятся бобины, шуршит в громкоговоритель лента, на радость девочкам поют руганные «битлы», и кривится перепуганный первоклассник... Это было совсем недавно — душный клуб, на тесной сцене стоит их группенка, все пятеро еще молодые, длинноволосые. Ударник Зигис уже захмелел, и тарелки звенят особенно громко. Харалд играет на настроенном фортепиано мелодию «*Let it be*». Зал бушует в подростковым экстазе, ритм-гитара слушается пальцев вполне сносно. Близится полночь, и директор клуба за кулисами делает знаки, что пора кончать... Да, канули те времена, когда они впятером залазили на сцену, чтобы по-честному зашибить деньги. Стайка дилетантов — самодельные гитары в руках, оригинальные джинсы на ногах. Играли на свадьбах и вечеринках. Арнольд вспомнил, как под занавес с важностью объявлял белый танец. Три, четыре, и пошли, поехали — звучала «*Girls*». Играя, нужно было присматривать за Робисом, чтобы тот не набрался раньше времени и с честью спел соло. Уследить обычно не удавалось, а девочки и так первыми пересекали зал, слыша плаксивый довоенный шлягер. Эх, Роби, Роби, еще подумал Арнольд, пятнадцать лет ты уже гниешь, а шофер три года как на свободе. И ехали-то вы на трезвую голову, у двоюродного брата восемнадцать переломов на ноге и белый билет, тебе было отпущено два дня в беспамятстве... Как рассказывали очевидцы, на месте аварии Робис лежал рядом с мотоциклом и в шоке стонал: «Падла ты, понял, падла вонючая...» — пока не стих. А похороны были тяжкими, мать падала в обморок, невеста на шестом месяце беременности и в истерике. Гроб несли они — с кем Робис монтировал усилители, играл песни «*Deep Purple*», а на свадьбах нагло требовал миноги.

Арнольд вспомнил, как засыпали могилу, у него получалось лучше всех. Недаром в детстве пришлось пахать на семейном огороде, а в школьные годы зарабатывать деньги на археологических раскопках. Как хорошо был бронзовый лебедь — шедевр неизвестного ювелира из Новгорода, он спер его из культурного слоя и подарил Ренате. Славная была девочка, не старалась побыстрее окрутить. Теперь Рената торгует розами. Счастливая, довольная, муж агроном, свое дело знает, а близнецы растут здоровыми, как помидоры, словом, настоящие пираты. Арнольду сильно хотелось курить, и пока он разыскивал сигареты, первым вспомнился Харалд, признававший исключительно «*Camel*». Как и все сверстники, Харис перекупал диски, приторговывал блоками сигарет и джинсами. Странно, но в то время джинсы не были просто штанами, изобретение Леви Штрауса значило нечто большее, чем деньги и спесивость жлобов, соривших ими. Харису торговля пришла по вкусу — в прошлом году ему вlepили десятку с конфискацией имущества за незаконные валютные операции. А длинный Андрис, тот, что бренькал на бас-гитаре и изучал игру на виолончели, давно окончил консерваторию и пикирует в камерном оркестре, зажимая между ног здоровенную скрипку. Заграницу изъездил, навес всякой дребедени и раздулся от беспрядельного чванства...

... В коридоре Арнольд закурил и включил транзистор. «Маяк» вещал о карагандинском угле, Рига учила шведов жить... Поворачивая никелированный переключатель, он напал на Запад и услышал грустные слова на английском, немецком, французском... Четыре выстрела, кровотечение в легких, и бессмертие обеспечено. Дешевый револьвер в руках какого-то Чепмена... «*Radio Luxemburg*» в ту ночь без конца крутило «битлов», передавали песни из

сольных альбомов погибшего, а бригада Арнольда на отсутствие работы не могла пожаловаться. Было много вызовов — воспаление легких с высокой температурой, октябренок, мучимый вирусным гепатитом, белки его глаз были желты, как желчь, женщина, умирающая от рака, она жаждала морфия, самоубийца, залезший в петлю, расставая с сим бранным миром, наложил в штаны и перерезывал весь свет синим, вспухшим языком. Кабины лифта, лестницы крутые и пологие, волнение и облегчение в лицах, бедность и достаток в квартирах, вопросы о больничных листах и свидетельствах о смерти, запахи пота, туалетного мыла, вина, гноя, горчичников, сердечных капель, духов. А в краткие минуты досуга дым сигарет, горячий чай и траурная музыка в эфире. Песня «*Let it be*». Ее оборвал...

... ее оборвал зычный голос проводницы. Она объявила стоянку на пять минут. За окном провинциальный вокзал, надоедливый дождь и пассажиры, бредущие через лужи к вагонам. Арнольд тяжело вздохнул:

— Представь, Софья! *New York City, Central park* в благородном порыве люди создали там *Strawberry Fields*. Много цветов, свечей, а вдаль виден многоквартирный дом «*Dacota*», у одного из окон стоит Йокко Оно в темных очках...

— Ты же слышать не хотел о Нью-Йорке, — удивилась Софья.

— В Нью-Йорке людей грабят прямо на улице. Обирают до нитки, — соседка по купе оторвалась от чтения и кинулась в разговор.

— А как же, — усмехнулся Арнольд, — в южных штатах кукуклуксклан, белые расисты гоняются за несчастными нигерами. Хижина дяди Тома и зеленые глаза Скарлетт.

— Ужасная страна. Они там из-за денег готовы глотку друг другу перегрызть.

— Да, да. Наркомания, стриптиз и гонка вооружений. Разогнать бы этих штатовских вояк, и вашему сыну не пришлось бы два года лямку тянуть.

— Ну, через полтора года вернется.

— Привезет вам сноху белоруску, а она, глядишь, вам внука уже припасла...

— Нет... Юритис еще должен учиться.

Арнольд не возражал. Поезд набирал ход. Дежурный по станции махал вслед желтым скипетром, пищал сигнальный звонок у переезда, автомашины, ожидая свободной дороги, поблескивали дворниками.

Зажглась лампа у потолка, засияли зеркала у стен купе, и Арнольд, заглядывая в свои усталые глаза, рассуждал, что выглядит ненамного старше возраста, указанного в паспорте, правда, документ «читайте, завидуйте» он оставляет здесь, а добрую половину жизни, нарочь измотанную в нервотрепках, увозит с собой беспрепятственно: морщины, гастрит, безразличие — все при нем. Глаза в отражении были тусклы, как стекло пивных бутылок, и ему вдруг подумалось, что на худой конец сможет подработать в Монтекарло, ухлестывая за американскими миллионершами не первой молодости, деньжата везде нужны, без денежек туго, поэтому с чистоплотностью придется покончить. Да хоть в морг трупы обмывать, санитаром в лепрозорий или педикором в психушку. Если пидраноики не продают носков, федеральные власти доллары выкалывают, и идут через границу авиаконверты, а в них цветные снимки...

... цветные снимки, дешевые фотографии «*Polaroid*». Поднять аппарат к глазам, уловить в объективе нужный вид, нажать кнопку, и через каких-то десять секунд выскоит готовое изображение. Кладбище в штате Мичиган, безупречный газон, памятники, вырытая экскаватором могила уже пробетонирована, особый агрегат вот-вот опустит в него гроб. Рядом священник, скорбящие провожающие, мужчины в черных корректных костюмах и черных галстуках, дамы тоже в трауре, многие в меховых манто, кажется, осень, погода прохладная, и живым здоровье стоит поберечь. На возвышении в роскошном ящике лежит мертвец, солнышко его освещает в последний раз. Покойник забальзамирован и загримирован, как

кинозвезда, благородством его бледный лик не уступил бы профилю античного полководца с мраморного барельефа. Важная мумия зовется Екабс Мачс. Родился в прошлом веке в Лифляндской губернии в старохозяйской семье. Время и прорвство помогли ему нажить добро, мельницу, кожевную мастерскую и гектары плодородных полей. Был начальником у айзсаргов, здоровался за руку с президентом Улманисом, нанимал польских батраков, покупал тракторы и чилийскую селитру, попал в число соотечественников, упомянутых в Латышском энциклопедическом словаре, забрюхатил трех горничных, жертвовал деньги на богадельню и памятник Свободе. Был наделен политическим чутьем, — не увервал в блага сталинской конституции и всемогущество Кирхенштейна³, ловко упорхнул в лес и, кто знает, может быть, в «Страшный год»⁴ с чувством превосходства взирал из-за кустов на эшелоны ссыльных эксплуататоров. Улепетнул вместе с вермахтом, хлебал в лагере щи, для *DP*⁵ писал прошения, поносил красных и в конце концов увидел с палубы парохода статую Свободы, выплывающую из гуши тумана. Дотянул на чужбине до почтенной старости, натурализовался, основал клуб бриджа и умер как пенсионер, бывший работник психиатрической лечебницы. Родственники покойного разбросаны по всему свету. Живые и умершие. От Иманты до Юглы, от Аделаиды до Колымы. От Тейки до Фриско. И, упоминая старого Мачса, живые всегда вспоминают легенду о золоте, которое он, убегая от русских в надежде на англичан, будто бы закопал в большом бору у валмиерской дороги.

На столе разложен пасьянс похоронных фотоснимков, букет воспоминаний взрастили семейные альбомы, виды свадеб и конфирмаций, выпускных балов и дней рождения, а как же без традиционных фотографий кабинетного формата — большей частью пожелтевшие с краями в зубчик. По случаю приезда канадской родственницы была устроена реанимация прошлого. В ее честь собрались гости. Все они приходились Мачсу родственниками в третьем колене, уроженцы одного уезда, крещенные в одном лютеранском приходе. Валлию усадили на почетное место. Она была одета по жаркой погоде — в светлый летний костюм, скромно сидела в конце стола, изредка откусывала от пирога со шпином, а родня — разнаряженная, с прическами, надущенная — окружила гостью тесным кругом, как темная стая ворон. Валлия казалась смущенной и одинокой, как никак брошен на произвол судьбы домик в провинции Онтарио, пришлось пересечь Атлантику, на таможене сумки были перерыты до последних трусов, и, наконец, она ступила первый шаг на родную землю, расцеловала родственников, успевших остепениться и состариться, родиться и вырасти. Валлия была старой девой, состояла на государственной службе, а по воскресеньям посещала баптистский молитвенный дом. Деньги на поездку в Ригу она откладывала годами, а тут школьную библиотекаршу встречали, как вдову мистера Вандербилта. Отвешивали поклоны, одаривали национальными ленточками и янтариками, обещали хоровые концерты и до поздней ночи терзали разговорами, допытываясь, сколько канадец должен работать, чтобы купить фунт масла, легковую автомашину или безразмерные колготки. А еще: родственники, друзья, знакомые, завистники, соседи, увлечения юности, школьные товарищи и чиновники, чьи судьбы, успехи, несчастья, почечные недомогания, произведенные на свет дети, достаток, места жительства и могилы, все это почти невозможно охватить в один вечер — истекает туристская виза, и кофе приходится пить литрами или пингами.

В тот вечер малолетний родственник гостя, не испытавший ужасов войны и социальной несправедливости, уплетал пирожное и наталкивал тетку Валлию на мысль посетить магазин для иностранцев и купить ему портативный магнитофон. Мальчика ожидало разочарование, потому что мама клялась, что у них на родине всего навалом, люди живут и счастливы. Тут богобоязненная Валлия не выдержала и высказалась о государстве, которое сеет в Казахстане, а жнет в Канаде, жлет миру и хочет, чтобы другие полюбили русские танки и ракеты. Политику решили оставить в покое, и вместо какого-то магнитофона семья родственников обрела новые покрышки для «жигулей», отец семейства самолично выкатил их из валютного магазина. Валюту Валлия тратила на следующий день, а ночью, когда ее успешно отвезли в гостиницу, хозяин с облегчением вытащил из морозилки холодильника поллитровку:

— Хватим чего-нибудь посущественней! У меня от шампанского в животе урчит . . .

Водка морозила десны, икра казалась гадкой, как рыбий жир в детстве, а болтовня дяди Арвидса занудной. Брат отца благодарил через каждые десять минут, дескать, он, Арнольд, молодец, у него связи, сумел выбить разрешение для Валлии, чтобы она смогла съездить на сельское кладбище и, под надзором сопровождающего, положить венки на могилку своих родителей. «Шпионка она, что ли!!! — не унимался дядя Арвидс. — Эти империалисты и так со спутников все засекают, знают, что едим и что от этого остается». Уровень в бутылке падал, и Арвидс уже поносил родственников. Жена хотела было утихомирить его, но хозяин дома уже кричал, раскрасневшись и осмелев, знает ли рижская девчонка, что значит вставать с петухами и гнать коров на пастбище; на дворе осень, на траве изморозь, страсть как стынут голые ступни, и единственное спасение пригладеть, какая животина поднимает хвост, чтобы быстренько встать погреться в какую-нибудь дымящуюся лужицу . . . Крепче всех он ругал старого Мачса, называл его гнидой и кровопийцей. На Рождество Мачс по обыкновению ставил две елочки. На хозяйской стороне детям состоятельных родственников, а на кухне — оборванцам. Там детишки получали по печеночному сердцу и пригоршне орехов, грызли лакомства, прихватывая запахи жареного гуся и пирогов. Этого я не забуду, — говорил Арвидс, — мы, родственники, близкие, как батраки, как нищие . . . Ты знаешь, Арнольд, поэтому я и решил стать коммунистом. Чтобы справедливость была! Мачс даже с кровного брата драг процент.

— И так сразу в партию? — спросил Арнольд.

— Ты знаешь, как хорошо мы бы жили сейчас, если бы все коммунисты были бы такими честными, как я?

— Кончай трепаться! Соседи услышат, — жена попробовала усмирить Арвидса.

— Пусть слушают . . . И вообще они по-латышски не понимают. Ни бум-бум . . .

(Продолжение следует)

¹ Шлягер времен второй мировой войны. Популярен до сих пор. С известной русской песней того же периода и того же названия не имеет ничего общего.

² Здесь и далее курсивом набран текст, который в латышском оригинале печатается по-русски, английски и т. д.

³ А. Кирхенштейн — глава марионеточного правительства Латвии, назначенный на этот пост по настоянию эмиссара И. Сталина А. Вышинского в 1940 году.

⁴ Период с установления советской власти до начала фашистской оккупации (1940—1941 гг.).

⁵ Перемещенных лиц (английск.).

ЛИНАРДС ТАУНС

ЯБЛОКО РОДИНЫ

Яблоко,
В твоём взгляде такая дальность.
А можешь ты, вырвавшись из листы
И катясь по траве зеленой,
Одолеть каченьем своим даль далекую
И скользнуть напрямик из садов Веселауской волости
В ладонь мою, над нью-йоркскими небоскребами простертую?
Ведь я сквозь голос твой слышу ржанье лошадки неповоротливой,
И будешь ты на Матвеевском яблочном рынке продано.
Скользит воз мимо латвийских буренок на лугах зеленых.
Затихли поля и леса далекие.

И вот тебя уже чувствую рядом,
Будто и я таким же порядком
В мир пробился из семечка твоего.

Будешь ты у меня на стене картиной,
Ожерельем на шее милой,
Гвоздикой на костюме лучшем.

Тут яблоко, из ладони выскользнув, падает в лужу
и мне говорит: «А я уже не пасторальный лирик,
Я теперь в огромном городе делирик».

Ах, яблоко родины — поэзии слово родное,
Упали оба мы в водосток,
Улыбкой на дно его.

ИЗ ЭТОЙ УЛИЦЫ В УЛИЦУ ЭТУ

Впервые увиденная улица,
А такая знакомая и симпатичная,
Будто на ней я жил и родился
Все столетия последние.

В пыль на рынке из кадок опрокидывая фрукты и непорочность,
Маршировал с ротой солдат-завоевателей
К водружению стягов над нею,
К одежды стягиванию
С бледных женщин.

Любил каждый камень,
Кружился с каждым камнем,
Оборачиваясь то дождем, то ребенком, то винной бочкой.

Такая знакомая и симпатичная.
Ее камни
Сквозь меня умершего прорастут и процветут,
Как нивы пшеничные.

Как в этих плавных шагах качаются
Ложа всех последних столетий!
Похоже, что я
Просто-напросто
С этой улицы гулящая,
Которая и зачала меня
И выпустила
Из этой улицы в улицу эту.
В моем дыхании
От античных абрикосов и статуй вести.
И ни конца, ни начала не ощущаю.
И только одно — есть я.

КЛАДБИЩЕ КОРАБЛЕЙ

Здесь разрушенье остовы железные грызет,
Что в мертвой этой гавани собрались,
И ввысь взывает брошенный в беде корабль,
Но будто мачта сломленный, крик в небо не дойдет.

Плясали моряки, встряхнувшись от забот,
На палубе в торжественном убранстве,
Не зная, что еще не кончен будет праздник,
Как ураган их в бездне погребет.

И трубы не дымят, и не гудят сирены,
Лишь заревут, когда вдали за волнорезом
Мелькнет Летучего Голландца силуэт.

Но не подняться якорю на свет,
И ржавые винты суда уж не потянут
Вслед призрачному флагману в огромность океанов.

ПРАЧКА

Три лужи отражают
Белье, висящее на веревке,
Точно художник какой-то
В них отблесками пишет
«Большую стирку».

И меж разным бельем, от ветра воздушная,
Прачкина улыбка с картины глядит,
Много дней стиранная, много дней сушенная,
Выцветшая теперь, как все эти дни.

Меж полотенец, занавесок, скатертей
Облако повешено,
И из сборок его каплет синева.

Знаешь, отблеск,
Ты у меня всей синевой своей станешь
Для прачки платочком
Мягким и ласковым.

В БАШНЕ

Заперта моя страсть в крепкой башне —
Вокруг суетится свет,
На зов его резкий и жадный
Душа не восприняет в ответ.

Но в ночи плодородно-жаркой,
Что цветенья и тлена полна,
На меня чей-то лик одержимый
Льет сиянье свое, как луна.

Хочу я на крыши высокие,
В сиянье нырнуть и пропасть!
— Ах, голос улиц обжорливых
На «ты» зовет мою страсть!

МЫ — ДВА ЛУНАТИКА

Мы — два лунатика.
Приходи на крыши мои
Лунную пляску плясать.
Когда нас по имени позовут,
Упляшем мы вместе туда,
Где в улице дом мой и брачное ложе.

Приходи на крыши мои
Лунную пляску плясать.
Завтра, быть может,
Одного позовут меня.

8
AVOTS

УЛДИС БЕРЗИНЬШ

Улдис

Скачут парни на войну улдис
на плече мужик идет за елкой в
лес подмышкой улдис языком мели
по роше вскачь гони туда где ул-
дис вырос на верхушке птица.

Вру больше глянь-ка синих
улдисов во ржи полным-полно один
в телеге вожжи натянул ну ну ты
улдис эдакий.

Вру больше вишь у хлева двое
взяли улдисы навоз кидают в кучу
там погост вон улдис в ногах
что крест.

Вру больше глянь-ка трое дом
городят тот на коньке тот на
бревне тот посреди двора рассел-
ся тешет улдис.

Вру больше жид навстречу едет
малый слышь купи отдам за улдис
штуку.

На пути кабак в кабаке один у
стойки просит ай налей хозяин пол-
ный улдис пива.

Подхожу брат скажи как зовут
отвечает Улдис.

1970

латышские пасторы

глюк пишет книга трепещет
сердце ликует до дрожи
как безумный он пятернею
тяжелые кудри ерошит

но бог уходит из рук
уносит и дух и слово
за конторкой старик шетину
рвет с подбородка седого

кричит карающий манцель
в глазах небесное пламя
я тебя до лживых почек
зраком достану как дланью

но бог уходит из глаз
огонь угасает в ночи
с кафедры старый слепец
спускается вниз наощупь

славит фюрекер прыгает сердце
мальчишкой христу на колени
ай открой сердце господу это
тайное озаренье

но бог уходит с губ
уносит с собой дар свой божий
стоит старый врун и несет
все то же и то же

стихотворение о старости

1.

(от Иоанна глава 21 стих 18 истинно
истинно говорю тебе когда ты был молод
то препоясывался сам и ходил куда хотел
а когда состареешься то прострешь руки
твои и другой препояшет тебя и поведет
куда не хочешь) а Петр только смеется.

Петр говорит учитель что ты о
старости знаешь тебе суждено умереть
молодым.

Молодому страшно его можно жизни
лишить со старика что возьмешь его
жизнь птица на ветке.

Молодому страшно его можно на цепь
посадить старик свободен и в яме его
жизнь птица над облаками.

2.

(Старость близко) больше не хочется
врать (старость близко) больше не нра-
вится хвастать старость пришла и какой
ты есть такой ты и есть (надоело при-
творяться).

Старость приходит как дождик с не-
бес.

И смывает всю пыль.

3.

А кто-то до последнего все гнется
как оцеп у колодца покуда не загнетса
он все гребет гребет не знает сам на что
он льет и льет и сам не знает что

за годом год бежит полжизни за спиною
подходит старость нет проходит стороною.

Он хвалится каким он прежде был
и что в расцвете зрелости свершил

он копит впрок добро (добро истлеет в срок)
за годом год бежит пока не скрутит в рог

он спит свеча горит жизнь за спиною
подходит старость не глядит проходит стороною.

4.

Пусть только сердце останется светлым
За глаза мне не страшно.

5.

Еще то хорошо что на старости лет
поясница не гнетса.

Старику тяжело нагибаться старику
тяжело наклоняться хочешь не хочешь
а стой на своем.

Не подынешь копейку не выкажешь
кротость (шнурки не завяжешь но
это ничего).

6.

Дай мне Боже чтоб я до старости
дожил.

1967

1971

Сам, дитя Иисус, жена,
Божье око, вышина;

радуга, дуга, большак,
волость, церковь и кабак;

век пахать и век служить,
молча голову сложить;

серый крест и сирых скоп,
конь, вороний грай и гроб.

1971

Да, точно, надо учесть,
Завянет и закоптится,

Спадет, сгниет, сгорит,
К черту, в дым обратится,

Вмерзнет в шугу, раскиснет,
Закружится по водиче,

Нет, эй, не топчи,
Авось, сгодится.

1976

спитакаворская старуха

Во сне видала
Ведет наш народ
Оттуда голос
От речи князей
Нет, имени нету
Придет Армения
Вон, видишь, дочка
А-а, Латва, Литва

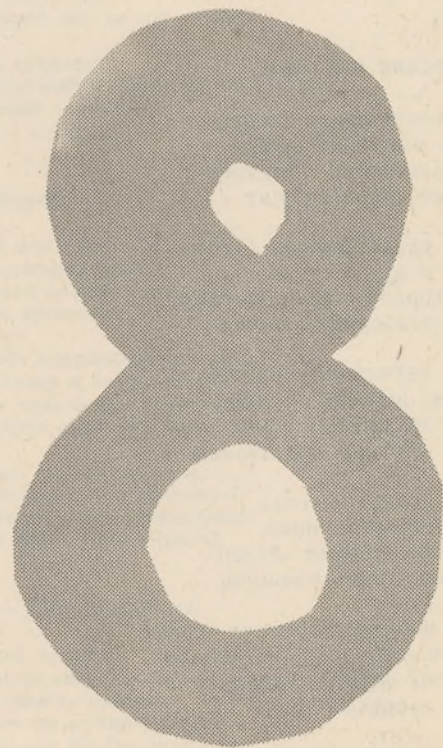
Тот, Кто мне снится
держа за десницу
покуда ты тут
уста мои стынут
жди, день настанет
оно заблестает
в небе-то знамя
то Гог Магог — знаю

1982

К черту слова, что я говорил гордыни и славы ради, — где я столько молчания возьму, что миллионам звезд его хватит, да, Юрка, Янка, трудно тебе во тьме к пустоте привыкать, где возносятся во тьме распятыя, вечер накрыл госпитали их пальцев было коснулся, пальцы твои остыли, миллионы звезд уже на ногах, в полнеба гитарные громы, ты примиришься, брат, с небытием, скоро ведь будешь дома, корчить умел, мне ясно, дрался ты так же дрался только не верю я одному, как-то до тупости странно, что не сказали тебе, пацан, ни слова о Черном тюльпане, а это нормальный такой самолет, который, не объявляя, рейс границу мертвых ре если б молчанье я б смог темноту телеложь на экранах погасла — **ВСЕ АФГАНСКИЕ БРАТЯ**, — в гробу я видел такую судьбу, скажи для какого черта нас на тюрбаны белые и ребячьи макушки черные скажи на кой нам такая судьба треклятая блядь нас видно для грязной работы держат мы дочиста мы мол сладим лишь винтовку можно дать латышу ты смерть землероба занятые на миллион покойников шлют Янку и Юрку опять, и дубравы молчанья возносятся во тьме молчащих стволов распятыя, молча, молча твоя душа подымается к звездам обнять их.

дубравы молчанья
молчащих стволов
огромный ладонью
и пустыни, я твои
Швейка ты не
я знаю и верю: как
в детстве во дворе,
ты и теперь, но
за рейсом через
бят доставляет,
смог написать, если
взорвать я, чтоб

**ULDIS
BĒRZIŅŠ**



Не провраться мне Mühlenbach лесом коряги да комли во рту под корень связан язык мой суффикс откушен корчится чистую кровь я глотаю ногой заплетаюсь о комли и комья эй

Mühlenbach мне окончаний натыкай в язык чтобы слог склонять словно ствол чтобы иволгой сесть на верхушку кликать время и род и пусть кусает мой рот пусть врет эй

Mühlenbach корни открой мне в них смысл звательной силы чтоб из корней едкий сок тек у тебя меж зубов эй выкорчуй корень как зуб у меня изо рта чтоб узнал я боль слова кровь слова глотал мне корнем язык занози чтобы вспух и пусть слово кусает мой рот пусть врет эй

Mühlenbach дай мне речь чтоб трепался язык чтоб рек дай мне самое крепкое слово мой рот перекусит но если колом иль коленом мне вышибут зубы собьют и кусать не смогу то насыпь полон рот мне готических литер и новых и всякой цифири знаков и пусть снова кусает мой рот пусть врет.

1970

огонь Яна Палаха

а) Верно салют сегодня вечером так полыхает в небе.

Нет это парень идет сквозь огонь вот отчего сверканье и свет три дня он идет и тонет в бреде и стонет ведь очень больно и он сгорает только сверканье не потухает.

И если вчера еще было без разницы где правда где нет а сегодня наоборот то значит не зря.

б) Что я оглох что такая вокруг тишина.

Нет, нет не оглох.

Слышу лязг лопат мерзлую землю роют и все города слушают стоя вокруг.

в) Сегодня все площади мира сходятся в Праге сказал бы Назым все площади в Праге на Вацлавской площади так бы сказал Назым сгори паренек словно Керем назло темноте и танкам год и два и сто лет пройдет все ты будешь огнем.

По-сайгонски оранжевогорьким огнем.

Огнем святокраденым будешь огнем.

Сердце собака что тебе в нем.

Тысячами разнесут по европам америкам в свечах и очах принесут в мою Латвию принесут в Ленинград на Марсово поле.

Гром гром содрогается небо польхая твоим огнем.

Потом, а, потом.

г) А потом проходит сто лет и уже коммунизм и я вхожу чтоб спросить скажите люди был ли тот парень прав и они отвечают мне прав.

1969, Ленинград

I

— (Змеятся травы, реки стынут студнем. Почва ходит, извергает камни. Эй, Абдулхай Улашев, сон скажи.)

— Я встал в полпятого, зашаркал тапками. В окне бельмо рассвета, в ветках ветры. Смял простыню, укутал глотку, увидел сон: в железах, в волчьих шкурах он Скачет, под копытом река гадюкой вьется, тщится влиться. Те, сорок, вслед за ним. Вселенский рев и воздух мертв — так напердели кони. (Ни с места время, солнце зудит, подвешенное к небу.) Они ликуя слезли с седел. С огнем к костру, с ножами к стаду. Он меня Заметил, пальцем Указал, явился одноглазый и мне швырнул баранью ляжку да мешок из кож (в мешке буза). Как пес, я жрал. Жир по рубахе тек, марал ширинку. Пил, как кобыла, язык калило — потом был Призван; по его изрытому лицу вши ползали, белея, словно овцы на далеких склонах. Ноги подкосились, под пальцами заблелла струна и плотью вспыхнул рот. Я избранным запел на свадьбах, сходах, играх. Нечесанные люди шлялись под моим окном, давно избитые Глаголы ворочались во рту, вдох застревал, язык смердел. В моих словах ожив, они Гнались и Гробили друг друга. За сотни лет сон измотал меня, изъездил: ночью мучил, утром крочил. Я ушел в бега, в Москве между созвучий скрылся: в загаженных вокзалах и концертных залах, мотался по углам, а почему бы нет? Эй! Хорошо! С кочевниками распрощаюсь, по струганым подмосткам заскольжу, как Фигаро: я тоже из Адамовых сынов, как ты, но только узкоглазый! А на четвертом курсе отворятся уши, распахнется сердце. Свободной дикой птицей станет прославленный мой тенор, не раз на всех известных сценах слышен, но в руки не возьмешь — вихрит вокруг луча. Подую в первые ряды, как буря в травы...

II (смерть Манаса)

— (Восстали остовы, и кости задергались в земле. Солнце тупо, время глухо. Знатный род идет и гонит табуны, они, тропы не видя, тонут в окоеме. Я сомнение чую в узких твоих глазах, эй, Абдулхай Улашев, сон скажи второй.)

— Я был ребенком на земле моих отцов и на орлов глядел, потом трава меня объяла, солнце встало, глубоко отерпла (полчаса до полдня; пусто, тишь — кузнецик дохнет) мимо три народа проскакали, раскинулись. Перхота от вытоптаных трав, от пыли. Эй ты, народ, что с полуслова понимаешь, ты не думай, что солнце в небе все по кругу: нет, не так. Миг завершается и валится с недвижимого лица — горой Встает! горой! Я видел гной тек у него обратно в язвы, он пешим был, бежал я долго, даль темна, тень длинна. «Пой, пес, дай сил тебя Догнать и Растоптать!» Ломал он скалы, вслед Метал. «Не я ль тебя Кормил, ты, червь, не я ль Поил, так где твой жидкий голос?» Уйдя в глубины по колену, он Хрипел, Швырял камнями, Бил плетью, выл воздух. Что шаг, то год. Мой волос сед и голос нем. Я оглянулся у реки: верблюды с собакой бесновались над его застылым телом.

III (рождение Манаса)

— Я увидел, как у лачуги старуха доит кобылу. Крикнула старуха, прибежал старик, и мальчик родился, и горы застонали под новой тяжестью — в тот миг цикл зачался, вокруг меня Глаголы встали вихрем. Молчи, дыханье! Прерван на полслове, нет и не будет записан этот скучный сказ. Ай, мальчик! Остаешься маленьким, Гляди на птиц.

1976

МАРГЕРС ЗАРИНЬШ

ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЗРЕЛЫЙ СОН

РАССКАЗ

Двадцать шестого марта 1989 года, незадолго до завтрака, Тимофей Сергеевич Поспелов проснулся с душераздирающим криком «Позор! Позор! Фу!». Обычно он спал нормально. Видеть сны не стремился, да они ему и не снились (какие, впрочем, сновидения могут посещать нормального лектора по общественно-политическим вопросам?), но этой ночью, между нами, сон ему приснился решительно ненормальный. Сон этот Тимофея Сергеевича взволновал и задал ему вопросы, ответить на которые он был не в силах. Незамедлительно, после приема пищи, поэтому, он позвонил секретарю парторганизации товарищу Степанову и признался, что нынешней ночью принял участие в политически незрелом сновидении. Николай Андреевич Степанов предложил Тимофею Сергеевичу сон пересказать, с тем чтобы он мог дать соответствующие разъяснения и указания.

— Ах нет! — дрожащим голосом отвечал Тимофей Сергеевич Поспелов. — Это не телефонный разговор. Даже жене Нине не имею права рассказать, пока не узнаю точку зрения члена партбюро. Сначала тебе, лично...

— Вот как?! — заинтересованно отреагировал Степанов. — Ну, тогда тебе и сончик привиделся... Тимофей, Тимофей, что с тобой стряслось?

В результате они уговорились встретиться на бульваре возле дома, в котором проживал товарищ Степанов. В утренние часы скамейки московского Бульварного кольца пусты, можно будет удобно сесть и переговорить без посторонних.

— Ну, — поторопил Николай Андреевич. — Рассказывай!
— Жуткий кошмар, — несколько раз повторил Тимофей Сергеевич. — Вопрос стоит так, что быть или не быть статистическому миллионному русскому народу и его языку.

— Это нервы, Тимофей Сергеевич, твои измученные нервы, — стал успокаивать его секретарь. — Тебя разволновали бесстыдные вылазки прибалтийских националистов. Разве ж ты не убежден, что социализм в конце концов победит? Лучше сон рассказывай!

— У меня сначала пара вопросов о будущем. Идея Мировой революции остается в силе? И Маркс и Ленин?

— Труды Маркса и Ленина и законы общественного развития всегда останутся в силе. Что за глупые разглагольствования? Уж от тебя-то, Тимофей Сергеевич...

— И пролетарии всех стран соединяйтесь? И братская семья?

— Само собой... Разве ты первую полосу «Правды» не читаешь?

— И границы между странами исчезнут?

— Ну знаешь... Задаешь вопросы, которые сам разъясняешь на лекциях. Я тебе удивляюсь, товарищ Поспелов! — ледяным тоном заметил секретарь.

Тогда Тимофей прекратил задавать некорректные вопросы и стал чистосердечно рассказывать обо всем, что видел и слышал во сне.

— Теплое мартовское утро, такое же, как сегодня. Во сне я как бы выхожу из квартиры и спешу в киоск на углу Арбата,

чтобы купить «Правду». Очередь небольшая, впереди только трое, то ли буряты, то ли уйгуры. Даю мелочь, беру газету, смотрю на первую страницу. Глазам своим не верю: «Правда» отпечатана неизвестными закорючками. На русском только лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», название газеты и дата — 26 марта 2089 года. Ты подумай, 2029!

— Тут нет ничего запрещенного, — сказал Степанов. — Во сне ты видел будущее. Нам это будущее уже семьдесят два года снится.

— Но не такое же! — воскликнул Тимофей. — Слушай дальше... Жду, пока появится еще какой-нибудь покупатель, и, когда тот подошел, тихо его спрашиваю — А что, сегодня разве государственный праздник какой-то дружественной соцстраны?

— А почему, земляк, ты так думаешь?

— Потому что у «Правды» только заголовок, лозунг и дата на чистом русском, а все остальное — какие-то дурацкие иероглифы.

Покупатель опасливо огляделся и тихо выговорил:

— «Чистый русский язык», «Дурацкие иероглифы» — что за высказывания, товарищ! Понимаю, понимаю, ты, конечно, как и многие из нас, принадлежишь к Зеленому фронту. Уже издали видно, что ты пережиток прошлого — перестроечный националист и не можешь смириться с тем, что в Москве русских теперь только тридцать процентов, а большинство — желтые. Но все же, в самом центре города в открытую высказываться не рекомендую... Некоторые из них по-русски чуть-чуть кумекают...

Во сне москвич берет меня за руку и затаскивает в парадную какого-то дома.

— Ты что, дураком прикидываешься или провокатор? — угрожающе спрашивает меня, взяв за грудки. — Тридцать лет как создана Мировая Интернациональная республика, а ты тут из себя младенца строишь?

Перепугался. Что ответить? Во сне был вынужден соврать (ты же знаешь, Николай Андреевич, на партсобраниях я никогда не лгу), иначе не миновать взбучки.

— Товарищ! Дорогой соотечественник! Тридцать лет тому назад мне, здесь же, на Арбате, на голову упал кирпич. С того времени я потерял память. Только сегодня утром меня выпустили из отделения для слабоумных института Склифосовского. Расскажи мне, будь добр, что произошло в Москве за эти тридцать лет, научи, как себя вести.

— А! А я сразу смекнул, что ты не вполне... Тридцать лет тому назад и я считал, что на долю ста тридцати миллионов великороссов Богом возложена миссия осчастливить человечество и превратить его в Русскоговорящий Советский Народ. Но мы не взяли в расчет, что на полтора миллиарда (!) желтых, в свою очередь, Будда возложил миссию превратить мир в Желтоговорящее Содружество Народов. Под девизом «Азия — наш общий дом» полтора миллиарда желтых принудили нас, сто тридцать миллионов русских, заключить договор о Доб-

ровольном Присоединении и Вечной Дружбе. Так мы попали в союз Желто-Говорящих Народов. Были открыты все границы: во Вьетнам, в Корею, в Лаос, в Таиланд, в Японию. Сюда потекли люди. Каждый гражданин мира выбирал местожительство там, где проще прокормиться и легче заработать. Москва давно уже прославилась великолепными жилыми массивами и общежитиями. Тысячи и тысячи желтых друзей ехали к нам дружить, и мы принимали их как братьев. Но друзья ехали и ехали. А потом и их подруги и дети. Последняя перепись населения свидетельствует, что в Москве прописаны примерно двадцать два миллиона желтых, главным образом — пролетарии рисовых полей. Городские мужи Па До Шу (настоящее имя Павел Дорофеевич Шувалов) и Мат Ю Ци (Матвей Юльевич Ципин) в действительности местные, но свои русские фамилии изменили, лица перекрасили в желтый цвет, а также перешли в буддийскую веру. Мэр города Мат Ю Ци в последнее время стал злобно преследовать славянских националистов, застраивает Подмосковье заводами и постоянно жалуется, что не хватает рабочих рук.

— Ах! — услышав это, закричал я (во сне). — Чем же все это кончится?

— Нашей победой, — убежденно ответил москвич. — Чтобы защитить древние русские культуру и язык, мы объединились в Зеленый фронт. Ни в московских учреждениях, ни в магазинах ни чиновники, ни продавцы больше либо не умеют, либо не хотят говорить по-русски. Поэтому мы просим, требуем, пишем лозунги: «Дорогие друзья! Российская Федерация и Москва — это единственные места на земле, где могут существовать и развиваться русские нация и культура. Нам не надо никаких преимуществ, только не надо и ассимиляции. Если вам не нравятся говорить по-русски, езжайте обратно, на свои рисовые поля и в свои заброшенные селения».

— А они что?

— Молчите, жалкое меньшинство! — кричат они. — Богоизбранным народом еще до времен сотворения Мира является Желтый Народ, а Азия — наш общий дом. Долой славянских националистов! Да здравствует Интернационал!

— Позор! — воскликнул я (во сне). — Разве дружба народов такая? Что-то это не по-ленински.

— Ни по-ленински, ни по-марксистски, — во сне ответил москвич. — Но наперекор всем желтые, поддерживаемые своими ставленниками Па До Шу и Мат Ю Ци, создали вчера Желтый фронт. Сегодня вечером на Манежной площади они проводят митинг. Мы пойдем протестовать. От имени Зеленого фронта приглашаю и тебя принять участие в пикете. В этом рунеле у меня два пакета. Один из них я буду держать в руках сам, а другой прикреплю тебе на спину. Ты будешь стоять лицом к Манежу, а я — возле гостиницы «Москва». Если к тебе привяжется какой-нибудь самурай (страж порядка желтых), говори, что ты псих и только сегодня выпущен из учреждения.

— А если они меня примут за актера? То есть подумают, что я притворяюсь?

— Ну, получишь тогда стеклом по башке, отведут в участок и через час выпустят. Кирпич же тебя тридцать лет назад, приятель, не пришиб . . . Самурайский стек для твоего лба что водоушкин поцелуй.

Пытаюсь воинственно настроенного москвича отговорить от демонстрации:

— А разве Зеленому фронту не следовало бы вначале попросить вернуть свои права без демонстраций и пикетирования? Так сказать, добром?

— Добром? Хм . . . Кое-чего мы, правда, уже добились, — признался москвич. — Например, мы теперь опять можем петь нашу национальную песню «Волга, Волга мать родная» и носить красно-белые сарафаны. Но в правах на государственный язык и российское знамя нам отказали. Официальные цвета — желтый, желтый, желтый . . . К черту! Нам остаются только забастовки и демонстрации. Мне еще надо получить в гастрономе по талонам двести граммов риса, сто граммов сахара и пачку чая, поэтому, позволь, я прикреплю этот плакат к твоей спине, — сказал москвич, разворачивая сверток ткани, который он все время держал в левой руке. Один лозунг он прикрепил к моей спине, другой свернул, кивнул на прощание и убежал. И я во сне тоже поспешил из мрачного подъезда.

— Тимофей, Тимофей . . . И ты в самом деле дал согласие принять участие в этой несанкционированной демонстрации? — спросил сидящий на бульварной скамейке товарищ Степанов. — Ай, ай, ай . . .

— Николай Андреевич, дорогой! А что мне оставалось? Я же не мог во сне позвонить тебе и узнать мнение членов партбюро: допустимо ли пикетирование и в чем его отличие от демонстрации? Какой у него правовой статус?

— Правовой статус? Тьфу! — сплюнул Николай Андреевич. —

«Держи карман шире, это зависит от того, что про меня написано на плакате», — однажды, выпив водки, сказал мой приятель прокурор. И ты, Тимофей, впутался в такую авантюру? Что же было написано у тебя на спине?

— Вот в том и беда, что не посмотрел! — признался Тимофей. — Свою же спину не увидишь . . . Вышли большие неприятности.

— Еще и неприятности! — разволновался товарищ Степанов. — Ну, ты, видно, там, во сне, и заварил кашу. Рассказывай дальше! Но коротко и лаконично!

— Во сне я дошел до угла проспекта Калинина. На стенах новые названия улиц на двух языках. Сверху иероглифы, а внизу русскими буквами: бульвар Желтой Победы, проспект Сталина и . . .

— Ну ты смотри! — обрадовался секретарь. — И через сто лет народ не забыл своего вождя и учителя! Хорошо, рассказывай дальше!

— Продолжаю идти по проспекту Калинина, прости, по проспекту Сталина. Вижу — большой магазин. Продаю культтовары: радиоаппаратуру, мандолины, гонги, часы. Решил зайти посмотреть. Сделал вид, что хочу купить часы.

— Пожалуйста, покажите мне подешевле! Наручные. — Продавщица смотрит на меня и удивляется:

— Хи-ау Хай? Чо-чо?

— Часы, — повторяю рассерженно. — Настоящие русские часы. Второй часовой завод.

За прилавком уже собрались четыре продавщицы и о чем-то щебечут . . . У меня нервы больше не выдерживают, кричу:

— Давайте немедленно! Тик-так, тик-так . . .

— ?

— Тик, тик, тик . . . так, так, так! . . .

— О!

Теперь все четыре понимают и, вежливо улыбаясь, выставляют на прилавок четыре будильника в японском стиле.

— Шон-шон! Хай-хай . . .

— Но мне нужны наручные! — показываю на запястье. — Тик-так, ручной!

— О!

Теперь они совсем поняли. Достают с витрины четыре штуки электронных и улыбаются до ушей.

— Хань-янь-сюю! Сюю-сюю . . .

Пока приноравливался, у меня за спиной народ собрался. Чем-то взволнованы, говорят громко и друг другу кулаки показывают. Наконец начали меня толкать и ругать на чужом языке. Что такое? На счастье, в магазин вошли три мужика из Новгорода. Тут же меня под защиту, говоря:

— Не волнуйтесь, Тимофей Николаевич! Мы это дело уладим! — И, повернувшись к толпе, один из них крикнул:

— Если хоть пальцем попробуете тронуть моего друга, члена Зеленого фронта, мы вас в порошок сотрем!

Тут же возникла грандиозная драка. Меня схватили два самурая, сорвали со спины лозунг и потащили из магазина. Там уже поджидала машина. Я, Николай Андреевич, в косяк было вцепился, но тогда самурай меня за волосы. От боли закричал так громко, что от крика и проснулся . . . Вот, какой кошмар!

— И ты так и не увидел, что написано у тебя на спине? — мрачно спросил секретарь.

— Признаюсь — видеть-то не видел . . . Но русские друзья успели лозунг прочесть и публично выкрикивали, пока самурай его не содрали. Звучало примерно так: «Желтые, убирайтесь обратно на свои брошенные рисовые поля!»

Николай Андреевич Степанов долго молчал . . . Сон ему ужасно не понравился, но слова, которые бы объяснили Тимофею его неприязнь, не находились. Вопрос нужно было диалектически и хорошо обдумать. Как это было в Манифесте? «Достичь Мировой революции можно лишь свергнув каждый государственный строй, силой. Поэтому пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Тимофей Сергеевич! — заговорил наконец секретарь. — Ты сам признаешь тот факт, что видел идеологически незрелый сон. Пусть это останется на твоей совести. Только никому его не рассказывай . . . Социализм не цель, а средство в достижении наших идеалов. Пока лозунг пролетариата украшает «Правду», пока на наших деньгах и символах будет виден Земной шар, осененный серпом и молотом, пусть никто из товарищей не сомневается в том, какой фронт победит! Только мы — интернационалисты.

У Тимофея камень с души упал. Пообещал в дальнейшем подобных снов не видеть. Поэтому на заседании бюро первичной парторганизации ему было лишь по-товарищески поставлено на вид, без записи в личном деле. Все обошлось лучшим образом.

ЮЛИЯ КИСИНА

Золотая лампа в душе еще прозрачной
Бассейна, где в шубе из океанной
Пены, внутри как блестящий мячик
Девочка выходит из ванной.
Она помавает телом блестящий воздух,
Светлей кишки розовеет и плещет, либо
Она похожа на этот хрустальный ножик,
Который входит под утро в ее либидо.
Так же и я — лишь завершение блика —
Нет меня, нет меня — я пустею, ладно
Как аллея, которая час назад от крика
Опустела как золотая лампа.

Какое слово — радуга на деснах,
Высокий тростниковый звук-объем.
Но падалью развенчанная осень —
И губы муравья забиты льдом.

Нас разделяет мечущийся кролик,
И колесо, и муравьиный крик,
И осени прищур, и пурпур колик,
И губы насекомых, и язык.

БАРОККО

Мы крабы на верхушках барочных колоколен,
Мы розовые локти, степные бигуди,
Мы слайды и просторы, мы слюдяные сколы,
Мы световые зайцы у моря на груди.

Мы светом пошатнемся в пыли кирпичных скосов,
И смальтою хихикнем, и в хоровод уйдем,
Там светом поперхнулся когда-то Ломоносов,
Чихающий огнем.

Мы голые коленки царей и праздных барынь,
Рабочие утехи глагольных букварей,
Мы сторожа и склянки и труд и труд и брань,
И глупость и зародыш скрестившихся морей.

РЫБАКИ

И море как рыба двуполо и плотно.
Своей чешуею его подменяет.
И вот электрическим током линияет,
Раскрыв как моллюска высокую лодку.

В ней странники, крик обнажая до ребер,
Развесив на солнце соленые сетки,
Лопатами в море расчистят дорогу,
Как дворники чистят львиные клетки.

Два пальца сглотив, засвистят и замолкнут,
И в море густом как губная помада
Зашьют все поверхности, в рыбах намкнув,
И пену разбив на куски шоколада.

У душных кроликов в заушьях полусонных
Есть ночи свет и тень, креветок легкий ряд,
И воздух полон егерей бессонных,
Которые над лодочкой парят.

Незримая летучая охота
Дремотой узких кур захлестывает свет,
И плоть летит сквозь голос морехода,
Который по степи гуляет как буфет.

Мы ходим по траве — кузнечик, я и милый,
Который легким шепотом хрустит,
И ломких бабочек летучую могилу
То ловит в свой жилет, то свистом оглушит.

ГРУНТ

Под моими ногами чернозем отрезвился и умер внезапно.
Кроты — поля подземного зрения обегали —
Земного — вытапывали, оставляя время на завтра.
Зоркие парашюты ледники умывали.
Под землей кроты лоснились мелкой пеною,
Блестели-наоборот, мучились в неизвестности.
И корни как гусеницы метрополитена
Преодолевали окрестности.
Они гирями дрожали под мускулами муравьиных семейств,
Розовели шахты как внутренности быка.
Шприцом поворачивался муравьиный самец
И прятался от сачка.
Под землей было душно, как внутри лягушки.
Грунт линиял как нервы младенца.
Под землей шевелились киты и щелкали хлопущки.
На морях происходили корабельные действия.

Прозрачна рукопись — как бы японский мяч —
Стеклянной сельди каменная зыбь
Я бы хотела просто не забыть,
Что в гулких водах режет рыба-меч.

Японцы топчут каменную сельдь —
Их твердые глаза темны, мудры.
Я бы хотела просто умереть
Под бледное метание икры.

Но рукописи душной образец
Еще не зрел на рисовых полях,
Еще вздыхает тело — царь-отец,
И мидии отходят на столах!

БАРОККО

Мои иллюзии светлы как рай зверей золотых —
То херувимов вихрь — к фасаду их подкинешь.
На арках двух висят образчики святых —
Обратных перспектив кривой и потный финиш.

В барочных зеркалах свинья отражена,
И в медных есть тазах звон куполов и капель.
Дом поднимается, как будто вся страна
Объелась устриц, лягушатины и цапель.

Как жирно жили те, в чьих медленных руках
Крутились чертежи опасных италийцев,
Чья пряталась вражда в грязи на каблуках
И не давала им до срока удалиться.

В ГАМАКЕ

Качаясь в шахматном прозрачном гамаке,
И в ситечке разбрызганном качаясь,
И в маятнике длинном не кончаясь,
Со сферой прекрасною сличаясь,
Разыгрываю вспышки в гамаке.
Криволинейный свет со мною слит.
Он круглый или, может быть спиральный,
Как домино язычески-игральный,
Вокруг плеча он как фарфор локальный —
Криволинейный свет со мною слит.
Качаясь в биосфере, на краю
Крупнозернистых вспышек вертолетов,
Я вспоминаю медленно кого-то:
Который в биосфере как в раю.

Здесь манекенщицы есть в пышных брыжках —
Панкующий приход небытия.
Из чёрных свет очей и беспредельно рыжих.
С коленками и без. Актиния — и я.

Вот башня на коленях Терпсихоры,
Ваш выход! — и как в бой бросается с венком.
Опасные приковывает взоры,
И пахнет то «шанель», то русским чесноком.

Я так люблю их строй, их мех международный,
Где стая соболей не просто грызуны.
Они одеты в прах и в наш узор дородный,
И в самый крупный рост потеющей страны.

Широкий остролист повис
Как северный японский кремль,
Который перевернут вниз,
Чтобы указывать на север.

В тайге роскошно и светло
Как в ледяной буддийской спальне,
Где входят мачтовые сани
В венецианское стекло.

И в глушь имперскими лесами
Там волокут сибирский счёт —
Скользких елочных русалок,
Не опозоренных ещё.



ШАХМАТЫ

Из тревожных печей вынимал кузнечик, накалывал
Как ферзя на булавку голову быка.
Проходил нежнейшими смертельными обвалами,
Забивался как снег в капкан,
Это был ты и в шахматном зареве
Сам с собою играл, не жалея ни зрачка, ни заката.
Это — на запыленном базаре
Начиналась древнеиндейская атака.
Одновременной была игра спаренная
Всех мировых сил боренья.
Гири висели в океане как рыбы в аквариуме,
Ферзи купались в домашних вареньях.
Два короля на марше корчились,
Кузнечик завывал в тоске расчерченной.
Было небо ко дню столкновения приурочено.
Война была распаренной и гуттаперчевой...
Мы ели сливы в саду. Фигуры валялись прозрачные —
Стекланные шахматы, почти глазу невидимые...
В гамаке висел век означенный,
Мы закат смотрели по видео...
Партия происходила в течение десятилетий —
Уже были разбиты фигуры — их осколками чистили раковины.
Были отложены маузеры и арбалеты
И рукописи с приписками и помарками.

Ломкий летит авиатор — как бабочка: треск самурая
В душном корсете из палочек, пик и свечного искусства,
Ломтики смерти себе под бандаж примеряя,
Не озирая пределы владенья и стука.

Лошадь из палочек костных земле параллельна. Четыре
Окраины взяты в бандаж. Территория больше владельца.
Будем стремиться на внутренний свет харакири.
Только для женщин есть слабая лампа младенца.

ХОМА БРУТ

Хрупкий биплан завершает чужое вторжение.
Ты мой близнец. Ах, скончанье времен производно от страха.
Мне бы с тобой кувыркаться в подземном теченье,
Мне бы с тобой на плечах уноситься по трассе.

О мой Хома, мой блаженец, ковыль подневолен
Бегу могучему. Стонет сгорающий ветер
Под оживающим телом другого монаха — вдоль темного поля
Мальчиком страх огласи, и опали мои черные веки.

Черного мрамора глыба — чтобы лик твой серебряный выбить
Выдолбить смех самурая вдоль папоротника, как папайя.
Сладок твой в небе четко зашкаливший выдох
Я — между ямой и бездной — завязка такая.

ЖАЛОБА

Вечереет. Перечень черни исчеркан.
Ты уходишь, моя ухвертка из горничных. Горше
Не слыхивал я обиды. Брутальней не видывал. Черте
Что происходит в часы заунывной пороши.

Я боюсь, в это время патруль заседает на кухне
Жрут и пьют в полумраке и вход посторонним
Разрешен, и по черному дохлая сука
Ходит в спальне моей, где теперь многократно просторней.

Блядь, науськала взрослых, играя в моджонку,
Сыпая черные кости, вертя переполненный кубик.
Навалила вчера мандрагоры и редьки в мошонку.
Но зато я разбил о тебя мой нефритовый кубок!

Жаль, в такую погоду по парку не только
Ни одна прохиндейка не выпустит тонкого шпика.
Помнишь, в прошлом году на пороге площадки для гольфа,
Я нашел, захлебнувшись, твои раздробленные спицы...

Там, у южного портика снег. Намело до предела.
Чем заняться не знаю. Проклятая паника в зале
Для гостей. Ах какое мне чертово дело
Что стреляют за парком и мертвых приносят с вокзала!

ИГОРЬ КЛЕХ

ВВЕДЕНИЕ В ГАЛИЦИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Географический центр Европы — место, где сходятся синусы и косинусы сил, где дремлют таблицы корней и бдят пограничники пяти государств, где границы отвердевают, а люди размягчаются и отрываются от собственных судеб, где все контуры двоятся и накладываются один на другой, как пакет слайдов, где сквозят и просвечивают друг через друга, друг друга засвечивают эпохи и этносы — дряблая сердцевина европейского дерева, как всякая сердцевина, годящаяся только на карандаши и спички.

То край, над которым завис отточенным бритвенным полумесяцем, — анемичным светом заливая народы (от Мюнхена и до Диканьки), — зловещий знак Захер-Мазоха. То край, чья судьба кажется мельче его собственной тоски.

Отсюда лежит путь в «регионы великой ереси», где размещаются события, не уместившиеся во времени, — в слепые закоулки времени, тупики его и отростки, путь в «Другую осень», проложенный некогда учителем рисования Дрогобычской польской гимназии Бруно Шульцем.

Где-то здесь застрял он в годовых кольцах Европы, в тех отвердевших, продолжающих движение кругах, где, как игла с межвошной пластинки, съезжал он вместе со всеми — человек с лицом, похожим на туфельку, — странный писатель Бруно Шульц.

Можно было бы сразу сказать, что как писатель он — третье недостающее звено, связующее Кафку с Бабелем, — но больше всего в этом было бы неправды для всех троих. Гораздо уместнее было бы поставить его в ряд двух других приоритетных писателей его времени, его близких друзей и таких же, как он, неудачников (один повесился, другой — эмигрант) — Виткацы и Гомбровича, — но беда в том, что их имена почти ничего не говорят читателям в СССР (и, почти исключительно, в СССР).

Специфическим для всех троих было запоздалое сепаратизм, парадоксальным образом давшее неожиданные плоды, насытившее творчество каждого из них, — хоть, в разной мере, — духом метафизической пародии и сделавшее их всех художественными радикалами.

Все они, смутно и беспокойно, чувствовали то, чего не чувствовал никто кругом, — банкротство реальности, тот иррациональный фатум, что увлекал все более недееспособную Европу от мировой войны к чему-то уже просто нечеловеческому, притягивающему настоящее, как магнит, — и они пытались исследовать, каждый по-своему, этот оползень, этот паралич воли, — войти в само сердце мазохизма.

Единственное, что они знали: что уже поздно. Но до какого-то предела человек живет в любых условиях. Пределом этим является, вообще-то, вполне конкретный минимум свободы. Это к слову.

По ряду внешних капитулянтских примет жизненная ситуация Шульца во многом схожа с ситуацией Кафки (вплоть до повторяющейся раз за разом патовой ситуации в матримониальной области, задокументированной в длительной и мучительной переписке). Шульц, кстати, первый переводчик «Прощеца» в Польше. После разорения и смерти отца и ряда внутрисемейных драм фактически на содержании Шульца остались мать, двое сестер, племянник, — что намертво привязывало его к работе в школе, все более ненавистной в силу шаткости его положения (из-за недополученного во Львове и Вене профессионального образования) и прогрессирующего заболевания литературой.

Усугублялось все это вынужденностью жизни в провинции, в низкотемпературной среде, в культурной изоляции. Провинциальный город, собственно, — редукция города как такового. Такие города — прекрасный объект для описания, но не для жизни. В них можно только родиться и умирать.

Начинал он как рисовальщик и даже добился некоторой известности (знаменитая впоследствии фототипированная «Ксенга балбохвальча» — «Идолопоклонская книга»), известности, которая через несколько десятилетий все же не стала бы европейской, если бы не его занятия литературой.

Что-то самое важное не помешало у него в эти графические картинки. Ведя обширную и напряженную переписку, он в начале 30-х годов, наконец, нащупывает тот особый поворот письма, который позволит ему извлечь свою тему из нищеты окружающей материи, из дешевизны ее переразвитых, пышных, но онтологически необеспеченных форм, из неартикулированной каши во рту, разрастающейся стилистическими папилломами, — извлечь ее и стянуть подобием дамского корсета, — не столько что-то построить, сколько пошить, перелицевать из обветшавшего «гардероба» сессии, круга идей *fin de sieck'a* (siecle). В середине

30-х две книжечки прозы, выпущенные им, «Лавки пряностей» («Sklepy supat6nowe») и «Санаторий под клеписдрой» стали художественным скандалом, т. е. успехом, и принесли ему массу действительных друзей (как он замечал в письмах, «несправедливо»).

Вначале никто ничего не понял. Без сомнения, это была магическая литература, осмысленно магическая, принесшая в польскую литературу метафору нового времени, — метафору, неслыханно ее раскрепостившую, но и повязавшую новой конвенцией, потому что магия — это плен.

Сам Шульц, как кажется, не вполне понимал значение им сделанного, страшно скрупулезно и... близорукую оценивая новизну своего письма. Без сомнения, культурная изоляция, психология задворок определили некоторую диффузность его художественного самосознания.

Так он преклонялся перед Т. Манном (как другие, впрочем, перед Горьким и Ролланом), дорожил, перепиской с ним. Томасом Манном, при мысли о котором почему-то приходит на ум поздний, очень поздний Гете в «Разговорах...» Эккермана, — Гете, мечтавший дожить до завершения строительства Суэцкого и Панамского каналов. Ему почему-то казалось, что мир сильно переменится в результате этих земляных работ.

Шульцу писалось трудно. Он получил литературную премию за первую книгу, взял длительный отпуск, поехал в Париж, попал на мертвый сезон летних каникул. Европе он был не очень нужен. Он, впрочем, был уверен, что так и будет.

Незадолго до войны он приступает к третьей, давно вынашиваемой, не дающей ему покоя и не дающей ему книге — «Мессия», в пределе тяготеющей стать романом. В войну рукопись пропала, как почти все его рукописи, большая часть рисунков, писем (уцелевшие читать... как-то не по себе — большая часть корреспондентов и упоминаемых в письмах лиц погибла также). Похоже, что вектор — конца времен — он угадал, но не угадал качества грядущего апокалипсиса, — с маленькой буквы, потому что лишенного своего главного действующего лица, на которого давно (переведа его имя на пряжки ремней) перестали уповать люди его времени, — Бога.

В 39-м наступает раздел Польши по пакту Молотов-Риббентроп. В первые дни войны Виткацы надевает рюкзак и начинает двигаться на восток с волной беженцев. 18 сентября он сойдет с дороги и повиснет в вольском лесу. Он не захочет пережить все это, чтобы потом опять жить после войны.

За несколько недель до того Гомбрович садится туристом на трансатлантический лайнер и посреди океана узнает, что возвращаться ему, собственно, некуда.

Шульц честно пытался стать советским писателем.

Но львовские «Нове виднокренги» под редакцией Ванды Василевской возвращают ему рукопись рассказа под предлогом его низкого идейно-художественного уровня. В немецкую редакцию Иноиздата в Москве он посылает свой единственный немецкоязычный рассказ. К счастью, он пропадает без вести где-то в недрах редакции, иначе, не исключено, что бедному Бруно довелось бы еще отвечатать наших лагерей.

Он рисует новые языческие заставки в местную газету и, по заданию городских властей, самого большого «отца народов» в Дрогобыче — для демонстраций.

В 40-м году он переносит две операции на почках — чистейший психосоматоз. К оккупации Дрогобыча немцами он — совершенная руина, тень самого себя. Его берет под покровительство австрийский офицер, служащий в гестапо, — бывший столяр, выдающий себя за архитектора, — для которого он, за хлеб и обеды, расписывает виллу в сессионном духе.

Застрелен он был на тротуаре в ходе увлекательнейшей из охот — охоты на людей — другим гестаповцем*, отомстившим его покровителю по принципу: «ты убил моего еврея, я убью твоего еврея». Есть свидетельства, что искал он его специально. На улице Шульц вышел сам.

* — от которого история сохранила фамилию — Гюнтер, в чем видится некий действовавший до последнего времени закон, — убийцы писателей и, шире, людей должны называться; в каком-то смысле, чтобы смочь поразить человека, им надо предьявить имя: я не оборотень, я одной с тобой крови.

Хотя новейшее время научилось и убийство лишать его персональной значимости, сделав его безукоризненно анонимным.

Имя убийцы — это последнее, что связывает смерть Шульца с культурой, со смертями того давнопрошедшего и надежного века, выяснилось, века, в который он еще успел родиться.



«За столом», карандаш, ок. 1936 г.

Набросок иллюстрации к рассказу «Улицы крокодилов» из кн. «Лавки прыностей», карандаш, ок. 1933 г.



Иллюстрация к рассказу «Улицы крокодилов», тушь, 1936 г.



Случилось это 19 ноября 1942 года. Шульцу в этом году исполнилось 50 лет. Несколько блицев не дают покоя, несколько воображаемых фотографий из его жизни, которыми хочется закончить...

Вот он стоит в Дрогобыче в своей комнате перед зеркалом платяного шкафа, пошедшим золотистыми кавернами, — в дамской одежде, в шелковых чулках, одной рукой приподняв подол, с женской туфелькой, прижатой к груди, — раня нечистым каблучком кожу, с восторженно кричащим пахом, готовый властвовать в своем призрачном мире.

40-й год, вот он на каменном полу гимназии рисует Большого Сталина, такого, чтоб закрыл окна двух этажей жилого дома на площади; переползает, муравей человечества, катается по полу — пигмей со связанными за спиной локтями, мыслящим планктоном колышется на волнах отливов и приливов империй, — углем мажет китовые усы Отца Народов. Уборщица, оставив ведра со щелочью, опершись на швабру, глядит, будто кусок сырого мяса, на вершащийся на ее глазах творческий акт. Вот с большими чемоданами он садится на пароход, который отвезет его в Париж, — целый месяц в Париже! Скрипит трап.

Запах моря, галюнов, дезинфекции. Низко несутся облака. Начинает накрапывать дождь. Господи, как непредсказуема жизнь! Какие дивные повороты припасены у нее про тебя — Бруно Шульцу! Лично в руки. Распишитесь. Мекка и Бабилоны: волшебная заоблачная башня возгонки всех провинций, всех искусств! — неужели не найдется в ней места для тебя, неужели за месяц, за целый месяц не разоблачит она перед тобой свои тайны? Не пробьет всего тебя своим нервом, словно электрическую косточку в локте, — крутанет, крикнет: — На! Води! 38-год. Ледяной ветер сгоняет пассажиров с палубы. В каютах качает. Принц Гамлет едет морем в Англию, чтоб ему там отрубили голову.

... В Париж он поехал поездом, — чтоб не ехать через Германию, — через Италию, задержавшись на два дня в Венеции.

Вот в оккупированном Дрогобыче евреи торгуют белыми повязками с шестиконечным тавром. Обшитые целлулоидом стоят дорожке — в них больше амулетной силы, они отводят пули и защищают от газовых камер, — в которые и так никто не верит. Так садовник метит известкой стволы деревьев в обреченном на порубку саду.

Бруно Шульц, привитый на меже культур, в области пограничья, где развиваются трансмутации исходного вещества, нигде более не

встречающиеся, — звено между Кафкой и Бабелем, между Бабкой и Кафелем, Шуно Брульц вообще отныне перестает что бы то ни было понимать.

Но уже скоро ему все объяснят.

Улицы наполнились агатовыми насекомыми, с навощенными отставленными задами — яйцекладами неиссякающих, острых, как укус, смертей в кобурах. Вот забежали они по дворам и парадным, выволакивая на тротуары добычу, слабо сопротивляющуюся только в силу собственного веса, жалья и парализуя ее своей слюной — слепоглухонемая и деятельная сила, собирающая корм для своих куколок и маток, для родильных заводов рейха, — набивая податливыми на ощупь, как гусеницы, и хрупкими, как тли, организмами железнодорожные составы, чтобы отправить их в глубь муравейника свастик.

Сделав дело, они курили, удовлетворенно ощупывая усиками твердые головы друг друга. Хитиновые козырьки. Солдаты — в касках.

Преобразование состоялось.

Но не совсем так, не совсем в том направлении, как мнилось и предчувствовалось его угадавшим. Грубо говоря, превратился на этот раз не Шульц, а мир.

Но им обоим пришлось расплатиться за это сполна.

май 89. Львов.

Копии сделаны с источников:
Bruno Schulz. Druga jesen. Wydawnictwo Literackie, Kraków; «Proekt» № 5, 1972.



«Аделя», карандаш, ок. 1935 г.



БРУНО ШУЛЬЦ

из книги «Лавки пряностей»

АВГУСТ

1

В июле отец мой уезжал на воды и оставлял меня с матерью и старшим братом на произвол белых от жара, ошеломительных летних дней. Мы рылись, одурев от света, в той огромной книге каникул, все листы которой блестяли и пылали, — и на самом дне которой находилась сладкая до беспамятства мякоть спелых грушек.

Аделя возвращалась в сиянии утра, как Помона из огня разгорающегося дня, и высыпала из корзины цвети-

стые дары солнца — лоснящиеся, полные воды под прозрачной кожей черешни, таинственные черные вишни, запах которых сулил намного больше того, что мог предложить их вкус, абрикосы, в золотистой мякоти которых таилось средоточие долгих полдней; а рядом с этой чистой поэзией фруктов громоздились набухшие питательной силой отруба мяса с клавиатурой телячьих ребер, водоросли овощей, будто умерщвленные головоногие и медузы — сырой материал обеда, со вкусом еще неоформленным и стерильным, вегетативные теллурические его составляющие с диким полевым запахом.

Огромное лето шествовало ежедневно через сумрачные покои первого этажа нашего дома на рыночной площади: тишина дрожащего слоистого воздуха, квадраты блеска, терзающие пол в сновидческой горячке, мелодия шарман-

ки, добытая из самой глубинной золотой жилы дня; два-три такта рефрена, повторенные где-то на фортепиано вновь и вновь, сомлевшие на солнце и затерявшиеся в недрах огненного дня. После уборки Аделя вновь впускала в комнаты тень, задергивая полотняные шторы. Тогда цвета опускались октавой глубже, комнаты наполнялись сумраком, будто погружались в мягкий свет морских глубин, в мутную зелень зеркал, а дневной зной дышал на шторы, легко волнуясь в мареве полуденного часа.

В субботу пополудни мы с матерью выходили на прогулку. Из полумрака коридора мы сразу окунались в солнечную купель дня. У прохожих, бредущих в золоте, глаза от жары были прикрыты, будто залеплены медом, а поднятая верхняя губа обнажала зубы и десны. У всех, идущих вброд по этому золотистому дню, была гримаса от зноя, будто солнце надело на своих приверженцев одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства; и все, кто вышел на улицы, старики и молодые, дети и женщины, встречались, здоровались, расходились все с той же маской, грубо намалеванной золотой краской на лицах — и, расходясь, шерились друг другу вакхической гримасой — варварской маской поганского культа.

Рынок был пуст и желт от жары, выметенный горячими ветрами, как библейская пустыня. Тернистые акации, выросшие на пустыре желтого плаца, кипели над ним ясной листвой, букетами изящно прорезанной зеленой филигранни, подобные деревьям на старых гобеленах. Казалось, это они возбуждали ветер, театрально вздымая свои кроны, чтобы в патетичных изгибах продемонстрировать изысканность свои лиственных вееров с серебристым, как у драгоценных лисиц, подбрюшьем. Старые дома, отполированные ветрами многих дней, окрашивались атмосферными рефлексами, отзвуками, воспоминаниями колёров, распыленных в цветовой глубине лета. Казалось, что целые поколения погожих дней трудились, обвивая лживую глазурь (так терпеливые маляры расчищают старые фасады от заплесневелой штукатурки), обнаруживая с каждым днем все выразительней истинное обличье домов, физиономии жизни и судьбы, которые исподволь их формировали. Сейчас их окна, ослепленные блеском пустой площади, спали, балконы являли небу собственную пустоту; из раскрытых сеней веяло холодом и вином.

Кучка голодранцев, уцелевшая под пламенной метлой зноя, обступила в углу рынка часть стены, испытывая ее раз за разом метанием пуговиц и монет, будто по гороскопу этих металлических кружков можно было прочитывать истинную тайну стены, испещренной иероглифами царапин и трещин. Рынок был пуст. Можно было ожидать, что вот-вот в трепетной тени акаций покажется ведомая за узда ослица самаритянина, видеть, как подойдет она и остановится у сеней, заставленных бочками виноторговца, и двое слуг заботливо совлекут большого мужа с раскаленного седла, чтобы по холодным ступеням осторожно внести его в пропахший субботой дом.

Так медленно прогуливались мы с матерью по солнечной стороне рынка, преломляя свои тени по всем домам, как по клавишам. Квадраты брусчатки проплывали под нашими мягкими и плоскими стопами — одни бледно-розовые, как человеческая кожа, другие золотистые, синие, — все тоже плоские, теплые, бархатистые на солнце, будто какие-то солнечные лица, стертые шагами до неузнаваемости, до блаженного небытия.

Пока, наконец, на углу улицы Стрыйской мы не входили в тень аптеки. Большая банка с малиновым соком, выставленная в широком аптечном окне, символизировала холод бальзамов, которым можно было утолить здесь любое страдание. Еще несколько каменных домов, — и дальше улица была уже не в состоянии поддерживать декорум города, как тот крестьянин, что, возвращаясь в родное село, раздевается по дороге, и, избавляясь от городской своей франтоватости, превращается понемногу в сельского оборванца.

Пригородные домики утопали в садах и палисадниках по самые окна, захлестнутые буйной спутанной пеной цветения. Предоставленные самим себе, в тихом бешенстве разрастались все зелья, трава, цветы, бурьян, радуясь той паузе, что могли прогрезить они за скобками времени, на окраинах нескончаемого дня. Огромный подсолнух, вознесенный на могучей ноге и пораженный эلفантиазом, дожидаясь в желтой скорби последних тоскливых дней своей жизни, сгибаясь под бременем чрезмерной и уродливой тучности. Наивные колокольчики и ситцевые непритязательные цветочки предместий, окружавшие его, стояли беспомощно в своих накрахмаленных розовых и

белых рубашонках, не догадываясь о великой трагедии подсолнуха.

2

Полыхает в огне полудня сплошная чаша трав, сорняков, бурьяна и чертополоха. Гудит мушиным роем после-полуденная дрема огорода. Золотая стерня исходит криком на солнце, будто рдяная саранча; под обильным огненным дождем оглушительно верещат сверчки; стручки семян выстреливают, будто кузнечики.

Ближе к забору кожух трав вздымается горбом пригорка, будто огород во сне перевернулся на другой бок, и толстые его мужицкие плечи ходят, вдыхая земляной покой. На этих-то плечах огорода неряшливое бабское буйство августа распоясалось, жутко преувеличив размеры лопухов, разросшихся в глухих впадинах, наглая платами волохатых лиственных блях, вспучиваясь языками мясистой зелени. Там пугала лопухов лупоглазо тарашились, как широко рассевшиеся бабища, наполовину уже пожаренные собственными взбесившимися юбками. Там огород распродал за даром дешевую крупу бузины, смердящую мылом, грубую кашу подорожника, дику оковитую мяты, — все निकудышно последнее барахло августа. А за этим рассадником лета, в котором густо разрасталась придурь вставших в идиотию бурьянов, по другую сторону забора находилась поросшая чертополохом мусорная свалка. Никто не знал, что именно здесь август справлял этим летом свою большую языческую оргию. На этом мусорнике в зарослях бузины, упираясь в забор, стояла кровать слабоумной девицы Тлуу. Так все ее звали. На куче мусора и отбросов, старых черепков, башмаков, битого кирпича и щебня стояла крашеная кровать, вместо недостающей ноги подпертая двумя кирпичами. Воздух над мусорной свалкой, одичалый от жары, рассекаемый молниями лоснящихся, разъяренных солнцем слепней, трещал, будто от невидимых трещоток, доходя временами до неистовства.

Тлуя сидит на корточках посреди тряпья на пожелтевшей постели. Большая ее голова торпачится пуком черных волос. Лицо ее сморщено, как меха гармони. Ежеминутно гримаса плача собирает эту гармонь тысячей поперечных складок, а удивление растягивает ее вновь, разглаживает складки, приоткрывает щелки мелких глаз и влажные десны с желтыми зубами под хоботоподобной мясистой губой. Проходят часы, исполненные зноя и тоски, во время которых Тлуя бормочет вполголоса, дремлет, тихонько брззжит и похрюкивает. Мухи обседают ее целым роем. Но неожиданно вся эта куча нечистого тряпья и отрепьев начинает шевелиться, будто оживая от шевуршания выведшихся в ней крыс. Просыпаются всполенные мухи, и вздымается огромный гудящий рой, полный яростного жужжания, мелькания и блеска. И по мере того, как свалываются отрепья, падают на землю и разбегаются по помойке, будто вспугнутые крысы, — из них разгребается, вылушивается понемногу ядро, сердцевина, стержень помойки: полуголая смуглая кретинка понемногу поднимается и встает, похожая на языческого божка, на коротких детских ножках, — а из вздувшейся от прилива злобы шеи, красного, потемневшего от гнева лица, на котором, как варварские росписи, цветут арабски набухших жил, вырывается звериный вопль, хрипящий вопль, добытый из всех бронхов и труб этой полуживотной, полубожественной груди. Пухнут и кичатся бесстыдным мясом лопухи, кричит спаленный солнцем репейник, бурьян истекает блестящими ядовитой слюны, а кретинка, охрипшая от крика, в диких конвульсиях, осатанев от страсти, ударяет мясистым лоном в пень бузины, который тихо поскрипывает под напором этой разнузданной похоти, призываемый всем этим нищенским хором к извращенному поганскому плодородию.

Мать Тлуу нанимается к хозяйкам помойкой. Это маленькая, желтая, как шафран, женщина, шафраном же она приправляет полы, еловые столы и спальные лавки, когда вымывает хаты бедняков. Аделя как-то раз брала меня с собой к этой старой уже Марыське. Был ранний час, когда мы вошли в ее низкую выбеленную голубым хату; на уютный глинобитный пол падало утреннее солнце, ослепительно желтое в этой утренней тиши, отменяемой жутким шелканьем ходиков на стене. На скрыне на соломе лежала дурноватая Марыська, бледная, как облатка, и тихая, как варежка, из которой высунулась ладошь. И, будто пользуясь ее сном, бормотала тишина, — желтая, слепящая, злая тишина толковала, препиралась, выговари-

вала свой громкий и обыденный маниакальный монолог. Время Марыски — время, упрятанное в ее душе, выступило из нее вдруг страшно осязаемо и ступало теперь по избе самостоятельно, горластое, шумливое, пекельное, прибывающее в слепящем молчании утра из громкой мельницы ходиков как злая мука, сыпучая мука, дурацкая мука сумасшедших.

3

В одном из таких домиков, утопающем в буйной зелени сада и огороженном коричневым штакетником, жила тетя Агата. Приходя к ней, мы миновали за калиткой череду торчащих на шестах разноцветных стеклянных шаров: розовых, зеленых, фиолетовых, в которых были заморожены целые миры, звонкие и прозрачные, наводящие на мысль о тех идеальных и счастливых образах, что замкнуты в недостижимом совершенстве мыльных пузырей.

Еще в сенах со старыми олеографиями, изъеденными плесенью и ослепшими от старости, мы сразу ощущали знакомый аромат. В этом настоящем доверительном запахе в каком-то дивно простом синтезе умчалась вся жизнь этих людей, концентрат расы, группа крови, секрет их судьбы, растворенный в будничном течении их собственного особого времени. Старые умудренные двери, каждый раз тяжело вздыхающие, впуская и выпуская этих людей, — молчаливые свидетели всех приходов и уходов матери, ее дочерей и сыновей, — отворились беззвучно, как дверцы шкафа, и мы вошли в их жизнь. Они сидели в тени своей судьбы, не думая защищаться, и первыми же неловкими жестами выдали нам свою тайну. Разве не были мы кровью и судьбой породнены с ними?

Комната была темной и бархатистой от гранатовых обоев с золотым узором, но отголоски и отблески пламенеющего дня проникал и сюда, — просеянные густой зеленью сада, они латунью дрожали на рамках картин, на дверных ручках и позолоченных карнизах. От стены отделилась тетка Агата — огромная, добная, пышущая плотью, испещренная красной ржой веснушек. Мы садились с ними, будто на берегу их судьбы, смущенные слегка той беззащитностью, с какой они предавались нам без всяких опасений; мы пили воду с розовым соком, дивный напиток, в котором, мне казалось, я обнаружил, наконец, сокровеннейшую эссенцию этой знойной субботы.

Тетка сетовала. Это было основной тон ее разговоров, — голос мяса, белого и плодового, бушующего уже будто за границами личности, — личности, едва еще удерживаемой в узах индивидуальной формы, в относительном сосредоточении, но уже в самом этом сосредоточении многократно разросшейся, готовой вот-вот распасться, расчленившись, рассыпаться в род. Это была плодovitость почти самопроизвольная, женственность чрезмерная, не признающая никаких ограничений, болезненно переразвившаяся.

Казалось, один аромат мужественности, запах табачного дыма, холостяцкая острота, могли дать импульс этой воспламененной женственности к разнузданному партеногенезу. И все жалобы ее на мужа, на службу, заботы о детях были на самом деле всего лишь капризничаньем и обидами неудовлетворенной плодovitости, продолжением того напористого, гневного и плаксивого кокетства, которому она тщетно подвергала мужа. Дядя Марек, небольшой, сгорбленный, с лицом, лишенным признаков пола, сидел совершенным банкротом, смирившись с судьбой, в тени безграничного презрения, в которой он, казалось, отдыхал. В его серых глазах тлел отдаленный жар сада, распятого за окном. Временами он пытался слабым жестом выдать какое-то свое несогласие, оказать сопротивление, но волна самодостаточной женственности опрокидывала этот незначительный жест и триумфально шествовала мимо, широко своим потоком заливая слабые конвульсии мужественности.

Было что-то трагическое в этой плодovitости, неряшливой и неумеренной, была нищета существа, пресмыкающегося, борющегося на грани небытия и смерти; был какой-то героизм женственности, силой своего плодородия торжествующей даже над увечностью природы, над несостоятельностью мужчины. Но потомство доказывало оправданность этой материнской паники, этой родильной ярости, которая исчерпывалась в производстве одних неудачных созданий, в эфемерной генерации фантомов без лица и крови.

Вошла Луция, средняя, с головкой, чересчур рано созревшей и распутившейся на детском, еще припухлом теле

из белой деликатной плоти. Она подала мне кукольную ручку, будто только что отпочковавшуюся, и сразу же залилась краской, как переполнившийся розовый пион. Румянец бесстыже говорил о секретах менструаций, и она чувствовала себя от этого несчастной; она опустила глаза и от самого безобидного вопроса всхлинула еще сильнее, так как в каждом из них содержался намек на ее сверхчувствительную девственность.

Эмиль, самый старший из кузенов, со светло-русыми усами, с лицом, с которого жизнь будто смыла всякое выражение, прохаживался взад и вперед по комнате, с руками, засунутыми в карманы просторных брюк.

Его дорогой и элегантный костюм был отмечен печатью тех экзотических стран, из которых он возвратился. Его лицо, увядшее и помутневшее, казалось, с каждым днем забывало само себя, становясь голый белой стеной с бледной сетью прожилок, в которых, как в линиях на затертой карте, путались воспоминания этой бурной и расстроченной жизни. Он был мастером картежных игр, курил длинные изысканные трубки и пах каким-то удивительным запахом далеких стран. Со взглядом, блуждающим в давних воспоминаниях, он рассказывал удивительные истории, фабула которых в какой-то момент внезапно расстраивалась, обрывалась и развеивалась в никуда. Я следил за ним тоскующим взором, желая, чтобы он обратил на меня свое внимание и избавил от терзания скуки. И, действительно, мне показалось, он подмигнул мне, выходя в другую комнату. Я вышел вслед за ним. Он сидел на низенькой козетке, с коленями, сходящимися почти на уровне головы, льсой, как бильярдный шар. Казалось, что это лежит смятая одежда, брошенная на подлокотники. Лицо его было, как выдох-парок, оставленный висеть в воздухе анонимным прохожим. В бледно-голубых эмалированных ладонях он держал портмоне и что-то разглядывал в нем.

На затуманенном лице с трудом выделилось выпуклое белое глаза, игриво подмигивая мне и маня. Я чувствовал к нему neodолжимую симпатию. Он поставил меня между коленей и, умелыми руками тасуя перед моими глазами пачку фотографий, показывал изображения голых женщин и мальчиков в странных позах. Я стоял, прислоненный к нему боком, и смотрел на эти миниатюрные человеческие тела далеким невидящим взглядом, когда флюид неясного возбуждения, которым вдруг замутилось пространство, дошел до меня и пробежал по мне дрожью беспокойства, волной внезапного понимания. Но к тому времени та дымка усмешки, которая наметилась под его мягкими красивыми усами, та завязь желания, что напряглась пульсирующей жилкой у него на виске, то напряжение, с минутой державшее его черты в сосредоточении, — вновь все это пропало, вернулось в небытие, и лицо забыло себя, испарилось, развеялось.

Перевод с польского ИГОРЯ КЛЕХА

ПТИЦЫ

Наступили желтые, полные скуки зимние дни. Порыжевшую землю покрыла дырявая, протершаяся и кургузая скатерть снега. На многие кровли не хватило ее, и стояли они черные либо ржавые — гонтовые крыши и арки, — скрывающие в себе закопченное пространство чердаков — черные, обугленные костелы, ошетилившиеся ребрами стропил, расколов и стяжек, — темные легкие зимних вихрей. Каждый рассвет являл все новые трубы и дымоходы, выросшие за ночь, — выдутые ночной вьюгой трубки дьявольских органов. Трубочисты не в силах были отряхнуть от ворон, которые, наподобие живых черных листьев, то обсаживали по вечерам ветви деревьев у костела, то отрывались вдруг, трепеща, чтобы наконец прильнуть — каждая — к надлежащему месту на надлежащей ветке, а на рассвете улетали огромными стаями, — туманы сажи, хлопья копоти, волнующиеся и фантастические, — запятив мерцающим карканьем мутно-желтые полосы рассвета. Дни отвердели от холода и скуки, как прошлогодние буханки хлеба. Нарезали их тупыми ножами без аппетита, с ленивой сонливостью.

Отец уже не выходил из дому. Топил печи, изучал извечно непостижимую сущность огня, вкушал соленый металлический привкус и копченый запах зимнего пламени, холодную ласку саламандр, слизывающих блестящие сажи с

гортани дымохода. Увлеченно проводил он в эти дни любые ремонтные работы в горних регионах комнат. В разное время дня его можно было застать примостившимся на верхушке лестницы — он мастерил что-то под потолком, у карнизов высоких стен, около шаров и цепей люстр.

По обычаю маляров пользовался он лестницей, как огромными ходулями, и чувствовал себя хорошо в этой птичьей перспективе, рядом с расписным небом, арабесками и птицами плафона. Все более отдалялся от практических сторон жизни. Когда мать, огорченная и озабоченная его состоянием, пыталась втянуть его в разговор о делах, о приближающихся платежах «ultimo», слушал ее рассеянно, полный беспоконья, с судорогами на отсутствующем лице. И, бывало, прервав ее внезапно заклинивающим жестом руки, убегал в угол комнаты, чтобы прильнуть ухом к щели в полу и с воздетыми указательными пальцами обеих рук, подчеркивающими наивысшую важность эксперимента, вслушиваться... Тогда мы еще не осознавали невеселого фона этих экстравагантностей и того печального комплекса, который дозревал втуне.

Мать не имела на него ни малейшего влияния, в то время как к Аделе он относился с большим почтением и вниманием. Уборка комнат была для него важнейшей и значительной церемонией, быть свидетелем которой он никогда не упускал возможности, наблюдая со смешанным чувством страха и упоительного озноба за всеми манипуляциями Адели. Всем ее действиям он приписывал преувеличенные, символические значения. Когда девушка молодыми и смелыми движениями водила щеткой на длинном древке по полу, вынести это было выше его сил. Из глаз его текли в тот момент слезы, лицо захлебывалось в приступе сдавленного смеха, а телом сотрясал упоительный спазм оргазма. Его уязвимость щекотке доходила до безумия. Достаточно было Аделе направить на него палец в жесте, имитирующем щекотание, как он в дикой панике убегал через все комнаты, захлопывая за собой все двери, чтобы наконец в дальней, бросившись вниз животом на кровать, извиваться в конвульсиях смеха, порожденного воображением, пред которым он был беззащитен. Именно поэтому Аделя обладала над ним властью почти неограниченной.

Тогда же мы обнаружили у отца впервые страстный интерес к животным. Было это первоначально страстью охотника и художника одновременно, было также, вероятно, более глубокой зоологической симпатией к родственным, но столь отличным формам бытия; экспериментаторством в неисследованных реестрах жизни. Лишь в позднейшей фазе приобрела эта заинтересованность чудовищный, запутанный, глубоко греховный и противный прирост оборот, о котором лучше бы было умолчать.

Начало это с высиживания птичьих яиц.

С большими трудностями и денежными расходами выписывал отец из Гамбурга, из Голландии, с африканских зоологических станций оплодотворенные яйца, которые подкладывал для высиживания огромным бельгийским курам. Процедура эта — вылупливание птенцов, истинных чудищ по облику и расцветке, — была чрезвычайно захватывающей и для меня. Невозможно было в этих монстрах, с огромными фантастическими клювами, разверзшимися и прожорливо шипящими челюстями глоток, в этих ящерах, с тщедушными оголенными телцами горбунов, распознать будущих павлинов и фазанов, глухарей и кондоров. Сидя в корзинах, в вате, драконье это потомство тянуло на тонких шеях незрячие, бельмами заросшие головы, хрипящие безгололо немymi глотками. Отец мой ходил вдоль полок в зеленом фартуке, как садовник вдоль парников с кактусами, и вызволял из небытия эти слепые пузыри, пульсирующие жизнью; неповоротливые желудки, воспринимающие внешний мир только в форме пищи; эти наросты жизни, пнущиеся наощупь к свету. Пару недель спустя, когда эти слепые почки жизни лопнули, сделавшись доступными свету, комнаты наполнились цветистым гомоном, мельтешищим щебетом своих новых обитателей. Они облепили карнизы штор и паралеты шкафов, угнездились в гуще оловянных ветвей и арабесок раскидистых люстр.

Когда отец штудировал толстые орнитологические пособия и перелистывал их цветные таблицы, казалось, что слетают с них эти пернатые фантазмы, переполняя комнату разноцветным трепетаньем, лоскутьями пурпура, чешуйками сапфира, ярь-медянки и серебра. Во время кормежки они создавали на полу цветистую колеблющуюся клумбу, оживший восточный ковер, который при чьем-нибудь неожиданном появлении разлетался вспугнутыми

цветами, трепещущими в воздухе, чтобы наконец осесть в верхних ярусах комнаты.

Особо запечатлелся в памяти один кондор — огромная птица с голой шеей, с головой сморщенной, и буйно покрытой наростами. Был этот худой аскет, буддийский лама, исполненный невозмутимого достоинства в том, как держался он, следуя нерушимому церемониалу великого своего рода. Когда он сидел напротив отца, застыв в монументальной позе древних египетских божеств с глазом, подернутым белесым бельмом, которое надвигал на зрачок сбоку, чтобы полностью отрешиться в созерцании своего гордого одиночества, то, со своим каменным профилем, казался старшим братом моего отца. Тот же материал тела, сухожилий и морщинистой жесткой кожи; то же высохшее костистое лицо, те же ороговевшие глубокие глазные впадины. Даже руки отца со вздувшимися узлами, длинные худые их кисти с выпуклыми ногтями имели сходство с лапами кондора. Глядя на него, столь глубоко усыпленного, я не мог избавиться от подозрения, что предо мною — мумия — усохшая и оттого уменьшенная мумия моего отца. Думается, что и наблюдательность матери не прошла мимо этого разительного сходства, хотя ни разу не затрагивали мы той темы. Существенно упомянуть также, что кондор и отец мой пользовались общим ночным сосудом.

Не прекращая опытов по выведению все новых экземпляров, отец мой устраивал на чердаке птичьих свадьях: засылал сватов, привязывал в просветах и дырах крыши соблазнительных истосковавшихся невест и добился, по сути дела, того, что кровля нашего дома — огромная двухскатная гонтовая кровля — стала воистину птичьим базаром. Новым ковчегом, в который из дальних сторон слетались пернатые всевозможных видов. Даже после ликвидации этой пташиной обители долго еще в крылатом мире поддерживалась традиция посещений нашего дома, и в период весенних перелетов нередко обрушивались на нашу крышу целые тучи журавлей, пеликанов, павлинов и прочей братии.

Однако вскоре, после короткой поры расцвета, неприятие сие постигла печальная участь. Через некоторое время отец настоял на своем переселении в две комнаты под крышей, служившие до того хранилищем старья. При первых признаках рассвета оттуда уже доносился гул смешавшихся голосов. Деревянные ящики комнат на крыше дребезжали от шума, хлопков, пения, токования, клекота, усиленных резонансом чердачной полости. На несколько недель потеряли мы отца из поля зрения. Лишь изредка он спускался в жилые помещения, и тогда становилось заметным, что, как бы, уменьшился он, похудел и сморщился. Иногда, забывшись, вскакивал из-за стола и, взмахивая руками, как крыльями, издавал протяжный клич, а глаза его застилалась мглой бельма. Смущенный, он смеялся потом вместе с нами, пытаясь инцидент этот обратить в шутку.

Однажды, во время генеральной уборки, в птичьем царстве отца внезапно возникла Аделя. Заломив руки, она застыла в дверях, пораженная зловонными испарениями и зрелищем кала, кучами покрывшего пол, столы, мебель. Но быстро придя в себя, открыла она окно, после чего с помощью длинной щетки привела всю птичью массу в кружение. Вознесенная адский туман из перьев, крыльев и крика, в котором Аделя, уподобившаяся безумствующей Менаде, невидимой за вращением своего тирса*, плясала танец уничтожения. Заодно с летающим народом стец мой в ужасе пытался подняться в воздух с помощью судорожных взмахов. Потихоньку рассеялся перистый туман, и посреди побоища остались только Аделя, запыхавшаяся и обессиленная, и отец с лицом, смущенным и опечаленным, готовый принять любые условия капитуляции.

Минутой позже спускался мой отец по лестнице своего *dominium* — поломанный человек, король-изгнанник, утративший трон и царствование.

Перевел ГРИГОРИЙ КОМСКИЙ

* тирс (гр. миф.) — атрибут Диониса, менад и сатиров, посох, увитый плющом, виноградными листьями и увенчанный шишкой лиины (прим. переводчика).

НЕОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ГРАФИКЕ БРУНОНА ШУЛЬЦА

Империя Франца-Иозефа стремительно развалилась, и через город хлынули, — одни отступая, другие наступая, иные спасаясь, — венгерские драгуны, российские казаки, беженцы-хасиды и коммивояжеры. Война потянула за собой человеческий шлейф, на обочины свои затянувший и Брунона Шульца. Ему пришлось оставить — и уже навсегда — любые надежды получить архитектурное или какое-нибудь иное образование и скрыться в Дрогобыч, предревив тем самым свое будущее.

В «метеорологическом трактате», объясняющем квинт-эссенцию провинциальной осени, Шульц сформулирует взаимосвязь климата и искусства, а, по существу — географии и творчества: «Он первым открыл вторичный, производный характер этой поры года, являющейся не чем иным, как, своего рода, заражением климата миазмами перезрелого и вырождающегося барочного искусства, теснящегося в наших музеях. Это разлагающееся в тоске и забвении музейное добро, оставаясь нетронутым, засахаривается, как старое варенье, переслащает наш климат и становится причиной той прекрасной малярийной лихорадки, того цветистого *delirium*, в котором агонизирует затянувшаяся осень. Поэтому красота является недугом, (...) своего рода, побудителем таинственной инфекции, темным предшествованием распада, встающим из глубины совершенства и приветствуемым вздохом глубочайшего счастья»¹. Об этих вздохах, как и о многом прочем, рисунок Шульца упорно умалчивают. Мягко выражаясь, он не стал баловнем судьбы, родившись *enfant perdu*² своего века.

Ирония Истории — Бруно Шульц, гражданин трех держав: Австро-Венгрии, Польши, СССР, и поднадзорный Третьего Рейха, прошел сквозь четыре государственных строя: конституционную монархию, буржуазную республику, тоталитарный социализм и, родственный последнему, — фашизм. В никчемных этих подпорках жизни, в сменяющих друг друга идеологических декорациях материализовалась шекспировская мысль о том, что мир — это театр. Но сцена его оказалась чрезмерно громоздкой для Бруно, он не вписался в «золотое сечение» своего времени и вынужден был приступить к постройке нового, соразмерного мира, прилепив его основание, подобно ласточкиному гнезду, под крышей дома в Дрогобыче, на необитаемом острове в центре Европы. Из предчувствия был вылеплен этот мир, вообразенный им то ли как безумный парад, то ли как страстотерпный хасидский праздник, на котором ему — маленькому и большеголовому — была отведена роль подглядывателя в замочную скважину, божьим даром и трудом одиночества увеличенному сверх размеров мира истинного. Рисунки Шульца наводят на мысль о том, что любимой игрой его незавершившегося детства были прятки, когда забившись в сырую полость под лестницей, увязнув в многолетней паутине и погрузившись в слоистые горизонты пыли, надо сдерживать рвущийся изнутри вопль восторженного ужаса и устоять на ногах под нокаутирующими ударами сердца. Этой игре, видимо подсознательно, он платил дань на протяжении всей своей жизни, в последний день которой понимание того, что спрятаться

больше негде, что все тайники засвечены, а любимейшие укрытия разрушены, вывело его на улицу гетто, когда там шла пулевая дезинфекция, с твердым намерением спрятаться, наконец, так, чтобы никто уже не смог застукать тебя. И он спрятался, его спрятали в землю, в таком укромном месте, которое вряд ли отыщется когда-нибудь. Прятки-рисунки Бруно Шульца — это драматические увертюры к его прозе, штрих-пунктирные фабулы, бегущие глаголы; в них все интенции сокрыты, а персонажи с библейской покорностью ожидают реализации воли своего автора, но он отказывается учинить над ними произвол и не включает секундомер, удовлетворившись плетением паутины из штрихов, пленением неуловимой субстанции, припасаемой для более изощренной кулинарии — замеса ночной словарной опары. Тогда в нее вольются глаголы, все задвигнется и пойдет в рост, будет пущено в ход засахарившееся варенье, и все персонажи ощутят во рту сладкий вкус изюма, горечь ореховой настойки и кислоту лимона, а под занавес все обезумеют и посыплют головы корицей — пеплом перегоревшей страсти. Рваные, импульсивные штрихи, поторапливаемые толчками предвкушения, внезапно исчезнут в черных соусных прорехах, увлекая за собой своего ослепленного поводыря.

А пока что маленькие домишки, служащие фоном на его рисунках, теряются в незавершенной перспективе, откуда прилетают в Дрогобыч ветры Атлантики и Средиземноморья, окутывающие местных красоток флером любовных благоволий и запахом селедки. Женщины и страждущие их внимания карлы — частая коллизия его рисованных мук. Карлы, смахивающие на автопортреты Шульца, и женщины, не желающие спать с карлами, но думающие именно об этом с какой-то долей неокончателности решения. Ни в одной истинно женской душе не нашлось угла, приютившего бы Бруно, и за это он отомстил... себе в полной мере. Небрежение епитимьей, наложенной на него несправедливым пастырем, скрыто в его рисунках за гордыней аскезы и мазохизма.

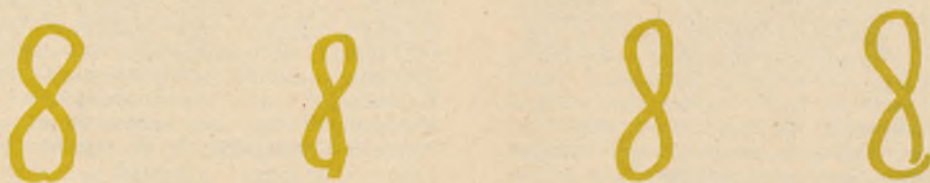
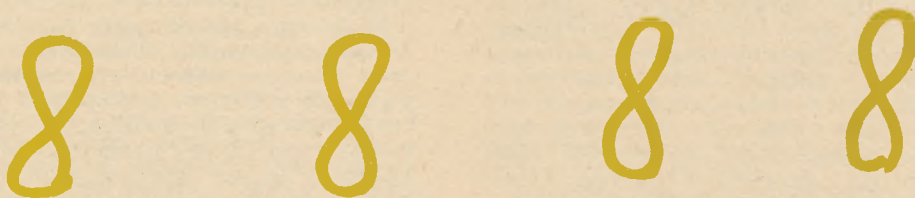
Вот он в автопортрете со щенком, голый и беззащитный, с изумлением и укоризною выглядывающий из окна своей комнаты, в глубине которой чернеют улочки Дрогобыча, Львова и Вены, со светящимися витринами лавчонок, торгующих колониальным товаром. А вот — провинция — идеальный зал ожидания Мессии. Вот хасиды торопят его приход, выстраиваясь в аэронавигационные знаки, как в Наска, видимые с неба; вот талмудисты — закладки Торы, мужи Великого Собрания, жующие табак ветхозаветных истин, — замедляют ход времени; вот Бруно, иллюстрирующий своего еще не написанного «Мессию»; и как на любом вокзале: побирушки, проститутки, отъезжающие и полицейские — все ожидают чего-то. О, провинция! Зачем тебе такое множество детей, если на всех не хватает мыла и воздуха для дыхания? Ты что, надеешься на то, что станут они все писателями и прославят тебя или запечатлеют твое рыхлое расплзающееся тело на холсте и бумаге? Что же ты подсовываешь им тогда вместо яблок — кислицу, вместо воды — жижу, вместо травы — ветوشь? Будь ты трижды неладна, тщеславная дура, на, получи свои карточки, которые рисовал изнемогающий от боли и тоски твой сын Бруно, и да благословит тебя Господь!

¹ Б. Шульц, «Другая осень».

² Потерянное дитя (франц.).

ИГОРЬ КЛЕХ

РАССКАЗЫ



ВТОРОЕ ПИСЬМО

Я искал его всюду.

В горах, наброшенных — кем-то пролетавшим, плечистым — на землю, как тысячелетний кожух, где так легко и дряхл тысячелетний воздух, где целый край, опекаемый и забытый, запутался в полах, ушел в рукава, подглядывает из прорех — за соседями, за небом, где дыбится усталая природа и уходит на покой, — и ветер свистит над голой полониной, закладывает уши и высушивает траву, и врозь и вниз текут ручьи, и разбредаются по пустошам дикие свиньи, выходя ночами к хуторам рыть картофельное поле...

... в том невероятном краю, где долгожданная зима — как смерть, как рай, — как чудо жизни после смерти, — в самой смерти, — которая оказалась вдруг не точкой, а длительностью — тоже жизнью (как на занесенном снегом хуторе), освободившей наши руки от предметов и действий, предоставившей наши органы чувств самим себе, — есть ли что острее и ошеломительнее запаха голой реальности, лишенной запаха и вкуса, как перекатывающаяся во рту откушенная льдинка!.. Как сладки мысли о смерти зимой, как вняты мы становимся к теплу, исходящему от люда, скота, от глиняной печки, протопленной тяжелым буковым жаром, — как только зимой оживает в нас родина человеческих удовольствий и первейшее из них — замерзнуть и отогреться.

Тянет холодом из продувных сеней, выстуживает и вытягивает жилое человечье тепло; скребется под крышей зверек кошэвак, как простуженный домовый, грызет солонину в кладовой, — него-ропливый, желтозубый, — писает в молоко, отчего оно даже зимой прокисает; как разжалованный солдат, висит в изголовье румяный Николай, и рядом жена его — червоная Богоматерь, в фольге, в зеленочных бумажных цветах;

бычок бодает стену всю ночь, рождественская свеча теплится в оконцах, согревая людей и скот, — рождается утром ягненок на сухом, летними травами пахнущем сене.

(В этом месте бабуку из первого письма я снял со стола и переложил в гроб, — твердые резиновые икры, будто продавленная гнилая грушка, зад, неповоротливый горб, — и снес ее вдвоем с отцом с шестого этажа; в доме траура ее тело положили в холодильник до понедельника, — и я продолжаю теперь второе письмо.)

* * *

Я искал его в теле реки, в космосе протоплазмы, где все меняется в одну минуту, но где склеены и растворены единым клеем все изгибы русла и все организмы устья, верховий и срединного течения, где рыбы лишены веса и так таинственно связаны миллиметрами ртути, жаберным давлением с удачей или неудачей вековечной рыбной ловли, с птицами, планктоном и насекомой мошкой; где щука — пятнистая рука прибрежных камышей — так чутка к оптике света, к блеску хирургических инструментов, и так убедителен и молниеносен сидящий в ней инстинкт убийства, столько сакрального смысла в зрелище жизни, пожирающей жизнь, что не выдержать ее круглого немигающего взгляда, слабый ум бежит, мыслью спасаясь, к друзьям хмельного пива — хромоногим кладбищенским ракам, пробирающимся по дну реки от берега к берегу — на веселую тризну.

Но все человеческие аллюзии отступают без борьбы, уносятся напором воды-учительницы, силы самородной и собирательной, силы мягкой и перетекающей, протекающей сквозь пальцы, силы неуничтожимой, потому что она с легкостью соглашается с любой предложенной ей преградой, принимает форму любого сосуда, но остановить или прекратить ее — в ничьих силах, — то Стихия, одна из четырех: из них две женских, материнских — земля и вода, и две мужских — огонь и ветер.

Люди и цивилизация не обязательно рождаются под знаком одной из них, — бывают пропорции и предпочтения, но не вызывает сомнения, что мы живем на территории Прометеевской Европы, в час цивилизации огня. Огонь не может существовать сам по себе, он экстенсивен и требует все нового топлива, без которого жизнь его прекращается. Воды в спокойном состоянии боится и избегает, принимая только частично такие ее формы, как водопад или кровь (воду цвета огня). «Вторые» в парах стихии менее связаны в своем течении, незаинтересованы в результате, равнодушны к использованию. В них оживает, на них восходит Великая Восточно-Славянская Мечта — о прекращении Истории. Несколько отлитых буковок — шрифтов, выпавших из рук наборщика — замешались в этом толстовском тексте: буковки -ч- и -м- и, наверное, большое

-П- или даже два -П-, и еще какие-то несколько — большая -Д-, что значит «дрожжи», и самая постыдная из них -о-, как замкнутая -с-, лежит на печи, в восточном халате, с чубуком.

Наша судьба не быть ни речным Востоком, ни языками западного племени, тянущимися к небу. Мы выросли на берегах великих рек, но они не сделали нас мудрыми. Европа всегда была для нас мачехой, но без этой мачехи мы были бы совсем круглыми сиротами. Неумение обращаться с огнем, отсутствие вертикальной мысли оборачивается атрофией и маразмом мысли социальной — волны на месте, голову вверх, голову вниз. Невыпеченный хлеб опадает и растекается тестом — блином на пол-Азии, — на лысой старческой голове старуха стряпает блины.

Мое почтение Патриотам!

Но все же река — эта иначе понимаемая цельность — ломит все славянские кости тоской, как родина жизни, в которую мы все должны будем когда-нибудь вернуться. Она живет жизнью терпеливого растения, укрепленного тысячу корней и корешков, чей парующий ствол рождает облака и подземные ключи, его поверхность рябит, ветви колыхаются, оно дышит и живет.

* * *

Я искал его в полях в разное время дня и года.

Когда полуденное солнце, будто лупа, выжигает в недвижном небе плавящуюся, дымящуюся дырочку, на которую больно смотреть, — когда ты идешь по траве, выстреливая из-под ног — наугад — птиц, будто шаги твои связаны с какими-то шутейными пружинами, чудесными пищальями, выпускающими серии зеленоватых перьевых воланов.

Восстановленный перпендикулярно земле, в небе трепещет мушинными крыльцами еле видный жаворонок, — вдруг складываясь как пловец, как нож и скользя по ветру вбок, будто на доске сёрфинга...

— как гений Пушкина на океанской волне дворянской культуры! Нет сил лишиться себя этого сравнения.

Что бы там ни было, время несло его, он стоял на своем времени, как мы противостоим своему. То время выкривило нам позвоночник.

.....

Но больше — искал в полях, когда меняется погода — на исходе дня. Сухой треск молний, как блеск сатори, на горизонте.

Там топчется в ополчении гроза, распространяя запах свежeverытой земли окрест.

... Туча тяжелела и росла, вытягивая из пейзажа, вбирая в себя все глухие, все серые и фиолетовые, тая угрозу, внося беспокойство в задний план, но не трогалась пока с места.

Я вышел на проселочную дорогу. На заросшем болотце аист переступал нескладно, как гигантский трехцветный комар — болотный москит. Не имея ко мне ни малейшего доверия, он повернул вполборота свой красный складной клюв, потер черные окончания крыльев друг о дружку, — но также не тронулся с места.

Тело природы было совершенно, — само по себе, — как переполенная чаша, никакая посторонняя идея не могла быть погружена в нее, чтоб не пролилась вода. Небесный свод пронизывал и растворял всю картину, поглощая феномены, готовый брызнуть и из моих глаз, высветить взор.

Порыв ветра, взволновавший траву, донес первые капли. Неожиданно потемнело небо над городом, над окраинными высотными домами. Настоящий ливень заходил оттуда — фланговой кавалерийской атакой.

.....

... Редкие люди возвращались босиком по асфальту, под мокрыми одеялами, с Глинной Наварии. Из-под одеял доносилась их размягченная трескучая речь.

В мокрой траве по пояс, весь в ряске, растопырив ладони и спотыкаясь, уходил я в сторону от дороги, не соображая куда; холодеющую голову втягивая в плечи и замечая — у меня мокрая, дышущая грудь земноводного.

* * *

Но нигде так не нужен Бог, как в райцентре.

Нигде не искал я его с такой смертной тоской в сердце, как там. В мертвом ящике своей груди искал я его на уродливейшей из площадей — автостанции, — с забором, доверху забрызганным автобусной грязью, с сиплым репродуктором, с кассами над стеной пустоглазого костела, где всмятку сапогами разбиты дороги, где швейная фабрика в стенах монастыря, где ручей со стоками в иссиня-черном болоте несет свои тягучие воды и морщит течение у опущенных веток,

— и похоронная процессия — memento mori районных городов — проходит мимо в следующем порядке:

впереди мальчик и девочка с хоругвями, следом одутловатый священник в белом, с потертым кожаным томиком и распятием в руках,

дальше духовой оркестр, — отставший музыкант с барабаном, размером с асфальтный каток, ударяет в него сбоку войлочной булавой через равные промежутки времени, а второй рукой, достав на ходу из кармана брюк гребешок, зачесывает из-за ушей непослушные салные волосы на плешь, — и нагоняет оркестр, дальше несут гроб, через край которого виден лишь кончик утиным жиром налившегося носа и сложенные на груди руки, в которые вложено что-то наподобие календарика,

сзади вдова, в черном капроновом платке и чулках, опирающаяся на взрослых детей, — и следом, целое каре одних женщин, — всех в черном, с зажженными свечами в руках, на дневном свету дающих призрачные острые язычки пламени, — следующее сосредоточенной и шаткой походкой домашней птицы,

с некоторыми интервалами следует колонна мужчин, той же косящей от горя походкой, тоже в черных костюмах, с зажженными свечами, с парафинными белыми пятнами на штанах и носках ботинок,

и совсем позади отстающая и догоняющая стайка мальчишек на дорожных велосипедах, с ногой, продетой под перекладину рамы, изогнувшихся, словно полиомиелитики, для сохранения равновесия.

* * *

Самое поразительное, что я видел там, — это лица девочек, детей и подростков, в крупных чертах — на короткопалых ладонях которых написано все их будущее, все, что будет с ними, и что может ожидать их в закоулках времени, сквозь которое пройдут они все с теми же, все чего-то ждущими, лицами девочек, так и не пробудившись никогда от того сна, что зовется здесь жизнью.

* * *

Над городом, над покойником плыли в вышине облака, которые БЫЛИ бы даже тогда, если бы их некому было увидеть, если бы в природе вообще не существовало зрения.

По раскрытому мертвому глазу ползла букашка, — чудесная, хрупкая, с огромным — избыточным — запасом жизненных сил — машинка.

Там — измученному, нищему умом и сердцем, был вдруг явлен блеск милостыни — боль, вдруг открывшаяся в фабрике глупой крови. Господи, дай нам зрение видеть тебя ежечасно, ежеминутно, — дай нам силы больше не умирать.

1981 г.

КОТА ХОЗЯИН И ЕГО КОТ

1

Кот ел много и рос быстро, в геометрической прогрессии.

Вначале это радовало и вызывало чувство некоторой гордости у кота хозяина, со временем начало интриговать и даже несколько пугать. В этом, впрочем, он себе не сознавался, так как уже пропустил момент, когда еще мог совладать с котом. Животное выросло до совершенно фантастических размеров и постоянно требовало есть.

Кота хозяин вдруг оставался в блокаде на кухне, т. к. кот лег в дверях — голова его колыхалась под потолком — и совершенно закрыл собой дверной проем.

Однажды хозяин пытался выйти силой (скорее силой воли и авторитета, чем физической), но кончилась эта попытка плачевно;

кот взял его голову в пасть — острые клыки прокололи кожу на висках, и кровь заструилась по лицу хозяина, — тело болталось на резинке шеи, как детский мячик, туго набитый мусором и обернутый фольгой, — кот качнул его в сторону и затем забросил за газовую плиту. В кухонном шкафчике посыпались тарелки. Раны плохо заживали, и еще с неделю из-под повязки ни с того, ни с сего, неожиданно начинала сочиться кровь, придавая кота хозяину вид — несколько двусмысленный — страждущего стоика. Особенно, когда он смиренно сновал между кладовкой, холодильником и газовой плитой и готовил, готовил, готовил еду своему грозному божеству.

Он с ужасом думал о том времени, когда запасы продуктов кончатся и вдруг прекратится похуже на звук пилы сытое урчание кота.

2

Кот был все так же прожорлив и ненасытен, и все так же замирал по ночам его хозяин, пробираясь к крану с холодной водой, когда взмахом клинка раскрывались под потолком холодные удавы глаза кота.

И потом долго еще он не мог прийти в себя на своей подстилке. Однажды он предпринял отчаянную попытку освободиться.

Распахнул окно, вскочил на подоконник — у него перехватило дыхание — улица остановилась, плоские блюда лиц с нарисованными разводами глаз выжидательно смотрели на него. На коже его спины лопнули глаза и встретили заинтересованный и, как ему показалось, сочувственный взгляд кота, — тот даже не пошевелился при виде этой сцены. Неожиданно хозяину стало стыдно, и, постояв с минуту на подоконнике, деревенея от чувства неловкости, путаясь в конюшнях, он спустился назад.

Он весь пошел краской, когда подумал, что был смешон. Забившись за холодильник и кусая губы, он провел там весь остаток дня. В этот вечер он даже не покормил кота.

3

Кот был уже не тот, и хозяин удивился, что только теперь это заметил. От неподвижности лапы его атрофировались и стали беспомощными, как лапы тюленя. Тело стало жидким и аморфным, при ударе ногой оно глухо гудело и колыхалось. Голова еще сохраняла свои позиции, но и у нее уже не было прежней хватки и глазомера. Оставшийся крохотный мускул сердца не мог растолкать кровь во все углы колоссального тела, оно начало по частям отмирать и разлагаться. Шерсть выпадала, ткани расплзались. Глаза кота затянулись белесой пленкой, как у мертвой курицы, он почти не открывал их. Хриплое дыхание вырывалось из недр его тела.

И, когда кота хозяин взмолился, наконец, на ставшее уже кучей навоза тело своего любимца и тирана, оно расплзлось у него под ногами, остатки воздуха с чавканьем вышли из него, — и он перешагнул через труп и стер его останки тряпкой с ног своих, и покинул эту квартиру, чтобы уже никогда сюда не возвращаться.

СОБСТВЕННО СНЫ

Их было три, и первый из них был о казенном доме.

Они были фашисты. Заговорщики или ветераны, преданные погребенному делу партии. Они пришли раскопать склад с оружием. Я, как гид, должен был показать это поле, все в дренажных каналах. Они изображали из себя туристов, гоготали: — Йа! йа! — поскольку были пока безоружны. Я делал вид, что ничего не понимаю и не замечаю. Кто-то из них, незаметный, быстро отдавал распоряжения — руководил всем этим туристическим машкератом. Они побросали фотоаппараты и взялись за лопаты. Полетела земля.

Быстро, не оборачиваясь, я начал уходить.

Мрачный, как английский сиротский приют, стоял уютнообразный дом на пустыре. Откуда-то я знал эти гудкие плохо освещенные коридоры, этот каменный лабиринт лестниц и крашенные полы, систему сырых внутренних дворов и переходов, — все это я откуда-то давно знал, но забыл. Шли занятия. Классы напряженно ждали звонка, всегда неожиданного, мазохистского — наглых захохотавших ударов по рельсу, распахивающих двери и катящих лавины с лестниц.

Я бежал по длинным коридорам и бесконечным лестницам, оставившаяся только, чтобы прислушаться, где преследователи, в какой части здания они уже ищут меня, — они, наверняка, раскопали оружие и уже заняли выходы из дома.

Я был ненужный свидетель — и они решили убить меня, спокойно и деловито, как продезинфицировать дом от насекомых. Они знали какое-то простейшее средство от меня — что-то типа красных флажков для волка — я сам должен был выйти и надеться на их пули.

Остановившаяся, я слышал только звон своей крови и стесненное дыхание. Звонка не был для меня ни отсрочкой, ни спасением. Я встретил в коридоре однокурсницу Аллу Петрову. Она, вроде, обрадовалась, но уже через минуту она почувствовала, что я неспокоен, и теперь ее доброе лицо внимательно смотрело на меня через глаза и линзы в роговой оправе.

Я лихорадочно разговаривал с ней об общих знакомых, но не слышал даже звука своего голоса. Она не могла мне помочь. Я был на овчарне. Просьба о помощи вызвала бы недоумение и подняла шум, который только обнаружил бы меня для НИХ. Ибо учителя и ученики, даже став свидетелями моей смерти, не поймут смысла происходящего и воспримут его как должное, разойдясь по классам на следующий урок.

Можно предположить, что им вообще неведом смысл смерти, что они никогда не задумывались над этим и просто еще не догадались, что люди смертны. Возможно, за ужином они упомянут о сегодняшнем одной фразой, только чтобы сказать что-то домашним перед сном.

Первый сон — пионерская фантазия — вошел и вышел из него в позе на спине. Он оборвался в тот момент, когда ему удалось

спекулятивным образом бежать из казенного дома через пространственно-временную дыру на чердаке. Достигается это простейшим способом: поворотом корпуса на левый бок, — правую ногу оттянуть несколько назад, нога прямая, пальцы ног вытянуты, — левую ногу согнуть в колене и подтянуть к груди, пальцы ног сжаты, будто держат орех. Изгиб пояса усиливает впечатлительные бега стремительными прыжками.

В «позе оленя» ему приснился следующий сон, от которого у него заболело сердце.

Чудом спасшийся, уже мертвый, он сидел за столом в квартире своих родителей.

Отец торопил всех с завтраком.

Было воскресное утро, и мы все собрались зачем-то в город — одни на базар, другие проведать родных. Поэтому позавтракали на скорую руку и столпились в передней, где, мешая друг другу, обулись и вышли. Отец последним закрыл дверь и догнал нас на лестнице. Мы прошли через тенистый внутренний двор и свернули за угол. И тут я вспомнил, что забыл дома что-то, без чего я не мог пойти с ними. Ключ я тоже забыл, и мама дала мне свой.

Отец сказал: растяпа, о чем ты думаешь? Давай только быстро, одна нога здесь — другая там.

Они стояли на углу и смотрели мне вслед.

Уже входя в подъезд, я нашел свой ключ в заднем кармане и взбежал по лестнице, держа в руках два ключа. Перед последним, пятым этажом я слегка запыхался и замедлил ход.

Дверь квартиры была распахнута настежь. В ней торчал ключ. Отчетливо доносились голоса, на кухне шипела сковородка, лилась вода. Но все же я вздрогнул, когда увидел через двое дверей отца в трусах, бреющего перед зеркалом. Он тоже сразу заметил меня в зеркале. С гримасой бреющегося человека он сказал:

— Хорошо, что ты вернулся. Сейчас будем завтракать..

На кухне возилась мать. Я увидел ее сосредоточенные редкие волосы. Мокрый от ужаса, я сделал шаг назад и толкнул дверь в ванную. Под душем, обнаженная, стояла моя жена, прекрасная, как наваждение. Я закричал и, подхватив из-под вешалки тапочек, бросил в нее. Тапочек, брошенный со всего размаха, повис в воздухе и двигался медленно, будто под водой, пока, не описав кривую, упал на пробковый мат перед ванной.

Жена укоризненно — видно было, что я огорчил ее своим поступком — покачала головой. Но, вероятно, тапочек нарушил своей массой равновесие воздуха в ванной — силуэт жены пошел волнами, заколебался и начал таять в воздухе, пока, наконец, не исчез окончательно. Комнаты были пусты, но душ продолжал работать, а на кухне лилась вода.

Мокрая простыня облепила, как резиновая, его тело. Он лежал под ней, некоторое время не решаясь ее сдернуть. Светящийся циферблат часов показывал три часа ночи. Внизу живота лежала неповоротливая до рези тяжести, — пришлось встать... Сон третий. Сон, лежа на животе.

Он состоял из обрывков диалога, испуга и brutальных действий. Главное действующее лицо — женщина-печень.

Мягкая, еще с кровью, сырая, она охватывает своими влажными лапами его руки, не дает бежать, уговаривает несвязно и властно, переходя от бормотания к угрозам.

— Вы же — интеллект, умница. Вы же понимаете, что женщине не обязательно нужны плечи, колени, ребра — весь этот анатомический бред. Я освободилась от всего этого. Такая женщина, как я, и нужна вам — способная организовать вашу жизнь, вашу волю и талант. Способная дать вам бездну наслаждения... — печень, изображая ненасытность, теребила его безвольные пальцы, — но способная и тяжело покарать за неверность, за отказ. Вы видели уже часть моего могущества. Я стою во главе мафии. Меня зовут мадам Вонг... Она переходила к бормотанию, лепету, и, вдруг сорвавшись, начинала безудержно манипулировать его рукой, — наезжая на нее и соскальзывая, вновь наезжая и соскальзывая.

Он выдернул свои слизистые руки и, схватив со стола остро отточенный карандаш, начал с остервенением, ненавистью, гадливостью колотить, протыкать насквозь и стряхивать разбегающуюся, ускользающую печень. Он не знал ее жизненных центров, которые надо было повредить. Поэтому он колотил наугад, что, впрочем, не принесло ей особенного вреда. На ее теле оставались только всхлипывающие проколы, напоминающие дыхательные отверстия дельфина. Она продолжала грозить, и, отбросив карандаш, он взялся за перочинный ножик, оставляя бледные, сочащиеся порезы.

Но тоже безуспешно. Он был бессилён заставить ее замолчать.

Три сна шли за ним по пятам все утро, — вскоре вытесненные заботами дня, и, как панночка, дожидаясь следующей — возможно еще более грозной — ночи.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КУХНЮ (СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ)

Голова была как гулякая пустая квартира, в которой нет никого и никто не придет. Он бродил по постылым комнатам собственного ума, где все двери открывались вовнутрь, никак не находя наружной двери, выводящей из лабиринта бессонницы в разреженные области сна.

Промаявшись с полчаса, хитря с подушками и позами, и поняв всю беспомощность этого занятия, он поднялся, — его качнуло в темноте, — с тем, чтобы попробовать умучить себя механически. По коридору, стуча когтями, пробежала одна из тех метровых чернобыльских кур, ударом клюва в голову убивающих собаку, — загремели и покатались бутылки. Он прижался к стене, — рука его, растопыренная пятерня, исполнила на стене танец морской звезды и, нащупав, наконец, добычу — выключатель, с треском сломала ей косточку.

Глаза он прикрыл заранее, чтоб не так больно, и, добравшись по памяти до кухонного крана, подставил пересохишее горло струе. Квартира поспешно возвращала свои очертания, одергивала передник, поправляла воротничок, как ученица, едва добежавшая на урок к приходу учителя. С грохотом, хлопая крышкой парты, она уселась на свое место почти одновременно с ним.

Он строго посмотрел прямо перед собой — и потянулся к сигарете. О, как устойчив человек, сидящий на стуле, — с запасом прочности даже. Шесть ног у человека со стулом! ..

Он потянулся к сигарете. Было ли это ошибкой?? — но он так делал всегда.

Он взял в руки маленький параллелепипед, называемый спичками, в другом — чуть побольше и смятом, — нащупал душистую, набитую сухой травой, чуть похрустывающую в пальцах палочку, и ЧИРКНУЛ.

Описание спички

Описание опускается, так как наблюдение возгорания спички — включая некурящих — доступно каждому.

Он обжег пальцы, настолько поразила его жизнь спички, — краткое, длиною не больше октавы, сочинение в цвете для всех слепых и глухих, всех отпавших от бога и упокоившихся, всех заведенно спящих по узкой тропе между спичкой и снами, всех слабодушных и бесчувственных, — и вот уже только обугленный крученый нерв ее зажат между двумя пальцами.

... И в тот момент, ощущая еще в кончиках пальцев боль, — он увидел вдруг ясно ВСЮ КУХНЮ!

Вся видимая и невидимая вселенная, все существующие и несуществующие живописные школы пожаловали на его кухню, на 8 кв. м., чтобы сложить у ног его свои дары.

За окном шел снег, чудным образом не попадая внутрь, заговоренный остекленевшим некогда в печи взглядом.

Тянулись сюда подземные трубы из водозаборов дальних рек, токи горячего горного газа, по виду неотличимого от пустоты, распускающего на кухне удушливые голубые цветы,

и кислото на вкус электричества, подведенного к выколотым глазам розеток, ко вспыхивающим колбочкам лампочек, со сроками жизни не дольше бабочкиного или стрекозиного лета. Всякая же из сил, достигающих кухни, имеет свой нор, и в больших дозах смертельна для жизни человека.

Вдоль стены подвешены были и растягивали свои меха причудливые отопительные агрегаты — тупиковая ветвь звучащих инструментов, чугунные выблудки, — с названием, похожим на головы цветной капусты, то ли на цирковую фамилию — калафири.

Громоздится собором рухлядь буфета, воинство посуд, арсеналы холодного колющего, режущего и разделочного оружия, тяготеющий к плите паровой флот кастрюль, — очертания паровозных труб, чайных носиков, обнажившихся рулей и ватерлиний, ручек, прилаженных по бортам, сверху, сбоку, — колышущееся марево порта, верфи и разбросанных на причалах грузов, пакгаузов, кранов.

Стойкий умопостигаемый запах мазута и пахнувшего — на секунду — в лицо соленого морского ветра, тут же отлетевшего. И далее сухопутные склады с выдвигаемыми бесчисленными ящиками, коробочками, жестяными сундучками и полотняными мешочками, завинчивающимися баночками, где мясорубки на полках, жернова точильных кругов, секция полок деревянных и пластмассовых в углу, связки засушенных трав, могучие галифе чеснока, черный перец и белокаменная соль, имбирный корень, бобы кофе, загоревшего как гениталии негритянской девушки, лавровый и чайный лист, белые сушеные грибы в стеклянной банке, запахом своим способные повергнуть жителя города в обморок, — и потому укупоренные; умолчим о бочонках с порохом и дробью, с крупами, рисом, — численностью и одинаковостью своей, когда их перебираешь, приводящих на ум судьбу восточных народов. Также бутылка с подсолнечным маслом, обмотанная будто

липучкой для мух — на подоконнике, рядом с полбутылкой выдыхающегося уксуса.

И над всем этим — архимбольдеска женского чулка, туго набитого золотистым луком, свисающего со вбитого в стену гвоздя.

На белом искусственном леднике, мирно похрапывающем в углу — черный VEF, обугленный метеорит, изредка еще спиннингующий в эфире,

придавивший краем поваренную ветхую книгу Бытия кухни, с закладками, сделанными неведомо чьей рукой.

Сто лет своей жизни не задумывался он, пока не застыл пораженный перед смыслом этих увиденных вдруг вещей:

— кто они? откуда? и куда идут?

Кто живет и поддерживает огонь в этом тесном хлебном храме?

Бог ли создал Едока для мысли?

И мастерская здесь демиурга? или репетиционный зал преисподней? — теллургическая подсобка злобных троллей, зажигающих серную спичку от дыхания князя тьмы?

Как долго он пользовался этими вещами — будто слепой, в сомнамбулическом трансе, — всего лишь знающий, что где лежит, и немедленно забывающий их по насыщению ...

Вот этот картофель, косящий глазками, раскатившийся по затертому, умученному дереву пола, эти пустые, попадавшие частью бутылки, выбывшие из своего естественного круговорота. Эти срывающиеся капли, тромбы и ночные судороги водопроводных труб в недрах дома. Этот нарост пыли повсюду, грязная посуда, захваченная врасплох, в пыльном цветении своих грехов; со стоном открывшаяся дверца, выкатившаяся яичная скорлупа, мусор, ползущий из ведра, — шевелящийся в углу под раковинной хаос ... опасный и непредсказуемый муравейник, на страже которого два верных маршала — Мюрат и Ней — веник и совок в отставке, — их фартуки, парадные кухонные мундиры на крючке под чердачным слуховым окошком в ванную.

Полотенца — не иначе, как для компрессов, для перевязки ран. Колеблющийся, как в стоячей воде, мутный табачный дым. Выплывает на середину комнаты духовка с манометром — помесь субмарины с крематорием и газовой камерой — с припавшим к стеклу (то ли в нем отразившимся?) лицом капитана Немо.

... Он чувствовал, как верно, с коварством питона, кухня начинает заглатывать его словарь, — весь состав его, начиная с номинаций и глаголов и подбираясь уже к служебным частям, и до самых до междометных окончаний, — способная поглотить весь его в одночасье, и его вместе с ним, так что и следа не останется, ни от него, ни от его словаря.

«Так. Боже, как здесь опасно. Надо поскорей выбираться отсюда. Я не видел ничего и не помню. Скорей. Скорей!» — он встал со стула, напрягшись как атлет, и, крадучись, на цыпочках стал пробираться в спальню. Аккуратно прикрыл дверь. Щелкнул выключателем и на ощупь, — прочь, прочь, скорее, — контролируя вестибулярный аппарат касаниями пальцев о стенку, добрался, наконец, до кровати и шмыгнул к жене, назад, под одеяло. Только здесь он с облегчением вздохнул. Фу! На этот раз, кажется, пронесло.

1988 г.

* * *

БЫТЬ МОЖЕТ, история Украины — история лишь нескольких метафор, материализовавшихся в каменных балванах:

— Владимир, идущий на Русь с крестом;

— его оппонент Артем, ведущий агитацию на меловой Святой горе;

— Шевченко, просыпавший яблоки перед Полтавским музеем;

— Триумфальная арка, сооруженная на родине Гоголя для проезда Царя, — царь в нее не поехал, дорогу перенесли, Гоголь заболел и умер;

— отражение этой истории увидел в каббалистическом небе пражский еврей Франц Кафка и пересказал во «Вратах закона» немецкой прозой, более долговечной, чем камень, люди и их помесь;

— это бронированная Баба с Ножиком, — с вентиляционными ходами, люками, подогревом и охлаждением, — надвинувшая тень свою на Вечный Город над Днепром, вдруг ощутивший в разгаре лета свою мимолетность и смертность;

— это скифские бабы, наконец, — в Лозовой на вокзале, в Изюме собравшиеся под мостом, раскиданные в Причерноморской степи, — как наблюдатели из другого цикла, готовые, — прежде чем самим рассыпаться, — взять дворничьи метлы и смести сор ее Истории в погребальный костер, где осенние листья, полиэтиленовые кульки, обертки от мороженого, ветوشь пришедших в негодность метафор.

Славяногорск. 15.09.86.

ДОМ

«... дом, в котором не живут,
фактически не является домом»
К. Маркс

Там, взвалив себе на спину непомерную гору — мать свою, разбитую от частых родов параличом, — стоит гуцульский дом и черной сосной своего постава ведет скорбную речь об обветшании бытия, о широте одиночества, обращенную к лесу.

Трудна и безголоса эта шепотная речь, стекающая, точно пот, по спине матери, по ее еще плотной и округлой груди, по чреслам, не лишенным в полноте своей любовного и многого прочего умысла; холодна и туманна она...

Там, на стремнине самоты, стоит дом и, как всякий путник с тяжелой поклажей без цели, тяжело выбирает путь:

то ли пуститься вверх, где отраженные излучиной круки натягивают тетиву своего полета, целясь неспешно наверняка; или еще выше, где неутомимые легкие надувают табачным дымом прозрачные кульки исполнинских подобий и засасывают на входе зазевавшиеся миры, имена которых столь быстры, сколь и неподвижны; где затерянное огниво высекает во тьме искры, стирая в мерзлую пыль призрачные лики созвездий; где под одичалый вой гончих псов попеременно вываливаются из кромешной черноволосой промежности неизбежные сияющие яйца — рыжее и голубое, — торжественно и неумолимо сквозь развзварающуюся скорлупу являя все ужасы страшного суда и благолепие рая;

то ли спускаться в долину, к церкви, где звонят колокола по усопшим и к праздникам; где разбежавшиеся по взгорьям дома, вымазанные исподтишка голубою и желтою краской, таят в покоях своих под рушниками и лампадами умножающиеся полотна последнего дня Помпеи, сквозь которые, подобно крови сквозь плащаницу, проступают замутненные намеки картин, явленных поднебесьем; где властного ожидания исполнены аппараты для удлинения голоса; где в каждом доме, на тумбах, возведен вертеп с говорящими подвижными человечками, за вздувшимся стеклом творящими все одну и ту же комедию; где по шоссе проносятся кадиллаки и лендроверы, керуаки и акселераты, жмущие и неуступчивые, подразумеваемые в дробящемся на фазы движении; где в изолированных садах кисло-сладким соком греха наливаются железные плоды, порождающая искус переводосоздания, едва-едва отягченный запретом.

Неполнотою внимания, избытком сравнений замутнен твой выбор. Лишь надежда, одна она смогла б облегчить сие бремя. Но где же она, где ее провозвестники — трепеты?..

И стоит дом. И под черепную щепою возятся угнездившиеся в углах бестелесные белесые птицы — догады и велюровые биноклеглазые зверьки — коричневые исчадия бессонниц...

И нет никого вокруг с помощью: только диагонально опрокинутый туман — обескощенный пикирующий дельтаплан, застилающий обрывки людей — соль земли и незрелый горох ее — обезумевших в геометрии овечьих перестроений, в поспешности счета запамятовавших причину слова и утративших его летучую легкость, с бормотаньем спотыкающихся о могильные плиты, разбивающих лбы о кресты из дерева, из камня, из тумана;

только заумное перестраивание кошерных шеренг, — ветхозаветных цитат — заведомой жертвенностью низведших военный театр Яхве до абсурдной мизансцены; вот идут они вместе, все вдур в развороте на 180 градусов, «готовые к смерти и к бессмертной славе»; и охранительный цицит колышется под их курдюками; безмерна и вечна сокрушенность духа;..

только возлежащие уединенно в ложбинах холмов породистые средоточия восточного созерцания, с глазами тысячелетиями назад зачерпнутыми из Ганга у Бенареса, с присоседевшейся к влагалищу всегда полной грудью, утыканною фаллическими сосцами, с просветленными в отрешенности ликами; почти святы они — на бойне их ожидает нирвана;

только понуро перетаптывающиеся кони с нерасчесанными гривами, не вкусившие стремительности равнинного галопа; подавившие в себе под выюками память о двадцать седьмой ночи Раджаба — ночи их палестинского триумфа; лишь изредка норовисто вскинув голову, явят они из-под челки отчетливый полумесяц, освещающий некогда пустынные пути паломничества;

только подземные ручьи, вытекающие на свет, чтобы промыть закисшие повисшие очи, выправленные небом гнева в треугольник окуляры; остудить гласные от лая гланды, всплеском мятного маятника качнуться в эмалированной кружке, чтобы затем, переливаясь и перемучиваясь, прописывая в гласных прорехах презираемые окрест иероглифы, перетечь по досчатым желобам и застыть, наполнив до краев наскоро выдолбленные колоды — погрешные вассерваги господни;

только лес — небритый Адам, с недостающим ребром, спланным на постройку дома, не ведая меры в чревоугодии, наглотававший валунов, стеснивших ему речь и рассудок, оправляется под себя то ягодой, то грибом, то плохоперевернутым деревом; заклинатель медово-ядовых змей и рисовальщик иезуитских саламандр, маэстро круга Леонардо, держатель призовых бегов и покровитель оплодотворений, незастывающая вытяжка из хорды Хаоса, — погруженный в себя самое, он лишен внимания, чужд числу...

Господу было угодно, чтобы на этом пригорке Земли через позвончик матери — условно — пролегла срединная широта времен, опущенная на глобусах по недоразумению, сознательно не включенная в атласы земных долей и автомобильных дорог, угаданная издали в виде натянутой лески, на которую нанизаны для просушки ложные грибы, побелевшие жабры и, подобные бурдюкам, плохознаваемые тела, лишенные подробных описаний.

Поражение дьявола в этих краях изумляет путешественника. Здесь без взятку играют все мизера, приготовленный из презренного продукта самогон лишен сивушного запаха, мысль о женщине вызывает легкое отвращение... Здесь голос не соперник слуху, картина не опережает глаза, разум не перебегает Бога; душа просачивается сквозь поры кожи, сквозь щели дома, сквозь просветы леса, через пунктир тумана, сквозь войлок неба, сквозь прорехи в бездне...

Я возьму на себя неловкую смелость уподобить тот Дом Нью-Йорку, Москве или Иерусалиму, не прибегая к разъяснениям очевидных различий.

Рожденный, чтобы плыть щадящими взмахами, давая передышку волнам и легким, рукам и веслам, вбирать в беспамятство скучные пейзажи с уединенными, точно ножи, приметями, с точнейшими и точнейшими, точно палочки, которыми едят рис, аистами, выедающими осклизлый студень земли, ее влажный расфасованный поцелуй; вписаться в протяжную воду рек с ее краплеными чревами и винами — кувшинками, кувшинными рылами, крепящими свои масти в илистый кисель — обитель нарождающегося беспокойства, усугубленного мельканием серебряных амальгам, затопленным светом византийских мозаик, — я с болью выпускаю из рук весло, слежу, как медленно скрывается оно в сумрачной толще; и у подножья горы, в истоке тропы, ведущей к тому дому, я отираю с ботинок ил о каменистый пологик, и, пропустив глоток спирта, читаю никем не слышимую молитву, и смотрю сквозь туман высоко вверх, где над крышею того дома в сиянии света всплывает мое весло.

хутор-Львов, сентябрь,
1985

ИЛЬЯ КУТИК

МОЛИТВА

Маятник, косица времени, при
каком из Фридрихов или Павлов
тебя отрастили? Ты резче команды — пли! —
и замедленное поднесенных запалов.

О, убери меня с поля битвы,
Времени — Сын — Отца!
В щиты ударяющие голплиты
честней, чем его коса.

Не дай мне лечь под нее, о Время!
Да, я мог бы — жуковский труп —
сунуть ногу в маятник, будто в стремя,
как ни вскидист твой круп.

Но — как мясо живое, нарастающее на дыре,
циферблат лоснится — без льгот и пауз.
Я ж не Мюнхгаузен — летать на твоём ядре,
и на крупе твоём я скакать — не Фауст.

Ибо слишком предметно все, что имеет вес
очертаний, абстракции понемногу
заполняют отсутствие как протез
и теряют Бога.

Так оставь мне право на поле битвы!
Как гантель, что скрыта в прорези лезвия бритвы,
пустота — неподъёмна, и мне не отжать того, что
без оправы своей не имеет веса и кошта,
— ибо мира зиянье, как мир, старо,
а окруженье — всегда моложе . . .

Время: мясо из тела вырывающее ядро.
Пустота: тело Божье.

* * *

У кожи каждого свой, особенный запах.
Так слоны Ганнибала, ночуя в Альпах,
узнавали запах ганнибаловой кожи,
и его солдат, и его куртизанок тоже.
Но подьёмля подзорные трубы нюха,
к поту битвы чувство их было глухо,
потому что только в телесных порах
и взрывается этот тончайший порох —
от сражения наших душевных армий, —
называемый у индуистов — кармой;
и при каждом взрыве, сиречь — деянье,
узнаются чувства по их амбре, —
как проступает пресс брюшной при Уддияне,
иль сквозь ружейный дым — квадратики каре . . .

Да, наверно, чувства блуждают в цикле
превращений . . . Поэтому, мал, велик ли,
но почти наглядным тому примером
служит слон — будь белым он или серым:
уши — как ап-ло-дис-мен-ты слуха
обонянью, а голое с виду брюхо
и все тело покрыто такой броней,
чтоб он чувствовал частью своей — одною.

Мы ж всегда в кольце: наши чувства сжаты —
как кулак — под толщею лат ли, польт, —
начиненные порохом, как гранаты,
до того, как его изобрел Бертольд.
И когда отгибаем их, как при счете
до пяти — в порядке любом — тогда
раздается взрыв, но — не повреждая плоти . . .
Се — подкормка кармы, ее еда.

Я люблю твоей кожей дышать, и это
интригует не менее, чем влечет,
потому что, помимо ее букета —
есть еще — неизвестный мне — шифр и код.
Как гроза, где связаны гром с озоном, —
так и чувство . . . И если модель верна,
гонг его и запах относятся к разным зонам,
но вторая — внятна лишь для слона:
бодхисатва чувств — на пути к нирване —
он находится в стадии обонянья . . .

Я блуждаю в коже твоей. Что делать!
И однако же — хоть их всего лишь пять,
этих кружев-кругов, а не дантовых девять —
Я боюсь запутаться и запасть . . .
Но сансара чувств — это все ж не Канны
Ганнибала: сравнима она с ремнем,
где пять дырок, — чтоб каждый без нареканий
мог одну за другою примерить в нем.
И когда на последней замкнется обод —
протрубит над миром Слоновый Хобот . . .

ТЕРПЕНИЕ:

вариация на темы Хопкинса

Patience, hard thing! . .

Трудная вещь, терпенье! терпкость и пена в одном бокале у Бога — ибо, разве не трудно, Боже, если терпкость язык вяжет молитв узлом и тут же бунтует пена, чувств поглощая дрожжи? . .

Напоминая — что? — дихотомию: тем, что не хотим — желая, хотим — а уже не можем; брожение входит в силу и набирает темп, но все же сильнее наркотик, незримый для всех таможен.

Нет, никакой не мак, не опиумный дурман, когда обмякает мозг в ванне его нирван: это — сердечный плющ, зеленая цепь вздохст, на которой — замком — маячит Танталов грозд . . .

Я не знаю, какая битва вращает во мне коней, я не знаю, какие цепи мягче или стальной, иль мы сами себя от себя замыкаем, как — то в скобу, то в крючок превращающийся червяк.

Дихотомия — лажает: как если лежать на плоту и одновременно вдыхать запах сосны иль туи, из которой сделана плоть плота — в соли вся, как Лота жена, — но та — все же — тело, а здесь получаем в нос, кроме запаха, целый пучок заноз.

Это все равно что думать: в каком масштабе совместимы Коба и Кобо Абэ; неужели потоки крови и ток чернил где-то ТАМ сливаются в общий Нил? — — черно-красную ленту, на которой Терпящий Нас нам выстукивает приговор-приказ . . .

Впрочем, все — равно, если мы все — равны — в результате себя, в результате своей страны. На элпрос «кто виноват?» я готов был бы вспыхнуть всей тыщей ватт, но от сейфов железных и рыжих ксив каждый делается — как дитя — плаксив . . .

И неважно, серы их кредо-лики, иль, напротив, розовы, как сердолики, ведь в оправе нимбов — когда инфаркт — всяк из них — новорожденный, всяк — инфант перед ликом Тоо, Кто Нас Терпит и не участвует в медленном питии

этой чаши горчайшей. «Да минет меня — сия» — так ведь Сын Его плакался, а не я, но по-прежнему в небе страстей сиял тот финал, нагруженный для питья . . .

Говорящий есть вор у речи своей, зато — как ни много я взял от застолий твоих, Ватто, — я помню, что в дыре руки с бокалом дури вдали редет лес — как комментарий к буре.

СТРОФЫ — ТЕБЕ — ВДОГОНКУ

1

Ты оставила мне лишь запах.
Я питаюсь лишь этим «лишь».
Так собака в передних лапах
своей удерживает фетиш.

Только запах нельзя ни ту же
затянуть, ни привить корням.
Он приближен природой к луже,
усыхающей по краям.

И парфюм твой, как в Гайавате,
поднимается к небу, чтоб
припитаться к воздушной вате,
уплывающей через Чоп.

Запредельным став, как Урарту,
он постель мою обокрал.
Выдыханье его — утрата
почувствительней, чем Арал.

И чем ноздри мои пустее,
тем я реже постель стелю . . .
Но тебя удержать в постели —
бестелесную — шанс, нулю

абсолютно равный, и сдуру,
сам не ведаючи, зачем,
амбру эту, как амбразуру,
накрываю я телом всем.

И: распластанный, как Матросов,
понимаю лицом, спиной,
пахом, грудью, что от матросов —
пахнет мной . . .

2

О, если б запахи запоминались, как,
скажем, музыка Заппы или души константа —
любая из нам знакомых по сжатию мышц не в такт
или хотя б по чтению юношескому Константа!

Если б у клеток кожи, у каждой свое число
имелось, то можно б было, в мыслях набравши номер,
вызвать любимый запах, услышать его «алло» —
быстрее, чем по телефону Вену или Ганновер . . .

Но: не дедом Мазаем
этих запахов-заек,
а Михайлы мозаик
я заботой терзаем, —

как из ромбов неровных,
заплетенных слепей,
чем в подшерсток на овнах
бездомовный репей,

мне сложить твою карму,
чтоб заткалась дыра
от империи Карла
до России Петра;

чтобы кожи малейший гран,
сабель крови твоих звон —
спроецировать на экран,
о котором донес Платон, —

ибо память берет у
обоняния — что берет:
обдирающая ботву,
оставляет зрачку — плод.

* * *

Я черчу на спине твоей букву А.
Ты, наверное, чувствуешь, как рука
перемещается, но сперва
вдоль спины — от шейного позвонка
к пояснице, а после — обратно, и —
вниз опять — в медлительном забытьи —
до тех пор, покамест мой резкий жест
поперечный — не обозначит крест:
тот, который у дохристианских сект
вызывал а/ буйство и б/ аффект...

Да, я знаю, что тело — закрытый сейф.
Я ищу его буквенный код во всех
направлениях кожи — звено звена
и отмычку отмычек — от О до А,
ибо между — именно А — и О
располагается миф, как Ио
убегала от овода. Он ее
гнал сначала прямо, а после — криво,
до тех пор, пока — натерпевшись мук —
она с ним не сделала полный круг...
Я черчу на спине его ногтем, чтоб
это О повергло тебя в Озноб...

Как слепой медвежатник, проникший в банк,
я во тьме всю вящность свою собрал
к самым кончикам пальцев — напрягшись, как
первомученик осязанья — Брайль,
но пять точек, чьи нити от них тяну,
это меньше, чем у него, на одну...*

Я опутан какою-то глупо-длинной
осязанья вязкою паутиной:
той, которою полностью осознаю,
хоть не вижу, как пальцами мне пятью
управлять, ибо точки — вспыхивающие, как табло,
составляют язык, превышающий их число...

Я не знаю, какая из букв правит
твоей кожей — из этого языка,
но готов перепробовать весь алфавит
и его комбинации все, пока
не отторгну звучащее торжество:
А-а!.. О-о!..

КАНКАН

Эти ножницы жизни: угрюмец-пастор
и щелкач-остроножка а ля Фред Астер, —
им уже не расстаться, пока — но чей? —
гвоздик в точке скрещения двух мечей
вбит, но так, что когда для бокальных ласк
их сбегаются гарды, из туч раздастся лязг —
и редеет гряда, как летит тополиный пух
или перья ангелов, — аж замирает дух,
и полоской миражной я гнусь между лезвий сих,
словно кто-то коленкой меня угостил под дых,
но — морочит пятно... Попробуй-ка различи:
то ли золото-набойка, то ли сбившийся набок
узор свечи...

То: мексисто-профилем нагл нагар
остывающий, а язычок на паркете
кривляется в танце, который Легар
не мог бы внушить ни одной оперетте.

О ветер, бросай занавеску ловить,
набрасывать сети на это мельканье,
на всплески вот эти, где Швы Половиц
прижаты друг к другу, как ноги в канкане.

Танец сей — как разверзшийся несессер —
наводняет Далилами эСэСэР,
и резвятся девы, чьих лезвий скрипучий шелк
соревнуется с птичьими «чирк» и «щелк»,
и летят колечки с бород и волосьев — как
алфавитов чешуйки, сдунутые во мрак
опустевших логов, не зная, куда упасть,
и рука машинально львиную ищет пасть...

А ведь было так: тот, что слева — лев,
тот, что справа — прав, и — сверкнув, как почерк,
зверь растекся кляксою, вмиг сомлев
совершенно — в объятых его рабочих.
Но: Самсон — сам сон. Потому во сне
был острижен он и оставлен силой,
коренившейся в космах его, а вне
сновидения — неодолим Далилой...

А на нас — наяву — напирает марш
шелестящих шелковых парикмарш,
и на крест их ножниц — лохматым соней —
осенью себя — как святой Антоний.

Этот шаг отбойный — что мух — от себя гоню,
и надвинув тряскую простыню
на глаза, покорствую — недвижим;
но внутри — как зашитый во мне зажим —
шевелится холод, и если я простынь скину,
золотою ряской затянется тьма, и свет
поменяется с холодом температурой сред,
леденя — словно кино-дворцы Лукино.

Их зеленое золото, аквариум для теней
и для танца, медленного, как бедра
истощенных водорослей, — страшной
меньше тех, что мой одр атакуют бодро.
Но: сквозь жабры оркестра, вздымающие песок
и соринки света, вижу я слизь кишок
этой музыки, где — талисманом с пальца
Поликрата — везенье мое гниет,
пока ей не вспорют — но как? — живот
эти ножницы танца, щупальцы и жужжальца...

Между двух зажимов, как «нет» и «нет» —
мое «да» отростками двух дефисов
протолкнуться пытается, но запрет
держит крепко его бесполезный вызов.

Крепко так, что, наверное, рыба кровь
заросла чешуйками света в оном
промежутке, ничтожнейшем, чтобы кров
откровения — новым ссудить Ионам.

Может, и оппозиции больше нет,
только — разница, если в цейтноте неком
упраздняется — сразу — различье сред
между них случившимся человеком?

Если так, то на что мне утробный перл,
убаюканный в теплых объятиях тины? —
лучше сделаться жертвой — как Робеспьер —
из ребра его созданной — гильотины...

Или, может, вообще всё — обман — и за
мною, и перед? лишь воображенья обжиг?...
а Кальман — как кальмар — пускает нам в глаза
лишь газ и мускус этих черных ножек?..

* В основе азбуки для слепых Луи Брайля лежит комбинация из шести точек.

ЯНИС ТАМУЖС: «...ТАК РОДИЛИСЬ МОИ РИСУНКИ»

* * *

Когда я работал у Уги Скулме, пришлось голодать, как в плену. Три года так прожил, а голодал даже больше, чем в плену. Сухой хлеб, на большее не хватало.

Отец мне прислал, кажется, 80, 100 латов, и все. Он говорил, как настоящий американец: сам себя сделай — «Self-made man». Но в то время в Риге подработать было негде — безработица. Я и пошел на лесопильню, на Закюсале, доски носить. День поносил, а там старичок один сказал: «Да ты, парнишка, плечи себе наломаешь», — так и вышло. Дольше одного дня не выдержал. Потом на Саркандaugаве разгружал уголь на пароходе, как дурачок, взял и поехал туда. А как в то время грузили! Ковш из трюма поднимается и сыпает все в тачку. Леса в два раза выше этого потолка, всего одна досточка, вот и жонглируй! Мужики глянули на меня и говорят, бросай это дело, иди в порт. А там еще круче. Тачки идут одна за другой, пыль столбом. Один день вытянул, 3 лата заработал, а потом два дня как больной. Снова мои заработки кончились. Тем, кто на фабрике работал, хорошо, а так никакой работы не найти. На хлебе и воде...

У меня однажды нервы чуть было не сдали. Весь день в студии рисовал, и вечером на уроке рисования голова уже не работала.

В мастерской можно было работать весь день, с утра до вечера, сколько хочешь. Натурщица приходила только вечером.

У меня был один хороший акт в Лиепайском музее, но его кто-то прибрал. Жалко даже, я его за 20 минут нарисовал. Я был ловким рисовальщиком... теперь это утрачено.

* * *

В студии У. Скулме мы только рисовали, но некоторые писали маслом тоже, мы редко рисовали обнаженную натуру. Работали каждый вечер по два часа. Денег немного накопили. Я был казначеем, у меня касса хранилась. Студенты отдавали деньги мне, а я уже платил за квартиру, то есть за мастерскую, натурщикам. С ними расплачивались в конце недели.

Меднитис в студии пробыв довольно мало, примерно с год, потом в армию пошел. После него хозяйственником меня назначили. На фотографиях он в военной форме. Выпадала свободная минута, он к нам заходил поработать, порисовать.

* * *

Натурщицы эти за кавалерами охотились, ученикам из студии глазки строили. Одна меня подцепила, хорошая девка, восемнадцать лет. Она была из Латгалии, гимназию окончила. Отец дома ждет, сено грабить некому, да разве такому образованному человеку под стать за грабли хвататься? В безработные записалась, на пособие по безработице. Домой работать не поехала. (Среди безработных были и хозяйские сынки и дочки, им тоже пособие выплачивали. Такие вот дела, несурзаца, одним словом. Они считались образованными людьми, куда им вилами и граблями орудовать. Вот так.)

Роскошная девка была, ядреная.

В студии она проработала довольно долго, несколько месяцев. Потом вышла замуж за одного инженера. Она была сексапильная такая. Потом у нее трое детей народилось, немножко за ум взялась, детьми стала интересоваться. Когда она в Лиепаве жила, муж ее на сахарном заводе инженером служил, а она ко мне наведывалась.

У меня самые лучшие воспоминания о том времени, когда я рисовал акты. Если бы у меня была какая-нибудь подружка, я бы ее с удовольствием рисовал. Так уж думают, что если голых баб рисуют, то тут же на них и падают, но ничего такого. Мы там в студии очень хорошо дружили. И одна из них, когда я болел гриппом, приходила меня навестить. Со стороны этого иногда не понимают... Чудно было, но весь мир чудной.

Я был бы счастлив, если бы у меня была женщина, которую я мог бы рисовать. Женское тело просто прекрасно. Это родник нескончаемой красоты. Линии женского тела — это другой мир. Об этом и говорить не стоит.

* * *

Я. Скулме. В одной студии с Вами была М. Ренеспале, позже она стала женой Джона Лиепиньша. Я ее знаю по более поздним временам, она была замкнутая, такое впечатление о ней у меня осталось.

Я. Тамужс. Мне она нравилась. Много воды утекло, теперь трудно вспомнить. Она была по-городскому развита. Был такой книжный магазин у «Леты», там она работала продавщицей, а в свободное время приходила к нам в мастерскую.

Я. С. Когда она работала, было видно, что она талантлива!
Я. Т. Она была своеобразна. Она натуру изображала такой, какой представляла. Писала так же — большими мазками. Она была довольно-таки своеобразна, и темперамент у нее, бесспорно, был. Я ее вспоминаю с радостью.

Когда позже Джона выкинули из Академии, она была очень подавлена. В те времена, когда начались трудности и нужно было устраивать дела, она морально изменилась. Иногда я к ней заходил. Очень сдержанная.

Я. С. Скажите, пожалуйста, что вы помните о Хильде Вике!
Я. Т. Это была личность. Она рисовала своеобразных красивых женщин. Эти работы и сейчас можно изредка увидеть. Она их показывала отцу. Он, конечно, признавал, что это хорошо, потому что так работать и изображать натуру может только она — в своей манере. Она была такой своеобразной. Ничего плохого не могу припомнить.

Я. С. У них были конфликты — она принимала все, что говорил отец!

Я. Т. Нет, нет. Отец мало вмешивался. Вообще был деликатен и либерален. Мы были самоучками, он что-то по-ремесленнически указывал нам, но это тоже было хорошо, это было необходимо. А Вике тоже нельзя было критиковать, у нее уже выработался свой стиль, свое самосознание, там уже трудно было что-либо изменить.

Я. С. Скажите, вы только над натурами работали или создавали также композиционные наброски!

Я. Т. Нет. Сначала он давал нам задания по композиции, но мы неохотно это делали и позже занимались только натурными и рисовали цветы. Он (У. Скулме — А. И.) сделал нам 3—4 композиции, и тогда мы поработали.

* (Окончание. Начало в № 7, 89 г.)



Новобранцы на Рижском вокзале. 1915. (Ок. 1930 г.)

Первый год он приходил часто, а в последние, когда у него случилась семейная трагедия — первая жена покончила с собой, и он стал искать другую, — он долгое время вовсе не приходил. И тогда мне показалось, что он больше не может ничего сказать. Спасибо ему, он многое мне дал. Но под конец он мне не нравился. Он говорил — когда же вы наконец начнете писать в манере кубизма? Тогда в моем мнении он упал. Как можно так говорить — писать в манере кубизма, он одно время уже был увлечен этим кубизмом.

Мой главный учитель — это рижский Музей изобразительного искусства. В то время он еще не был так разорен, как теперь. Выпадала свободная минута, и я шел в музей изучать старых мастеров, они для меня многое определили. Наверху, в маленьких комнатках, находились малые голландцы. Когда я несколько лет назад был в Риге во дворце, один из голландцев почернел, словно плесенью покрылся. В этом дворце картина гибнет, узнать трудно. Также и «Св. Ероним», в те времена он сиял в большом зале, как солнышко, теперь как будтобы разъело поверхность. А вокруг что творится, темнота какая...

Я. С. А первая жена моего отца приходила в студию?

Я. Т. Нет, она работала в Государственной библиотеке, это на дворцовой площади. Она этими вещами не интересовалась.

Я. С. А другие художники, такие как Г. Элиасс, приходили смотреть мастерскую?

Я. Т. Нет, иногда Лиепиньш приходил, а чужие не заглядывали. Ведь был у нас и конкурент — Сута со своей мастерской. Он пользовался большим успехом. Черт побери, прохвост!

Я. С. Он был неуравновешенным человеком. По сути своей настоящий художник. По правде сказать, трудный случай.

Я. Т. Да, у него был острый язык, но не в этом дело. Он ругался как бурлак.

Ирбите был последней чистой душой. Он никем не был. Но он был художником. Я к Ирбитису иногда заходил. Он жил так бедно, что трудно даже представить, эти лохмотья, вечно невымытый, от него дурно пахло. Долго в его обществе я выдержать не мог. Две большие комнаты, кроме штукатурки на стенах там ничего не было, в одном углу была набросана какая-то дребедень, там он, наверное, спал, еще стол и один стул, там он работал. Он показывал рисунки, я ему говорил — вот тут слишком ярко, а там слишком темно, и он подобострастно подходил и исправлял. Никто так не делал, только Ирбите.

Он, наверное, понимал, что критика была правильная, и начинал сомневаться. Мы были приятелями. Я мог за 10 латов купить его знаменитые «Русские церкви», это действительно было красиво. Но я подумал, что это было бы нечестно по отношению к нему. Он на выставке получил за нее 200 латов. Она стоила того.

Я Ирбите видел у Мадерниекса в 1914 году, я у Мадерниекса поработал месяц, потом началась война, и я не мог дольше у него оставаться. Ирбите был там любимцем, и Мадерниекс всегда подходил к нему и останавливался возле него.

Он рисовал драконов для фабриканта Розите, это его работа. В то время Ирбите был очень красивым юношей. Каштановые волосы, карие глаза, одет он тоже был прилично, — словом, как итальянец, настоящий художник.

О перемене, которая с ним произошла, я ничего не знаю и не могу сказать. В то время он был прекрасным парнем, лучше быть не может — длинноволосый, и профиль красивый, как у итальянца, но что потом с ним стряслось, я понять не могу. Он издал брошюрку какую-то, у Штерна была, там бред один. (В. Ирбе написал и издал несколько брошюр религиозного содержания. — А. И.) Что на него так повлияло, я не знаю. Он был бессребреником. Я помню, как он бежал по улице Бривибас в своем монашеском одеянии. Плюх, плюх, плюх, мороз 15—20 градусов, наверное. Бежит, бежит, а потом раз! — присядет на корточки, погрееется и дальше, жалкий такой. Почему он пал так низко? Как художник, он не опустился, он всегда был прекрасен. Нужна внешность, чтобы попасть в энциклопедию. Все было бы по-другому, если бы он был при галстук и воротничке. Он же был таким, что дотронуться страшно, от него пахло. Он уже отделил себя от этого мира. Тут ничего не поймешь. Так рождаются чудеса. Надо монографию издать о нем.

У меня был один семейный портрет, кажется, за три лата. Иногда у меня такое чувство, что вот-вот умру. На душе неспокойно, в голове сумятица, голова кружится, и в такую минуту я отдал его на время Судмалису. Так и не знаю, куда он делся.

Ирбите много работал. Его всегда пускали в Оперу бесплатно, на галерку. Еще он рисовал маленькие картинки, со спичечный коробок. Он ходил по кабакам и рисовал там, иногда получал по шее, иногда что-то покупали.

На что же он пить мог, нищий? Чем питался, не знаю, он жил как птица поднебесная.

Года три до отъезда отец не давал мне покоя — приезжай, чего ты там маешься, — и в таком духе. Я был настоящим патриотом Латвии, я не мог оставить эту землю. Я отдал все свои силы и кровь пролил, и покидать ее теперь мне было противно, но отца очень уважал. Все братья и сестры уехали... За три года до этого я купил учебник испанского языка, грамматику и слова уже раньше знал. Учителей никаких здесь не было, я сам учился. Испанский язык такой же простой, как латышский, не то что французский, где полно носовых и горловых звуков.

Надо подумать, как я пахал...

Из Риги через всю Германию до Антверпена по железной дороге. Оттуда товарно-пассажирским пароходом до Рио-де-Жанейро. Пристали в Монтевидео взять бананы, чтобы отвезти в Буэнос-Айрес. Я остался в Монтевидео и две недели ждал парохода в Асунсьон. Пароход в Сунсио (Асунсьон. — А. И.) отходил два раза в месяц, и предыдущий только что отплыл. Шли на современном корабле пять дней. Незадолго был разлив, после него меняется русло. Едут и зондируют, а по ночам спят. Так пять дней проплыли.

Отец все время был в Буэнос-Айресе у какого-то миллионера садовником. В его ведении был красивый сад в 30 гектаров. Только постарев, когда он больше не мог работать, он купил индейскую хижину и перебрался повыше, в Асунсьон. Он считал, что нужно тепло, он боялся холода.

Братья выучились на дорожных техников и работали самостоятельно.

Когда плывешь по Паране, берег еле виден, больше правый, река широкая, там Пампа, аргентинская степь. На левом берегу какая-то мелкая индустрия, кое-какая.

Там, в верховье, встретил отца, увидел его после долгих лет. Ах, да, чудесно! Узнал. Он тогда уже постарел, стал беспомощным. Не знаю, жалел ли он, что оставил Латвию. Он только сказал, что хотел бы лежать на кладбище в Вергалы, под вергалскими осинами. Но ничего не вышло. Пришлось там же уложить в горячую землю.

Я там копал землю для бананов, такие большие ямы, радиусом с метр. Бросают внутрь листья, мусор и сажают бананы, они воду любят.

Раз в неделю, каждую субботу, дождь с грозой. После дождя, по понедельникам, самая прохладная погода, 35 градусов в тени. Потом температура поднимается каждый день, к субботе доходит до 40°, и индеец вопит: что за жара! И тогда с Анд, со стороны Чили и Боливии, идут облака. Приближаются медленно белые, черные, желтые, красные облака, словно горы. Клубятся и поднимаются и опять клубятся. А когда начинается, то как через сито. Непривычно, что дождь льет струями. Молнии бегают вверх за облака. Стихия. Начинается потоп, но его все ждут. Влага с земли быстро испаряется. Ближе к осени льет каждые две недели. Как нет дождя, травка становится коричневой. Обгорает. Там трава не такая, как у нас. Вроде осоки, а внизу луковка. Как дождь прольет, все зеленеет.

У нас просто — посеи в землю или засунь, и все. А там так легко не получается. Кукуруза, леса или что-нибудь крупное еще как-нибудь, а вот мелкие семена — салат, редис, — их муравьи вмиг растащат. Надо в железном ящичке прорастить и тогда пересадить. Только так можно что-нибудь получить. Муравьи там разные. Одни живут в земле. Ах, как мой отец с ними боролся, каждый день лил воду в норы. Муравьи там — господи.

В Асунсьоне был музей природы, но он был закрыт. Художественных музеев не было. Там не было никакой культуры. В Монтевидео был музей, но и он был закрыт. Кажется, туда никто и не ходил — в отдаленном месте музей был.

В Буэнос-Айресе большой музей. Много старых испанцев и один Ренуар. Какая-то «Мать с ребенком», но это было так, хо-хо-хо, небрежно написано. И еще один художник, местный, сестра говорила, что знаменитый, но как фотограф, у меня такого живописного увлечения не было. Только старый Ренуар и испанцы, отцы церкви, святые. Я и рисовал там. В Асунсьоне был один большой магазин, кажется, американский. Предложил им выставить свои картинки. Да, да, это можно. Но так ничего и не получилось. Ни рамки я не мог достать, ничего. Так и осталось. Другой работы там не нашел.

Там, в Южной Америке, была драка, политика. Продолжается и сейчас. Такие вещи им нравятся, они на них молодцы. Через неделю после приезда — фьють, фьють, стреляют. Дом моего отца на окраине, сестра возвращается из города и говорит, стреляют...

В Асунсьоне на берегу реки Парана огромный причал. Заходит иностранец побриться. Шеф оглядывает его, судя по всему, зажиточный, нажимает на кнопку, и он проваливается вниз, в подвал. А там по шее ему. Заберет все что нужно, и труп потом всплывает на реке Парана. Там его увидят, но не станут, как у нас, допытываться, кто и как, плывет мертвец, и пусть плывет себе дальше с Богом.

За Асунсьоном была еще одна пристань — Корумба, она уже считалась на бразильской стороне. Там всякий джентльмен, уважающий себя гражданин имеет при себе огнестрельное оружие и целую свиту на побегушках. Если случится заварушка, то стреляют.

Я по окрестностям не разъезжал, к чему. Брат говорил, съездим в один городок, но так и не поехали.

Там был только один образованный господин, но он был на каком-то посту, и я не был с ним знаком.

Я там не видел ни одной белой женщины, нет, одну все же видел белую, молодую. Это было странно. Потому что эта белизна выглядит желтой и болезненной.

Об индейцах.

Никаких дел у меня с ними не было, но я слышал о них много разного. Стоит на улице полицейский-индеец, а по-испански ни слова не знает.

В Вальпараисо было примерно десять немецких семей, они там работали и нанимали индейцев. А у них всех специальные ножи — мачете, вроде сабли. Когда идешь в лес, надо брать с собой, иначе вперед шагу не ступишь. Один так семерых хозяев порубил. Немцы пошли в полицию жаловаться, а те там — тоже индейцы, они пробурчали что-то, и ничего, и индейцы ничего. Когда восьмого порубил, тогда немцы пошли к президенту. Вот тогда его и взяли. Они до сих пор белых ненавидят.

По соседству жил доктор, с отцом дружил. У него был садовник, старый высокий исландец, он за всем ухаживал. Его служанка, индианка, каждый день приходила к отцу за водой. У моего отца было целое богатство — артезианский колодец. Очень глубокий. И хотя в полдень туда заглядывало солнце, вода в нем была прохладной. Она неслась в ведрах, а не в кувшине на голове. У нее был кавалер, он шел рядом, такой худющий, что смотреть страшно. Глядеть на эту девицу можно было, глядеть, но не улыбаться. А то получишь ни за что — хлоп, и мертв! Не так, как у нас, когда куры строишь. Там и сейчас, наверное, так же строго. Это некультурно.

У отца были друзья немцы, потом один итальянец, лавочник. Каждый раз, как придут, начинают пить, там это было здорово и красиво, у нас это было бы смешно, а там — здорово. Мне нравилась его жена, она казалась интеллигентной. А он — настоящий осел. Он быстро срывался и мог тут же рассмеяться.

Когда я уезжал домой, то нужно было получить в немецком консульстве визу, чтобы поехать через Германию. Консул у меня спрашивает, зачем я еду домой. Отвечаю — я климат этот не переношу. «Правильно, — говорит он, — это страна не для европейцев». Итальянцы, испанцы — да, те к жаре привычны. Немцы тоже немного. Хозяйственная жизнь в их руках. В политике они не очень, больше в хозяйстве. Испанцы тщеславны, они политику делают. Туда евреи тоже понаехали. Их всех собрали на корабль и отправили вниз, на Огненную Землю. А они пароход взорвали. Меня там не было, но так рассказывали.

Уже тогда (1931 г. — А. И.) пошел слух, что местных левых



Копалые траншеи. Курземе. 1944. (Ок. 1945 г.)

берут за глотку, и в этом нет ничего такого. Этот мир такой суетный. Кроме солнца, света и тепла, там ничего не было. Культуры нет. Огромный музей, а смотреть нечего. Они поют, играют, танцуют. Когда ехал на пароходике по реке Паранен, светила луна, вдалеке была видна Пампа. Двое молодых, парень и девушка. Кто-то играет на мандолине, и они танцуют танго. Я и сейчас, вспоминая, радуюсь, как они красиво танцевали. Жизнерадостные люди.

Буэнос-Айрес. Отсюда я начал свой путь домой. В Гамбург плыл на пароходе получше, пассажирском, во втором классе ехал. В тот раз, когда ехал туда, была бельгийская кухня, горькая, кислая и необычная, я испортил себе желудок. На обратном пути кухня немецкая, много сладкого. Нашим желудкам это ближе.

Когда приехал в Латвию, то поехал жить к сестре в Вергалы. На меня все косо смотрели — снова американец дома. Тогда туго пришлось. Накатили боли в ногах, и пришлось лечь в больницу. Тяжелая операция на берцовой кости, а потом почти год как увечный жил у сестры.

Штерн моим искусством не интересовался и таким образом даже помог мне. Во время немецкой оккупации директор музея Судмалис (в Лиепаяе. — А. И.) сказал, чтобы я принес что-нибудь для выставки. Рисунков у меня не было, только живопись из Америки — много, примерно двадцать полотен. Отнес, и Судмалис заполнил целую стену, и это было место, которое притягивало к себе, оно светилось, как солнышко, на фоне всех картин музея. Судмалис сказал — ты человек незнакомый и, так сказать, чужой. Тогда я обратился к старому Штерну. Штерн не злой, поехал в Лиепаяю к директору — в чем дело, он художник, приехал из Америки, не может свои работы выставить, я — старый депутат Сейма... На этом основании меня приняли, но он этого старого Судмалиса загонял. Это было первым достижением, одна женщина даже написала похвальную статью обо мне и моем искусстве.

Композиции еще можно изменить, нарисовать по-другому, а детали рисовать — это не нужно, все видно так, как есть. Ничего не добавишь. Прошлые дни, ничего не отнимешь.

В 1945 году пришли русские. И тогда крестьяне толпами поехали в Лиепаяю. Налоги были огромными. Нужно было что-то продавать. Едут навстречу матросы на грузовой машине, и тут один из них вырывает плетку у крестьянина и начинает бить всех, стегать не глядя, кому ты пожалуешься. Это варварство. У меня записано: «Ах ты, деревенская дура, покажу, что такое культура...». Так русак учит свою шлюху. То же самое было и с латышским народом. «Покажу, что такое культура», плеткой. Эта плеточная культура у нас до сих пор. Крестьянство они уничтожили, сотни тысяч согнали с земли, сделали рабами в колхозах, и раз, раз плеткой... Бароны так не делал, может быть, только во времена рабства, но бароны были и в свободные времена. Барон был приличным человеком. Он, барон и немец, обязательно говорил по-латышски. А теперь какой русский старается говорить по-латышски? Он, прожив в Латвии пятьдесят лет, не утруждает себя, не говорит по-латышски.

Все это я изобразил, чтобы не пропало то, что может рассказать о том времени, когда колхозы были, о той жалкой жизни, именно ЖАЛКОЙ. Есть какой-нибудь рисунок, какое-нибудь слово об этом? Нет же. А народ десятилетиями жил в этой атмосфере. А народ жил, у него не было другого выхода. Я тоже в те времена жил. Я тоже показываю свое бытие и бытие своего народа, и больше ничего. Все только берут, и никто не говорит спасибо.

Этот рисунок тоже с историей. Это когда старого хозяина Штерна арестовали и увезли в Сибирь. Он был меньшевиком, социал-демократом, под конец был в партии мелких землевладельцев, он шкуру менял. Он был депутатом Сейма. Штерн, кроме того, был революционером Пятого года, в тот раз он попал в Сибирь впервые.

Там, на рисунке, стоит старый Штерн, председатель колхо-



за, начальник пограничников и один коммунист. И я стою, как пугало. «Этот будет у тебя батраком». Когда Штерна увезли, меня «переадресовали» другому хозяину.

Я нарисовал примерно сто двадцать или сто тридцать актов, много хороших книг оформил: Достоевский, Гоголь, русские и советские издания. Когда пришли немцы, они меня выгнали, и мне пришлось жить на чердаке в конюшне. Собрал свои вещички, сложил под стрехой, они жили и ничего не трогали. Пришли русачки, офицеры оккупировали все помещения, и мне снова пришлось ютиться на чердаке в конюшне. Когда «земляки» ушли, я заглянул — все разбито... даже русских классиков и тех разорвали на мелкие кусочки... Это же надо, ведь так пальцы можно ободрать, пока все книги и рисунки разорвешь. Проклясть их мало! Потом охапками выносили на подстилку корове.

Художнику необходим свой дом, чтобы он сам мог его обжить.

Как я стал коммунистом.

Мне самому интересно. Не в первый, а на следующий колхозный год меня, как наиболее «грамотного», назначают председателем ревизионной комиссии, и точка. В бухгалтерии надо было немного толк знать, на то курсы были. На курсах и обучили. Ничего особенного, не библийская это премудрость, к тому же старался. Я в тюрьму никого не упек и неприятностей никому не доставил. Я с людьми на месте, если что не так.

Потом приехал к нам председателем такой Розенблат или Розенблюм, он до этого заведовал отделом сельского хозяйства в районном исполкоме. Поговаривали, что еврей, на еврея и походил. Пришел к нам председательствовать, черный, тощий. Он чудно говорил — «Ты Яныц, я тебе акте не слышать, если в партию не пойдешь». Он меня и затащил. Вечно — вступай в партию, вступай в партию. Он мне не очень нравил-

ся. У меня еще один приятель был, русский, из Латгалии, славный человек был, с радостью его вспоминаю. Возьмет меня под ручку, как невесту, и на природу. В той роще, помню, все о коммунизме рассказывает, единственный путь, дескать, как к свету выйти, но так ласково. В конце концов мне надоело, год плешь проедали, а потом сказали: «Ну, Янеке, пиши заявление». Я и написал. Я все эти заповеди назубок знал, интересно даже. Тогда еще Сталин был.

Вызвали меня в Лиепая, в комитет партии. Большой зал, длинный стол, покрытый красным сукном, за столом сидят, по бокам тоже сидят, человек пятьдесят всего. Я к торцу стола подошел, и меня начали экзаменовывать. Знаю ли партийный устав, я его отбарабанил, потом еще пару вопросов задали. Неподалеку сидит один, наверное, офицер из ЧК, в сине-черном, такой человека живьем съест может. «Ты в церковь тоже ходишь?» Надо правду говорить. Если хоть слово солжешь, то грошь тебе цена и плевали на тебя. Отвечаю, что изредка хожу. «Этого не будем брать». На этом дело кончилось, можешь идти. Первый секретарь еще сказал, что нельзя это брать всерьез, он же никакой не верующий, но тот имел последнее слово, и точка.

Целый год меня не трогали. Розенблат или, как его, Розенблюм спрашивает — «Ты в партии, Янис?» Я ему рассказал, как дело было, — «Отправь заявление». И снова я пошел к партийным, туда, в Лиепая. На сей раз там сидели трое, первый секретарь и еще какие-то важные мужики. Спрашивают — устав знаешь? Я снова пошел чесать, ну хорошо, хорошо, — идите к Соне, пусть она выпишет партийный билет. Вот так, туда-сюда, и я уже в партии.

Сразу на пост не ставили, через год-другой. Тут была такая Пека, старая коммунистка, она замолвила за меня слово, за меня в эти секретари: «Он сможет с этим справиться». И тогда как обычно — все поднимают свои ручонки, и ты место получаешь. Поначалу я не знал, как действовать, меня наставляли. Главное — членские взносы. Упаси, Господь. За пять или за три дня должны были заплатить, если нет, то страх что было. У колхозников были очень маленькие доходы, что они там могли заплатить. Разное случалось. Мне приходилось по 26 копеек

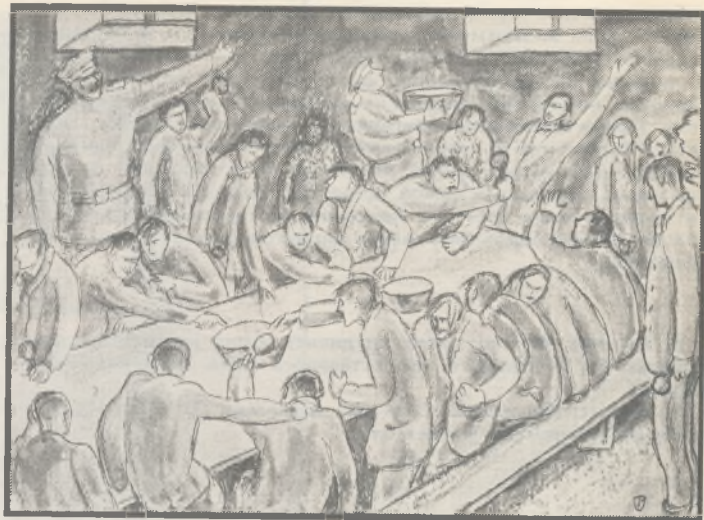


Лесные работы. (После 1945 г.)

Первая русская похлебка. 1915. (Ок. 1930 г.)

В приюте для инвалидов. Цесис. 1916. (Ок. 1930 г.)

Репродукции Валтса Клейнса



1. 2.



3.

сверху доплачивать. Некоторые зарабатывали неплохо. Если партийное собрание, все приходят, и я могу собрать деньги, а если не все... А Карклиньш на другом конце света, беги к нему за три километра, чтобы подписал. Главное — подпись. И подписываюсь за всех, подделкой занимаюсь. С ума сойти. Я был занят больше, чем Горбачев. Молоко надо возить, зеленые корма коровам подвозить. Работу полегче — женщинам, а мне приходилось всюю вилами орудовать. А еще поле стоит мокрое, трава вымахала, скользкая, не поддается. Черт подери! Занятия с раннего утра до поздней ночи, и сон одолевает. Я не высыпался. Жуткое время... И все же я честь честью справился со всем.

Клевер сеяли на Янов день, когда рожь уже высокая. Я все время был председателем ревизионной комиссии, иду поглядеть. Рожь высокая, клевер засеян. Он пророс, а тут засуха, все высохло и погибло. Поля пустые, есть нечего. Коровы дохнут. Тысячами... Тут неподалеку была большая ферма, хозяин современный человек, держал двадцать коров на цементном полу, в загончиках, связанными, чтобы чисто было. На ура. А в кормушках у коров нет даже окурка, ничего. Не шевелят ни хвостами, ни ушами, глядят только остекленевшими глазами и кончаются. И так не только там. Так всюду. У меня есть рисунок, где колхозники поднимают подыхающую от голода корову. Это памятник тем тысячам уморенных коров. Проклятые! Сначала я был колхозным ревизором, ходил всюду и наблюдал все это с самого начала. Говорил, клевер надо сеять, как только снег сойдет. Они мне — что ты понимаешь, только прикидываешься. Председатели колхозов были такими дураками, политически только подкованные, дураки и в хозяйстве ничего не смыслили. Потом пришел Розенблат, или Розенблюм, он что-то соображал и начал сеять клевер. Тогда у нас за трудодень платили больше всех в районе — 5 рублей 30 копеек.

Когда партторгом был, то ничего не мог изменить на пользу дела. Сидишь на партийном собрании, вожжи держишь, и ничего больше. Заявлялись инструкторы и указывали. И ничего не сделаешь. Когда ревизором был, тогда еще мог что-то. Я как партторг имел, конечно, больший вес, чем ревизор. Так-то оно так. Но как партторг ничего не сделать, а он и не должен был

что-то делать. Одна партийная дисциплина, и ничего больше. Жизнь была такая тяжелая... И не понять, не представить, как тяжело жилось. Народ уничтожали.

Теперь бороться можно, вы, молодые, боритесь теперь. Время пришло.

Были и такие задания и указания, от которых старались открититься. Когда вернулись те, кого отпустили из лагерей, я помню, на районном собрании упрекали, почему мы не выступаем против них, беспартийные выступают больше нас. Некоторых домой не пускали, приходилось селиться в другом месте. Штерна пустили. Первый секретарь упрекал коммунистов, что мы не активны и не боремся, так сказать. Чего уж там, смех один — говорят, обсуждают, хоть бы какой недостаток в жизни остался незамеченным, все как на ладони, принимают решения, и все, как после отпущения грехов, в приподнятом настроении, расходятся по домам, как будто бы порядок наведен. А ни черта — все как было. А на следующем собрании все сызнова. Вот те черт!

...

Был у нас хороший директор клуба, Художественную академию закончил. Колхозные конюшни он переделал в клуб. Он был хорошим актером, организовал труппу и хорошие спектакли ставил, а потом распали, что он был зажиточным хозяином в Эзере, значит, сомнительная личность, и выгнали вон его. Потом пришла одна верхивостка из местных, она только и знала, как танцульки устраивать, приезжали парни из Лиепаи и дрались с колхозными. У меня был один рисунок с дракой, но он затерялся.

...

Теперь пенсию дают. Мирный человек, тихий. На первых порах мне назначили 10 рублей, но это не в счет. Когда совхозы начали создавать, я получил пенсию 50 рублей. Тогда мне не нужно было работать председателем ревизионной комиссии. Партийное руководство перевело меня в Капседу. На партийные

собрания ходил через раз, и меня оставили в покое. Они говорят — если ты коммунист, то должен видеть, что в хозяйстве творится, чтобы слово свое сказать, а что я — я ничего не знаю и не вижу. Я хозяйственной жизни не знаю, не ведаю, что творится. Много баб пришло на собрание. Выступил председатель. Потом поднимает бригадиров, чтобы высказались, один встает, бурчит что-то, толком ничего сказать не может. Свинец в заднице. Да и ладно, проект резолюции уже составлен, за него все мирно голосуют, и домой. Директор совхоза со своей речью выступил, и если кто-то с критикой нас высывал, тому по голове. Раньше барон бил, теперь директор совхоза и партийный секретарь.

* * *

А. Икстенс. Вы так много трудились, были на таких разных работах. Вы не жалеете, что оставалось мало времени на живопись!

Я. Тамужс. Да, жалею. Это мое проклятие. Хотя бы малость свободного времени у меня было.

* * *

Во французях мне нравится, — трудно даже сказать, это философский вопрос, — восприятие материальной стороны жизни, мне нравится, как они относятся к материальному и к реальной жизни. Мало я видел французскую живопись. Кору и многие другие, они мне в душу запали, они любят жизнь. Пикассо, испанский еврейчик, это мне чужое. Надо любить яблоко, подружку свою, а не только беситься, это жизнь, это наша жизнь, и настоящее французское искусство ее изображает с любовью. Дело, правда, это героическое, он говорит — не смотри вокруг, вглядывайся в свое сердце. Разве кто-то из художников это говорил нам?

Я лежал в больнице, потом нас перевели в более легкую лечебницу, туда, за Девичье поле, и я мог гулять по Москве. Я доковылял до Третьяковской галереи. Там я видел «Запорожцев» Репина. Кто же я — ничтожество, никто, это мне все же не нравилось. Так натурально! Я подумал, какой грубый каторжный труд — все это придумать и изобразить, мне не понравилось. Мне понравилась пара портретов, как бы щеткой нарисованных. Так что я уже имел какое-то понятие о живописи...

Приятно, удивляются мне, девяностолетнему старику, глядите, он что-то напялил на себя! Смешно это, господа. Что я еще могу надеть? Это жизнь моя, я лучше не мог. Наши художники теперь так тщательно вырисовывают детали, если бы я так делал, было бы не то. Да, так. Что я еще могу в наши дни изобразить? Если бы пришла мне в голову какая-нибудь идея, я бы ухватился за нее. Но все прошлое уже изображено. В молодости я тщательно работал. Первое — сконцентрироваться, что ты хочешь сказать. Нанести первый тонкий слой, аккуратно покрыть все, дать высохнуть две недели. Начать сначала и снова терпеливо сгущать или делать светлее те же самые тона. Французы это называют *ponggi*, это значит насыщенно. Это французская школа! И раз, раз — наши знаменитости, забыл имя, мажут и мажут. Живопись — это чувство формы и пространства. У пространства тоже своя поэзия. Мы думали только об одном — как бы кистью провести, таяет нас в чувственные сферы, на воздействие цветом. Не то, искусство обладает более глубоким воздействием. Живопись, в сущности, это чувство пространства. У пространства своя поэзия, свои чудеса, их можно выразить только посредством живописи. Ну что ты, старый дурак, говоришь, что ты понимаешь! Телерешние мне чужды, и я не знаю, как они действуют, как работают, и какие у них идеалы, я тоже не знаю. Теперь живопись в руках политики. В одном журнале вижу — колхозники, субботник, как в какой-то оперетте. Ну прямо как огородные пугала. Какая у них связь с жизнью? От жизни не убежишь, она все же тебя достигает и дает по шее, если ты от нее отвернулся. Мои заслуги только в том, что я шел вместе с простой жизнью, с космической жизнью. Мы жили тут, в колхозе, как нищие, весь народ. Куда ни глянешь, всюду жизнь народа, его труд. Пожалуйста. Я не могу высказать словами, я не поэт, но это так, настоящая будничная жизнь. Его Величество. Политику могут вертеть и так и сяк, но через десятилетия придется снова вернуться к закону жизни.

* * *

Кто мне нравился из мастеров моего времени?

Я преклонялся перед мастером Скулме (Уга Скулме. — А. И.). Позже он обратился к кубизму, это мне не нравилось. Он еще говорил — когда вы начнете писать в манере кубизма?

Еще мне нравился Миесниекс, он действительно хорошо писал. У него были две подружки. Одна блондинка, другая черная

и худая. Он их здорово нарисовал. Он еще кое-что нарисовал. Так что хороший был художник. Ну на самом деле он был дурак. Его влекла русская школа, потом он уже ничего не мог нарисовать.

Он был настоящий крестьянин, настоящий мужик.

Каким он был человеком по натуре сильным, как он работал. Розенталс мне нравился, из старых мастеров. Да Джонис Лиепиньш, но он хотел шпану из себя изображать. Он был хорошим художником.

* * *

Я. Скулме. Из латышских писателей кто Вам ближе всего!

Я. Тамужс. Меня вырастил Райнис. Для меня это то же самое, что для католика молитвенник. Многие были... Вейденбаумс, Элина Залите, этих читаю.

* * *

Статьи обо мне в газетах и журналах? Это хорошо, но в поселке всем это безразлично. Если и интересуются искусством, то так, но им оно на самом деле до лампочки... Иногда кто-то из соседей приходит и смотрит, что я делаю.

Искусство надо видеть, но не каждый способен видеть и понимать. Это так же, как с голой женщиной, которая стоит перед тобой, — всем понятно, на что она. Но радоваться ее красоте, прекрасным линиям или форме — на это редко кто способен. Такие вот дела. Искусство для народа? Это речи демагогов, народу оно до одного места. Искусство, оно для избранных, кто понять сможет. Есть и простые люди, которые могут понять и радоваться, но большей частью не могут. Зря стараетесь! Многие простые тоже ни черта не понимают, под этими простыми я имею в виду тех, кто имеет образование, но многое они изучили поверхностно, и ничего не осталось.

* * *

Вы должны иметь в виду то, что я на грани жизни и смерти. Я нахожусь в неизвестности, я борюсь — массаж, каждое утро обтирание холодной водой. Как говорил древний философ, за своим осликом, за своим телом нужно ухаживать. Я за ним ухаживаю, как могу. А как там, наверху, будет?

* * *

Я все слушаю радио. Мне интересно, что теперь будет. Время перемен. С одной стороны, эти русские черносотенцы надвигаются, и непонятно, удастся ли им задушить наши Возрождения. Ну хорошо, что у нас министр культуры — Паулс. Он борется, и ему Бог помогает. Ничего не могу сказать, мое время прошло. Пусть им Бог помогает. Тяжелые времена, тяжелые. Теперь вся надежда на единство народа. Оно стало сильнее, потому что народ за глотку взяли. Но предатели тоже нашлись. В армии такого не было. Латышские стрелки — это было чудо. Тогда во время боя русачки ушли, весь фронт распался, конец всему, а стрелки, несмотря на смертельный огонь немцев и без какой-либо защиты, все-таки продержались в строю до последнего. Солдат к солдату. Как в сказке, ни один поэт не способен это описать. Это латышский дух. Если б сейчас он был! Это не выразишь.

После первой войны Латвия была разорена, ее нужно было отстраивать заново. Можно сказать, что латышу оставалась только его земля и он сам. Латышу некуда было взгляд бросить, единственным политическим гением был Карлис Улманис, он понимал национальную сущность. Кем же он был на самом деле и что он дал народу? Хорошо, хозяевам он дал кредит на постройку домов, но вместе с тем давал указания, чтобы своим сельским рабочим тоже построили жилье. Рабочим нельзя было задерживать зарплату, но если заплатить не могли — должны были отдать ему корову. А социал-демократы, что они сделали на пользу рабочего? А Улманис распорядился: заплатить не можешь — корову давай, плати тут же. Остальные только болтали. Даже Мендерс, вождь социал-демократов, только и знал, как разрушать страну. И эта история с этими дурачками, когда поэт так по-глупому убили (Л. Лайценс. — А. И.).

Только Улманис понимал потребности народа. Материальная основа — это главное, это народ, нужно думать о жизни народа, о его характере. Тебя не спасет ни русский, ни литовец, ты должен быть самим собой и тогда можешь идти к другим.

Я рисовал только нищих, самых темных людей. Так вот, дорогие друзья. В конце концов, люди все это понимают.

**Материал к публикации подготовил
Айнарс ИНСТЕНС**



ВИДВУДС ИНГЕЛЕВИЧС
ОСТАНОВКИ —
ИСТОРИИ
ВЫСЛАННЫХ

Живущий в Канаде латыш Видвудс Ингелевичс решил найти затерявшийся в мире след родного рода. Он фотограф, поэтому он может «всего лишь» соединять документализм и технически увековеченный факт, которые дает фотография, со всем, что рождается в увлекающейся фантазии Видвуда. Он только сейчас начал исследовать судьбу Латвии в XX веке. Ум и воображение Видвуда не привлекают традиционные догмы исторической науки и существующие в эмиграции, порой живучие предрассудки по поводу «латвийского вопроса». О нем можно сказать и так: он — Блудный сын, решивший вернуться. Так или иначе, рассматривая работы к готовящейся выставке, приходится констатировать, что его возвращение достаточно отстранено и нейтрально, чтобы не лить сентиментальные слезы. Фотоколлажи Видвуда, объединенные (или инсталлированные) в пространстве с другими предметами быта и искусства, демонстрируют декоративность факта, если он по-человечески не обжит, не

пережит. Вне личного опыта все, что мы лицезреем, всего лишь ПРЕДМЕТЫ, ВЕЩИ. Для Видвуда важно вложить субъективное переживание. Особенно интересно в этой ситуации наблюдать за самим Видвудом — эта выставка задумана не для «поддержания латышского духа» (она была организована не в Латышском центре, а в независимой фотогалерее Торонто), это попытка информировать канадцев о «стране мечтаний Латвии» и самому пройти путь своих предков, путь изгнанника, покинувшего Родину. Видвуд его совершает в прямом и переносном смысле — в этом году он проделал намеченный путь: Латвия — Германия — Канада. Там его ждала неизвестность, но он был полон решимости. Найти себя как латыша. Вот Видвуд сам: «Всегда трудно судить о произведении искусства, когда его еще только создаешь. Но я все же попытаюсь кое-что объяснить читателям «РОДНИКА», и я должен сказать о двух основных вещах — ПЕРВОЕ, это история моей жизни и то, как на нее влияет

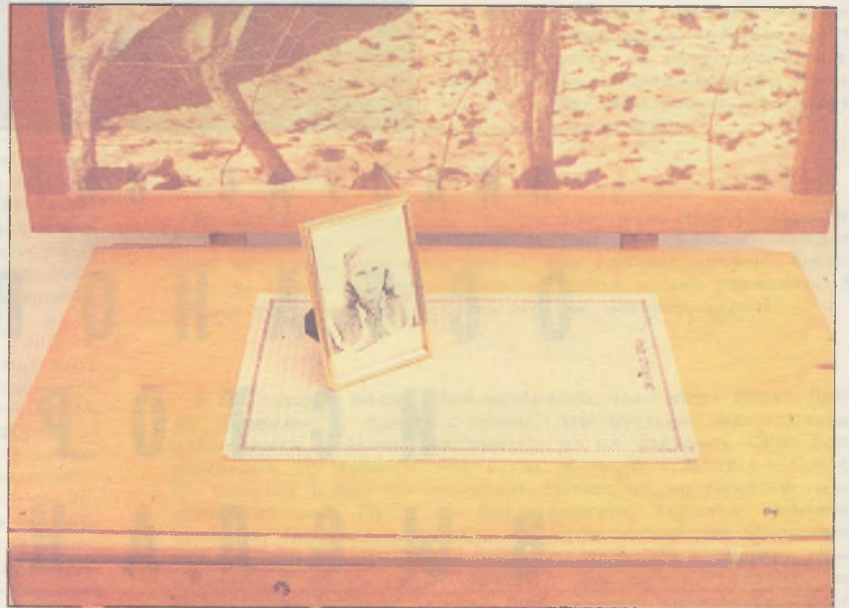


память. Я родился в Канаде, родители мои латыши. Я был брошен в англоязычную среду и культуру, учился на английском — это вызывало во мне чувство в некоторой степени шизофреническое. Я не латыш, но и не канадец.

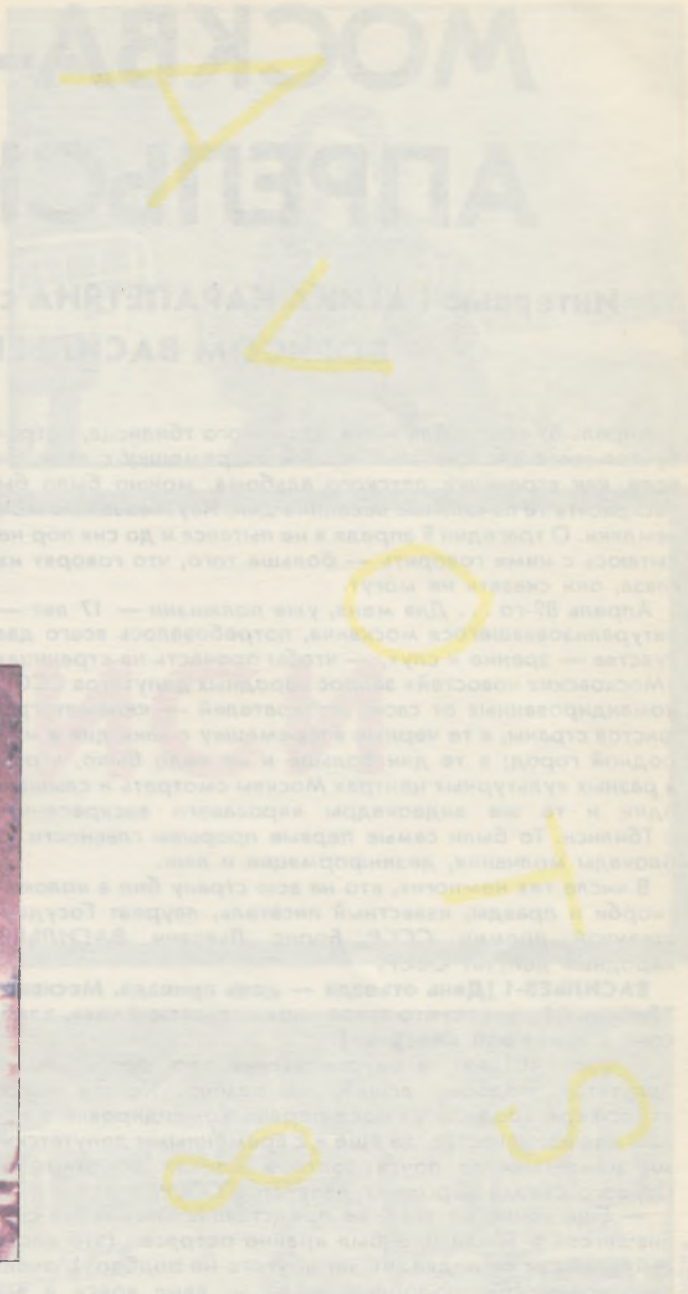
Переживая, пропуская через себя рассказы матери, «документальную историю», фотографии, истории судеб двух сестер моей матери после второй мировой войны, я пытался обрести историю своего рода, историю своей крови. Таким образом и хочу построить мост через океан — соединяющий Канаду и Латвию, меня и моих предков. Мне это было необходимо.

ВТОРОЕ, что для меня важно, — это то, как мы рассказываем, как мы фиксируем происшедшее. Как мы создаем структуру смысла.

Например, на сей раз я использую фотоколлаж, диапроекцию и трехмерные объекты (скамейки, выдвижные ящики, шкафы). Я пытаюсь добиться, чтобы зрители обрели опыт, подобный моему, важно — как и когда я создавал эти произведения и — почему я их создавал. Это серьезная проблема,



WELL, I REMEMBER ALL OF US
PILING INTO THIS ONE WAGON
AND MY DAD AND OSVALDS, THEY
LEFT ON THEIR BICYCLES. IT
ALMOST SEEMED LIKE A FUN
TRIP. LIKE WE WERE GOING ON
AN EXCURSION OR SOMETHING.
WHAT DOES A WAR MEAN TO A
LITTLE KID? NOTHING REALLY.
YOU KNOW, YOU JUST FOLLOW
WHEREVER THE CROWD GOES.
YOU GO WITH THEM. WHAT
THEY TELL YOU TO DO YOU DO
IT.



потому что мы сейчас в искусстве полагаемся на «свободную интерпретацию» — каждый видит то, что желает. Посредством своих «визуальных структур» я хочу, чтобы стали понятны истории жизни моей матери и моих теток, но еще я хочу, чтобы поняли вдобавок и меня — ведь это и моя судьба — история о том, что на самом деле со мной не происходило. Это важно для меня, и я уверен, что история как таковая вещь весьма относительная — все зависит от того, с какой стороны помотришь, взгляд на нее может меняться. Это нам, латышам, конечно, хорошо известно то, как могут существовать разные истории и по-разному осмысленный опыт. Именно опыт порой определяет, с каких социальных позиций мы выступаем. Поэтому нет причин отрицать возможность различий в интерпретации истории и унифицировать столь разные истины, принадлежащие людям и народам».

НОРМУНДС НАУМАНИС



МОСКВА—ТБИЛИСИ. АПРЕЛЬСКИЕ УРОКИ

Интервью ГАГИКА КАРАПЕТЯНА с писателем, народным депутатом СССР
БОРИСОМ ВАСИЛЬЕВЫМ 21 апреля 1989 года

Апрель 89-го . . . Для меня, коренного тбилисца, потребуется всего два цвета — черный вперемешку с хаки, — если, как страничку детского альбома, можно было бы раскрасить те печальные весенние дни. Неузнаваемые мои земляки. О трагедии 9 апреля я не пытался и до сих пор не пытаюсь с ними говорить — больше того, что говорят их глаза, они сказать не могут.

Апрель 89-го . . . Для меня, уже полжизни — 17 лет — натурализовавшегося москвича, потребовалось всего два чувства — зрение и слух, — чтобы прочесть на страницах «Московских новостей» запрос народных депутатов СССР, командированных от своих избирателей — кинематографистов страны, в те черные вперемешку с хаки дни в мой родной город; в те дни больше и не надо было, чтобы в разных культурных центрах Москвы смотреть и слышать одни и те же видеоклипы «кровавого воскресенья» в Тбилиси. То были самые первые прорывы гласности из блокады молчания, дезинформации и лжи.

В числе тех немногих, кто на всю страну бил в колокол скорби и правды, известный писатель, лауреат Государственной премии СССР Борис Львович ВАСИЛЬЕВ, народный депутат СССР.

ВАСИЛЬЕВ-1 (День отъезда — день приезда. Москва—Тбилиси. 14 апреля: что такое «комендантский час», хлеб-соль в замершей «Иверии»).

— Уже 10 лет в журналистике, но такой акции депутатов, подобно вашей, не помню. Как, в какой атмосфере «родилась» идея первой командировки в новом для вас качестве, да еще и с временными депутатскими мандатами за почти полтора месяца до открытия Первого съезда народных депутатов СССР?

— Еще точно не зная, не представляя масштабов случившегося в Тбилиси, я был крайне потрясен (это слово сейчас никак не подходит, но другого не подберу), очень взволнован. Ибо подобных акций — ввод войск и все прочее — не ожидал. Поэтому даже первое, прямо скажу, лживое тассовское сообщение, переданное на всю страну, с самого начала выбило меня из колеи.

Несколько дней спустя, 13 апреля, когда в печати появились очередные, не очень-то вразумительные заметки, мне позвонили из Союза кинематографистов СССР, в частности, Клим Лаврентьев, исполнявший обязанности первого секретаря СК (Андрей Смирнов тогда находился в Хабаровске): «На заседании секретариата решено — наши депутаты должны выехать в Тбилиси по просьбе грузинских коллег». — «Я готов — откладываю все дела», — мой мгновенный ответ. Хотя авиабилетов решительно не было, договорились подъезжать во Внуково к последнему пятничному рейсу.

По дороге, в автомашине, моя жена, Зоя Альбертовна, рассказала о прочитанном в «Красной Звезде»: «На ее страницах резко осуждаются слухи о том, что во время разгона демонстрации у Дома правительства применялись саперные лопатки». Все давно научились читать между строк, поэтому она добавила как свой наказ: «Здесь нечисто — обязательно проверь, разужай досконально!» Меня эта информация очень поразила: «Не может этого быть!» Однако жена настоятельно повторила свою просьбу . . . Наконец, распаренный Лаврентьев раздал нам

билеты за полчаса до вылета, когда все пассажиры сидели на своих местах.

— Простите, должен перебить: как сформировалась ваша депутатская «команда» именно в таком составе?

— Нас, народных депутатов СССР от СК, — всего десять человек. Четверо из-за болезни, иных причин выехать не смогли. Остальные, отбросив все, направились в Тбилиси: Дмитрий Луньков из Саратова со мной и остальными москвичами — Александром Гельманом и Егором Яковлевым; Михаил Беликов прилетел из Киева в грузинскую столицу раньше нас.

В аэропорту встречали директор студии «Грузия-фильм», народный артист СССР Резо Чхеидзе, еще один «наш» депутат Эльдар Шенгелая, председатель СК республики, и обозреватель «Литературной газеты» Юрий Рост: «Ребята, скорее по машинам — уже комендантский час!» По пути в гостиницу «Иверия» нас 10 раз остановили — ровно по числу военных постов, мимо которых проезжали.

Должен признаться: я — человек далеко немолодой — впервые на себе почувствовал, что такое оккупация. Это слово называю откровенно и от него не отрекусь. Судите сами — посты располагались в пределах видимости друг друга, замечая, как пропускают одних и начинают просматривать следующих. Тем не менее чуть дальше нас ожидал повторный досмотр.

— Объясните, пожалуйста, мне, офицеру запаса, что такое «досмотр» военными?

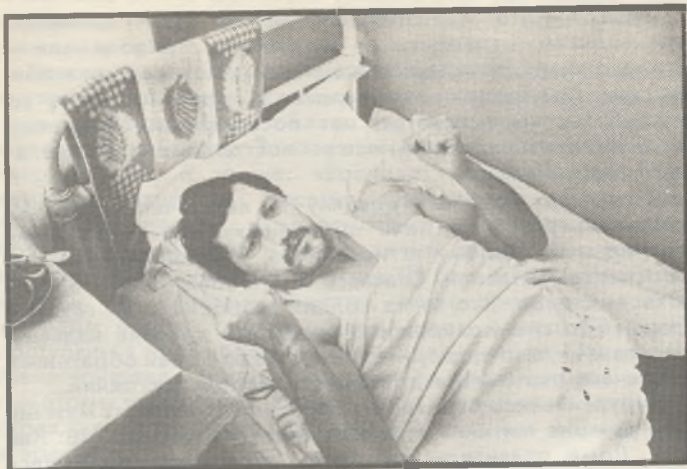
— «Всем выйти из машины!» Естественно, повинуюсь. «Документы! Деньги!» Один, офицер, всматривается, сличая наши лица с паспортными фотографиями, другой стоит с автоматом. «Открыть багажник! Вскрыть сидения!» Обращаются ко мне: «Ваши вещи? Откройте! Что здесь?» — «Все, что положила жена. Ей богу, не знаю, — еду в командировку» . . . И так, повторяю, 10 раз подряд!

— И все это несмотря на предъявленные вами командировочные и временные депутатские удостоверения?!

— «Хорошо вы приехали вместе, а не по одиночке, захватив с собой временные мандаты народных депутатов СССР, иначе поставили бы к стенке и обыскали каждого», — успокоил Чхеидзе. По сути в нас видели потенциальных врагов. Видимо, отсюда невероятная неприязнь, абсолютно каменные лица, общение исключительно на языке сухих команд безо всяких объяснений, дополнительных разговоров . . . Вот ты — тбилисец, сколько обычно ехать до «Иверии»?

— Максимум минут двадцать. Если пользоваться общественным транспортом.

— У нас эта дорога 14 апреля на машине заняла добрый час. Теперь представьте наше состояние: уже в шоке . . . Как и миллионный город, гостиница «Интуриста» оказалась абсолютно замершей, пустой, с погашенным — за исключением службы размещения — светом. Когда сели за стол одного из номеров, наши грузинские друзья извинились: «На ужин успели приготовить только хлеб-соль и сыр». Чхеидзе и Шенгелая были подавлены, поэтому о случившемся вздохнул, перебивая себя, рассказывал Рост,



ТБИЛИСИ



ФОТО ОЛЕГА ЗЕРНОВА

очевидец и теперь уже общепризнанный фотолетописец трагедии, перед уходом подаривший всем только что вышедший в свет (с многочасовым опозданием) арестованный номер «Молодежи Грузии» от 13 апреля.

— Был ли у депутатской «команды» заранее обговоренный сценарий работы, настрой в командировке?

— Мы хотели только одного — узнать правду. В поисках истины решили: переговорить с максимально большим числом людей вне зависимости от их социального статуса, образования, национальности и взглядов на сложившуюся ситуацию. В частности, очень хотелось — это была и моя «фирменная» задача — пообщаться с представителями военного командования. Однако данный пункт программы двухдневной командировки, несмотря на все старания хозяев, оказался невыполненным.

ВАСИЛЬЕВ-2 (День первый — 15 апреля: встречи с живыми и мертвыми).

— СК Грузии. Чисто хронологически здесь выстроилась вся трагедия. После того, как без стеснений выплеснули на нас пережитое коллеги-очевидцы: Лана Гогоберидзе, народный депутат республики; Вахтанг Кикабидзе, народный артист республики; Реваз Табукашвили, народный артист СССР (среди пострадавших — его сын и внук), и Георгий Гулиа, секретарь правления Союза художников республики, правление которого расположено буквально напротив площади, где произошла апрельская трагедия.

Первые свечи мы поставили на отпевании одной из погибших в церкви у проспекта Руставели, где нашли спасение многие участники многотысячного митинга у Дома правительства. Поднялись к той самой площади, где пролилась кровь безвинных. Тишина. Редко-редко зашуршит автомашина. Вокруг — море людей и пласты

цветов на сотню метров. Проливной дождь мешал зажечь мои две свечки. Помогли рядом стоявшие в слезах грузин и грузинка. . . Рассказываю об этом и других эпизодах нашей командировки, чтобы вы знали, как местные люди относились к нам, русским. Удивительное единение ощущалось здесь, на месте побоища и поминовения — никакого напряжения, не то что озлобления или неприязни к приезжим. Наоборот, все всё понимали. И необъяснимые чувства испытывал каждый из нас — вроде бы ты и не виноват, но в то же время ощущение вины было у всех нас. Не может русский интеллигент не испытывать огромной вины перед тем, что случилось здесь 9 апреля. Это чувство со мной до сих пор.

Затем мы поехали прощаться с теми погибшими, кого хоронили в ту субботу. Должен ответить: нас всюду сопровождали прекрасные парни из Народного фронта, которые не то что охраняли, а как бы вели за собой депутатскую «команду» из Москвы. Не проронив ни слова, вместе с ними, так сказать, на всякий случай ходил рядом и Вахтанг Кикабидзе, молчаливый, неузнаваемо осунувшийся. Однако все наши «телохранители» оказались решительно без забот.

На похоронах в узких тбилисских двориках мы видели совершенно спокойные и молчаливые толпы людей. Ребята из Народного фронта что-то говорили им — нас безо всяких эксцессов вклинивали в очередь соболезнующих. В тот день мы попрощались с 16-летней десятиклассницей, которую солдаты догнали и задушили практически в фойе Театра имени Руставели. Её похоронили на территории той церкви, что у Дома правительства, и я надеюсь, что девочка будет канонизирована. Мы были и в доме, где прощались с двумя двоюродными сестрами. Два гроба стояли и в той несчастной семье, где мать мгновенно скончалась от разрыва сердца, увидев мертвую беременную дочь.

Вечером вернулись с СК Грузии. Все, кто подходил к нам, беседовал, просили лишь об одном: «Расскажите в Москве правду, сделайте все возможное, чтобы советские люди узнали обо всем случившемся в Тбилиси».

Ближе к полуночи на квартире у Шенгеля посмотрели один из немногих сохранившихся видеофильмов: 9 апреля сломали много видеокамер, а эту кассету удалось унести, спасти для истории, для будущего суда над виновниками трагедии.

— Если не секрет, о чем говорили вы, депутаты, когда, завершив первый день командировки, вернулись в гостиницу «Иверия»?

— Мы собрались в одном номере, но беседовали очень мало. Однако именно тогда у нас «родилось» впечатление, ставшее основным в предотлетной беседе с товарищами Э. А. Шеварднадзе, Г. П. Разумовским и новым первым секретарем ЦК КП Грузии Г. Г. Гумбаридзе. В трагедии 9 апреля мы увидели некую модель возможного военного переворота, своеобразную пробу сил защитников и противников перестройки. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы случившееся не сошло с рук виновных, чтобы эта «генеральная репетиция» считалась полным провалом, как и давнишнее письмо Нины Андреевой.

ВАСИЛЬЕВ-3 [День второй и заключительный — 16 апреля: посещение больницы; беседы с избитыми и отравленными; с министром здравоохранения республики и представителем неформалов].

— Главный врач городской больницы, отвечая на наши вопросы, сообщил, у пострадавших в ту ночь есть раны резаные, нанесенные тупым предметом, есть ушибы, переломы и большой процент отравленных. Поэтому осмотр мы начали с токсикологического отделения.

В первой палате малоразговорчивый юноша поднял рубашку и показал мне спину, всю обложенную сыпью. Никто из больных не мог точно вспомнить, где и как произошло их отравление: «Падали дымовые шашки, теряли ориентировку, трудно было понять, что к чему». И в этот момент нашего посещения мать одного из больных закричала в нашу сторону: «Вы — русские, как вам не стыдно?! Вы решили уничтожить грузинский народ!

9 апреля — это сознательная акция, это — геноцид!» Мы молчали — говорить не надо было. Мы понимали — это закономерная истерика женщины, у которой покалечили сына. Мы терпели этот всплеск эмоций, поскольку во всех больничных палатах, нет пострадавших 9 апреля и сочувствующих им. Мы все — пострадавшие в апрельской трагедии.

Затем нам показали девочку 12 лет, очень хрупкую, хорошенькую. В ту ночь она безмятежно спала дома с открытым окном, к несчастью, расположенным на проспекте Руставели. Спасаясь от побоев, люди вбегали в тесный двор. Кто-то из солдат забросил туда газовые шашки. Во сне, совершенно безвинная девочка надышалась газами, а когда родители спустя пару дней обратились к врачам, она была в довольно тяжелом состоянии.

Хирургическое отделение. Двое сильно избитых мужчин при разгоне митинга у здания республиканского ТВ. Как и у Дома правительства, здесь военными применялся жестокий прием «мешка», а не общепризнанный в мировой практике разгон демонстрантов без ущерба их здоровью, с практическими возможностями просто разбежаться в разные стороны. Приведу по памяти монолог одного из пострадавших, сотрудника местной телестудии:

— Когда солдаты соприкоснулись с толпой, я сразу получил удар по голове. Настолько сильный, что упал на колени. Потом кто-то, проходя мимо, ткнул сапогом. . . Течет кровь — оторвал кусок рубашки, чтобы перевязать рану. Попытался встать, чтобы уйти подальше. Но меня сзади догнали и еще пару раз прошли дубинкой по спине. Снова упал на колени — голова кружится, из-за страха получить новые удары решил, что вставать уже не буду. Рядом оказались какой-то командир (в таком состоянии погоны не различил) и солдат с автоматом через плечо, остальные «блестители порядка» были без оружия. «Помогите до машины добраться, а то ведь кровью истекаю!» В ответ после команды старшего — «Стой с ним!» — солдат направил автомат на меня. Офицер исчез, когда я услышал: «Беги отсюда!» Приподнялся, двинулся к кустам и очень боялся, что выстрелит в спину. Оглянулся, а моего «сторожа» уже нет. . . Встретил местных ребят, которые подхватили меня и привезли в больницу.

При разгоне «мешков» у Дома правительства практически все, кто там находился, надышались газами. Здесь, насколько мне известно, всюду действовали десантники, более тренированные и, соответственно, более жестокие в обращении с толпой, чем иные представители армии. У той же телестудии все повторилось, но без применения газов, на что один из больных в той же палате, улыбнувшись, заметил: «Нас еще гуманно били!» — смех сквозь слезы трагедии. Последняя фраза прозвучала фантастически: все вокруг тоже заулыбались.

Нас попросили зайти в другую токсикологическую палату, где лежал немолодой человек густо-коричневого цвета. Сидевшая у кровати жена рассказала, что двумя днями раньше он был черный как негр — теперь немного посветлел, глазные белки чуть очистились от кровавого цвета, но потеряна координация, сильно болит желудок, как и у всех отравленных, не прекращается головная боль.

После этого мы встретились с министром здравоохранения республики Ираклием Менагаришвили, толково, ясно и подробно изложившим ситуацию, технологию лечения пострадавших. Однако, несмотря на его ежедневные представления военным, он до сей поры не знает названия и формулы примененных в Тбилиси газов. По мнению крупнейших советских токсикологов, оперативно приехавших из Ленинграда, речь идет о двух видах отравляющих веществ. Слезоточивый газ, который также является ОВ (все зависит от концентрации, времени его вдыхания, то есть экспозиции). Его никак нельзя применять против зажатой со всех сторон толпы или в закрытом помещении, потому что человеку некуда деться. Если убежал, то не умрешь — поплачешь

максимум сутки. Однако в Тбилиси этот газ направлялся именно в гущу толпы, что решительно противоречит международным нормам по этому поводу.

Другая группа ОВ пока безымянна. Гражданские медики считают, что среди них был нервно-паралитический газ типа аэрозоли. Если облить им человека, он может мгновенно умереть. В ответ на запросы министра ему твердят одно и то же: «Военная тайна». Ни один из военных врачей не посетил гражданских коллег, не проконсультировал их, несмотря на многочисленные просьбы об этом. «Как и от чего лечить людей?» — главный вопрос, остающийся до сих пор (!) без ответа. Местные медики, по словам министра, ищут противоядие ОВ методом проб и ошибок. Время идет, однако больные поступают в токсикологические отделения. В чем же дело? Менагаришвили считает: на какое-то время стресс гасит симптомы отравления. Кроме этого, людей останавливает страх, неосознанность последствий позднего обращения к врачам.

Находясь в СК Грузии в ожидании аудиенции товарищей Шеварднадзе и Разумовского, у меня с Александром Гельманом появилось «окно» для беседы с представителем неформалов. У него оказались крайние позиции, которые лично я не разделяю, но понять могу вполне. Для вашего сведения перечислю пункты его размышлений: а) Грузия должна немедленно выйти из состава СССР; б) хотя этот шаг закреплен в Конституции страны, тем не менее из-за возможности последующей аннексии со стороны России республика должна обратиться в ООН с просьбой прислать сюда войска этой международной организации; в) восстановить существовавший в 1918 по 1921 гг. статус буржуазной или социал-демократической республики. Спорить, честно говоря, было некогда, да и цейтнот у нас начался после сообщения Шенгеляя: «Нас уже ждут в ЦК КП Грузии!»

ВАСИЛЬЕВ-4 (Финал командировки — аудиенция на высшем уровне).

— Здесь мы познакомились с вновь избранным первым секретарем ЦК КП Грузии Г. Гумбаридзе, который, впрочем, слушал всех молча. Встреча оставила у меня приятное впечатление. Отнеслись к нам приветливо, благожелательно, даже не перебивали.

— Какие основные вопросы были поставлены вами, всей депутатской «командой», перед членом Политбюро ЦК КПСС Э. А. Шеварднадзе?

— Первый и самый главный: события в Тбилиси, на наш взгляд, нужно рассматривать исключительно как крупнейшую акцию против перестройки. Причем, акцию совершенно сознательную, ибо чрезвычайно точно рассчитывалось время ее проведения. После визита в Великобританию М. С. Горбачев возвращается 8 апреля в Москву. В ночь на 9-е, точнее, в 3 часа по московскому времени, когда Генсек после напряженнейшей поездки отдыхал, совершилось злодеяние, потрясшая всех трагедия. Генсек уже в стране, значит, отвечает за все случившееся перед народом и государством. Точный выбор времени заставляет нас предположить: акция адресовалась и против лично Горбачева. Повторяю, это наше субъективное мнение, которое мы честно изложили ответственным товарищам.

Второй наш вывод рассказал А. Гельман, более спокойный и уравновешенный, что немаловажно в беседах подобного ранга и при цейтноте, который все больше зажимал каждого. В чем суть происшедшего в Тбилиси? Аппаратные организации (партия, комсомол) потеряли контакт с народом. Вполне естественно, этот вакуум немедленно заполнили неформальные объединения. С ними сейчас необходимо немедленно вступить в равноправный диалог, где должен идти откровенный, аргументированный и чрезвычайно серьезный разговор о положении в республике. Чтобы найти разумные компромиссы, надо объяснить людям: по определенным причинам, законам чего-то нельзя делать «пока» или «вообще».

Тут Шеварднадзе в первый и единственный раз ответил нам, сказав, что отсутствие диалога с неформалами —

один из крупнейших просчетов прежнего руководства Грузии, что они и поэтому потеряли контроль над ситуацией, находясь в полном отрыве от собственного народа.

Е. Яковлев спросил, в какой мере виновны военные, на что член Политбюро ЦК КПСС ответил примерно следующее: вопрос вины преждевременен, ибо ее определяет только суд — давайте с бесправными действиями бороться только законными путями, иначе мы рискуем зайти слишком далеко. Министр был абсолютно прав, и мы все мгновенно это поняли.

Я поинтересовался о применении газов. «Это бесспорно, но какие именно и кто давал приказания — опять-таки прерогатива общественной комиссии Верховного Совета республики, созданной для расследования обстоятельств случившегося в Тбилиси, — так ответил мне Шеварднадзе. — Говорить об этом также преждевременно, но данный факт известен нам. Мы доложим о нем руководству страны». Вот и вся в основном наша беседа на высшем уровне.

Воспользовавшись встречей на столь высоком уровне, Д. Луньков рассказал о ситуации в Саратове, поволжских областях; М. Беликов сообщил, что не поручится, если завтра в Киеве не повторится тбилисская ночь, где также нет, по его мнению, единения — есть только формальный союз народа и местного правительства — здесь тоже руководство может потерять контроль над ситуацией и случится трагический разрыв, который заполнят войска — видимо, сегодня это единственный способ восстановления «нормального» положения у нас в стране. Словом, каждый из нас как народный депутат СССР поведал свою боль.

— Успели перед отлетом из Тбилиси подвести предварительные итоги экспресс-командировки? Когда именно возникла идея депутатского запроса?

— До выезда в аэропорт мы собрались в гостиничном номере Е. Яковлева, который предложил: «Давайте подумаем, что будем делать дальше. Я берусь опубликовать наш отчет. Можем прямо сейчас набросать тезисы будущего материала?» Так и поступили, успев в аэропорт до начала комендантского часа. Поэтому повторного «удовольствия» от досмотров не испытали. Остальное вам уже известно. На этом наша депутатская миссия пока закончилась.

ВАСИЛЬЕВ-5 (21 апреля на пресс-конференции в Союзе кинематографистов СССР, с участием депутатской «команды») этой общественной организации грузинских коллег, был показан впервые в Москве видеофильм, спасенный от солдат, и снимки-документы Ю. Роста. Опубликованный на страницах «Московских новостей» № 17 с. г. депутатский запрос — отчет о поездке народных депутатов СССР — первый прорыв гласности о событиях в Тбилиси 9 апреля. Данная встреча с прессой рассматривалась как второй шаг в этом же направлении.

Борис Львович Васильев, впрочем, как и остальные члены вышеперечисленной «команды» (от СССР, за исключением Эльдара Николаевича Шенгеляя, не пророчил ни слова в ходе всей пресс-конференции, продолжавшейся целый день с 11 до 17 часов. Когда все расходились, в коридоре Белого зала СК мы договорились об эксклюзивном интервью. Согласие было получено незамедлительно: «Жду вас завтра же вечером на подмосковной даче, записывайте, как туда доехать...»)

ВАСИЛЬЕВ-6 (Ленинградский вокзал, платформа Сенез, через дорогу от Дома отдыха имени Владимира Ильича. Кстати, мы беседовали, напомню, 22 апреля, втроем в «присутствии» диктофона).

— Жанр депутатского запроса время от времени и с разной эффективностью на страницах нашей печати появлялся и в годы застоя. Итак, «МН» выступили. Что дальше?

— Думаю, наш запрос не останется отдельной статьей отдельного номера дефицитного издания. Наша депутатская группа (10 мандатов, напомним) подает запрос в качестве официального документа на Первом съезде народных депутатов СССР. И непременно попросим слова на одном из первых же заседаний. Потому что события в Тбилиси — ЧП, соответственно, необходимо принять экстренные меры.

Можно немного отвлекусь? Уже в Москве, после возвращения из командировки, видел интервью Э. А. Шеварднадзе для Центрального ТВ. Перед отлетом из Тбилиси член Политбюро ЦК КПСС сообщил о роспуске правительственной комиссии и создании вместо нее общественной, для расследования всех обстоятельств трагедии. Услышав о последних, подумал: наша обстоятельная беседа с Шеварднадзе не прошла даром, есть первый практический результат депутатской работы. Не знаю, в какой мере мы могли повлиять на Эдуарда Амвросьевича, но его слова в телеинтервью прозвучали как признание высказанных нами мыслей, размышлений по «горячим следам». И вот государственный деятель и человек услышал нас.

Больше того, предпоследний абзац повсеместно опубликованного отчета о заседании Политбюро ЦК КПСС 20 апреля, видимо, также «плюс», заработанный нами в командировке. Перечитайте эти два громадных предложения — поймете, насколько точны были наши наблюдения и впечатления, изложенные в беседе с Шеварднадзе.

Кроме того, лично я хочу поставить, если не сейчас, то позже на Первом съезде народных депутатов СССР, вопрос о формировании депутатской комиссии с привлечением общественности (в том числе и депутатов) для досконального изучения подготовки 19-й дивизии имени Дзержинского, которая, по нашим данным, принимала участие (в составе войск МВД СССР) в апрельских событиях. Меня конкретно интересует: как готовятся эти подразделения, какие существуют инструкции, на что, извините за выражение, натаскивают солдат, что им запрещено делать, какие гарантии существуют, что они не превысят свои полномочия и какова вообще моральная атмосфера этой дивизии. Естественно, я должен и хочу быть во что бы то ни стало среди членов этой депутатской или общественной комиссии.

— Уж кто-кто, а вы на это имеете двойное право: и как военный писатель, и как гражданин, участник Великой Отечественной войны?

— Да, я — человек военный. Не могу себе представить, что тбилисское избиение может где-либо повториться, что войска, возможно, придется использовать для разгона (и только для этого) несанкционированных митингов. Однако давайте смотреть правде в глаза: мы живем в очень трудный, болезненный период перестройки, когда могут быть и крайние проявления толпы, да и антиперестроечные силы, как никогда, теперь сильно сплочены и настроены на активные действия. Значит, не исключена где-либо схватка, когда стенка на стенку пойдет. Поэтому применение силы, вероятно, будет необходимо, как это ни горько осознавать.

— Позвольте и мне в свою очередь отвлекаться: ваше сегодняшнее самочувствие, как и вчерашнее на пресс-конференции, я определяю по количеству выкуренных сигарет, гора которых растет пропорционально моим вопросам...

— Вы точно заметили: я давно не курил, да и Егор Яковлев лет десять не брал в руки сигареты, драматург Александр Гельман, хотя и курил всегда, но теперь, после возвращения из Тбилиси, «сморлит», не успевая прикуривать одну сигарету за другой...

— Хотим мы этого или нет, с течением времени любая буря эмоций успокаивается (надеюсь, это коснется и вопроса курения депутатской «команды» кинематографистов) — на поверхность «выходят» обобщения, аналитические размышления. Какие они у русского интеллигента и гражданина?

— У меня есть точное ощущение — говорю окончательно непродуманные мысли на примере тбилисских событий: сегодняшний командно-бюрократический аппарат боится, не знает и не хочет понимать свой народ. Двух мнений, по-моему, уже нет: эта надстройка безнадежно отстала от времени. Демократии куда больше в народе, чем у них, «наверху». И понимание жизненной необходимости перестройки намного больше имеется «внизу». Это при всем повсеместном бурлении страстей на улицах и площадях страны.

— Общаясь вне своей редакции, заметил, что у людей, не посещающих, например, пресс-конференции, наподобие той, которая состоялась вчера в СК СССР, и читающих исключительно тассовские сообщения о чрезвычайных ситуациях, возник устойчивый стереотип, когда речь идет о событиях в соседних республиках: виноваты только «экстремисты» и «националисты». Изжеванный пропагандистский «образ врага», долгое время существующий в отношениях между СССР и США, постепенно разрушается у населения, но как быть с уже избитым клише об «экстремистах» и «националистах», когда в один ряд выстроились проблемы Нагорного Карабаха, Прибалтики, Молдавии, еще раньше — Казахстана, а теперь и Грузии?

— От этого стереотипа, как и от множества других, нам придется отказываться, разрушать. Но все это не настолько быстрый процесс, как отношения двух супердержав, когда речь идет о двух соседних нациях, некогда «братских республик». Этот процесс будет проходить мучительно медленно еще и потому, что искусственный «союз братских народов», оформленный на бумаге сталинскими методами, сейчас на наших глазах просто распадается. И распадается вполне естественным путем. И во всем этом не нужно видеть «происки империализма» или желание восстановить чуть ли не царскую власть, или, по крайней мере, буржуазную республику. Все это неверно.

Сама Система, ее принципы, были (и есть пока) чудовищно несправедливы к народам других национальностей, большим и малым. Естественно, в эпоху перестройки и демократизации каждый народ, осознавая себя, стремится к законному, справедливому самоопределению. Естественно, в этой ситуации необходимо стремиться к подлинной федерации наших братских народов. Что я под ней понимаю?

— Добровольный союз абсолютной самостоятельности государств, которые не получают что-то от центра, а **отдают** ему свое. Но что? Допустим, общую охрану государственных границ, общие вооруженные силы, здравоохранение, глобальную внешнюю политику и торговлю, оставляя за собой право частного предпринимательства на уровне предприятий, объединений и кооперативов... Конечно, я назвал не все, но вы, уверен, понимаете мою мысль.

Кстати, моя родная Россия в том же положении, как и остальные республики страны: поезжайте в глубинку, посмотрите, как там живут, что едят, о чем говорят... И это хорошо питает крайне шовинистические организации в России. Когда слышу их аргументацию, думаю, вроде бы все правильно. Но только «вроде бы». Ведь мы, русские, даже столицу собственную до сих пор не имеем! Чиновничья Москва задавила собой российскую столицу. У нас нет и своей Академии наук... Если рассматривать данную проблему под этим углом, то русские тоже на положении народов, сильно пострадавших от Системы.

Происходит еще один процесс, неестественный и крайне болезненный. Наша пропаганда, в частности, литература и искусство. К величайшему сожалению, в течение определенного времени, особенно в последние годы, создавали прецеденты крайне неприятного толка. Например, было довольно много публикаций, где грузины выглядели не лучшим образом, мягко говоря. Тут еще нужно понять психологию нормального русского провинциала, который до сих пор не представляет себе, что на Кавказе и в Закавказье живет множество совершенно разных народов и народностей. А он, провинциал, тем не

менее всех называет «грузинами» или «армянами». Поэтому моим коллегам, да и вашим, журналистам, «сыграть», скажем, на торговле теми же цветами оказалось проще простого.

Думаю, особенно сейчас во всей своей страшно неприглядной красе проявился печально известный рассказ Виктора Петровича Астафьева «Ловля пескарей в Грузии». События в Тбилиси — внезапный, но вполне закономерный ответ ему. Такие вещи непозволительно совершать художнику, прессе. Однако не нужно теперь искать виновных, которые пытаются «нажиться» на чем-то. Мы все пожинаем собственноручно выращенные плоды просвещения. Одинаково горькие для всех. А подготовка к «сбору урожая» шла долгие годы застоя и до него. Легкомысленность отдельных художников, горе — мастеров пера, повторяю, очень неприглядна в свете апрельских событий в Тбилиси.

— Лично для меня один из апрельских уроков — роль прессы в подобных конфликтных ситуациях. По себе знаю, как дезинформация «пылала», как бензин, во время межнациональных конфликтов в Армении и Азербайджане. Ваше мнение об освещении ситуации в Тбилиси на страницах, например, центральных изданий?

— Я уже по дороге во Внуково, перед отлетом в Тбилиси, понял роль прессы. Помните, рассказывал эпизод с «Красной Звездой». К сожалению, гласность пока не является достоянием нашего общества. Гласность — сегодня все еще инструмент, который можно мгновенно, в случае крайней необходимости, отложить далеко в сторону. Помните, мы писали в «МН»: «Кто и почему всякий раз принимает решение о том, что в моменты острых столкновений целесообразно отключать гласность, как отключают в моменты аварий поворотом рубильника электричество?» Я очень уповаю на честных, смелых, откровенных и бескомпромиссных журналистов, потому что сейчас отношение к прессе со стороны Системы очень тяжелое, чуть ли не ненавистное. Приведу конкретный эпизод. В связи с событиями в Тбилиси, известный кинорежиссер и руководитель СК СССР Элем Климов звонил с просьбой-рекомендацией опубликовать один материал главному редактору центрального телевидения, но тот развел руками: «Я ничего не могу сделать». Речь идет о многомиллионной, популярной из-за смелости газете.

— Коллега-фоторепортер махнул рукой из-за обиды и «белой зависти», как он выразился, когда увидел в моих руках номер «Молодежи Грузии» от 13 апреля с. г. со снимками Юрия Роста: ему, оказывается, отменили командировку в Тбилиси, когда он уже имел билет в кармане и сидел в машину, чтобы поехать в аэропорт...

— Ярким и настоящим примером служения журналистике для меня (и не только для меня — для многих, особенно тбилисцев) является Юрий Рост, который снимал все-таки не для газеты. Он фотографировал по долгу репортера, по огромному долгу гражданина-журналиста. Я всегда любил и люблю Роста, но то, что он совершил в Тбилиси — подвиг. Он ведь рисковал жизнью в буквальном смысле, не боясь этого риска; он знал свой долг, помнил о нем в ту кровавую ночь. Как врач знает свои обязанности, когда входит в чумный барак. Также и остальные журналисты должны ходить в «чумные баракы» по всей стране (тем более, что сейчас их у нас много), не боясь, не рассчитывая даже на свою газету. Потом все «всплывает». Сейчас же в средствах массовой информации — скажу вам откровенно — не те силы правят балом.

— В день нашей с вами беседы, насколько мне известно, уже обсуждены все кандидаты, представленные после отборочных голосований на премии Союза журналистов СССР за 1989 год, фамилии которых мы обычно узнаем накануне 5 мая — Дня печати. Но если бы наша многотысячная организация, ее правление, могли бы, как ни парадоксально звучит, оперативно изменить свои планы, в числе лауреатов оказался бы и Юрий Рост...

— К великому сожалению, не будет этого. Говорю вам об этом сегодня. Ведь какая у нас бюрократическая система и в этом вопросе: какая-то редакция должна направить в Правление СЖ СССР ходатайство. Но «какая», если Росту «ЛГ» не опубликовала до сих пор его репортаж из Тбилиси и даже, как мне стало известно, осудила его на заседании редколлегии за то, что он вовремя не... вернулся из командировки в Москву.

— Считайте, что мое марафонское интервью завершено. Но что вас будет продолжать мучать, когда остановится диктофон, выйдет в свет наша беседа?

— Я — человек армейский, сын офицера, вырос в военных городках, влюбленный в Красную Советскую Армию. Теперь же я предельно ошущенно, что боюсь армии. В ней, побывав в Тбилиси, я увидел силу жестокую и беспощадную. В таком виде, как сегодня, она уже не народная армия, как это задумывалось при ее формировании десятилетия назад. И здесь мне на помощь приходит аналогия.

Знаете, что сделали американцы, отозвав свои части из Вьетнама? Они их полностью расформировали: знамена тех подразделений переданы в музеи, а те номера армий, с которыми они воевали во Вьетнаме, уже никогда не будут существовать. Руководство Пентагона поступило очень мудро, дальновидно. Я ни в коей мере не хочу бросать тень на наших солдат-«афганцев». Те не менее не нравится мне столь популярный фразеологический оборот — «интернациональный долг». За ним ничего не стоит, кроме нашей традиционной трескотни.

Да, наши солдаты в Афганистане выполняли приказы командования. Но я, после возвращения из Тбилиси, боюсь передачи негативного «афганского» опыта нынешним регулярным частям, войскам МВД и КГБ СССР. В данном случае речь идет о никак, извините, к черту боевом опыте, который появляется, лишь когда воюешь с регулярной армией противника. Бой с партизанами, простите, никогда не считались «боевым опытом», которым нужно гордиться. Такой «опыт» — только их уничтожение, подавление. И вот этот ужасный «опыт» категорически передавать нельзя — это антигуманно, античеловечно! Да, опыт Великой Отечественной войны нужен для поддержания наших традиций, изучения, примера. Ведь там мы воевали с солдатами Гитлера, но довольно отважными и умелыми, которых еще и нужно было победить. А в Афганистане за девять лет «интернационального долга» всего этого не было. Там некоторые набрали другой, противоположный опыт. Не нужно подменять святые понятия! Вот почему я, повторяю, непременно с мандатом народного депутата СССР собираюсь побывать в дивизии имени Дзержинского. Мне хочется понять, что они взяли из арсенала «афганского» опыта.

— Здесь контрастом выглядят действия тбилисских «афганцев», которые вместе с остальными слоями горожан поддерживали порядок на улицах после отмены комендантского часа...

— Кроме негативного «афганского» опыта, есть и позитивный: спасение, поддержка друзей-однополчан, проявление чувства справедливости... Все это вместе сработало в тех «афганцах», которые сейчас живут в грузинской столице. Помните, как они мгновенно сплотились, как предложили свои услуги руководству (партийному, советскому и военному), в той критической ситуации, как они затем круглосуточно дежурили, выезжая на ЧП по просьбе населения, улаживая немногочисленные конфликты между военными патрулями и местными жителями... Я за такой опыт. За этот опыт буду горой стоять.

— Я вас хорошо понимаю: единственный способ излечить, вытравить привезенную вами из Тбилиси огромную боль — правда, правда и только правда.

— Повторяю, среди нас нет сочувствующих и пострадавших. Мы все, и москвичи, и тбилисцы, и рижане, и ереванцы — пострадавшие. Правда нужна абсолютно всем.

«ЭНЕРГИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

Мой собеседник — профессор Латвийского государственного университета. Если бы меня попросили назвать интеллигентных людей нашего города, я бы, не задумываясь, назвала прежде всего Язепу Эйдуса. Хотя бы по первому впечатлению: внешность, речь, манеры — все как бы из ненашего времени (однако без малейшей претенциозности). Думаю, что не для меня одной настоящая интеллигентность ассоциируется с чем-то старомодным, ушедшим. вспомните ваш опыт общения с человеком порядочным, образованным, воспитанным — согласитесь, это редкое ныне удовольствие. Должна признаться, что в сегодняшних актуальных выступлениях

и публикациях я жду от их авторов не только передовых идей, но и проявления вышеупомянутых качеств. Их вымывание, исчезновение — самый большой урон, который понесла наша духовная культура. Главное, что мы можем противопоставить тому подлому и страшному, что породил наш бесчеловечный строй, — это человечность и достоинство.

Но профессор Эйдус сохранил высокую духовность отнюдь не в уютной гавани, тиши кабинета. Наоборот, это жизнь бурная, полная приключений (если это слово уместно в разговоре о нашей трагической эпохе). Судите сами: окончил Рижскую немецкую классическую гимназию, участ-

вовал в коммунистическом подполье Риги, арестован в 1934 г. — четыре года каторги; уехал в Англию, окончил Лондонский университет, воевал в Красной Армии под Москвой; после войны восстанавливал Латвийский университет; арестован в 1953 г. — три года лагеря в Заполярье, сначала рабочим в шахте, потом маркшейдером; реабилитирован в 1956 г.; в настоящее время известный ученый, занимается проблемами спектроскопии органических соединений, однако главным трудом своей жизни профессор считает перевод на латышский язык «О природе вещей» Лукреция.

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА

— Профессор, в Вашей жизни скрестились, как мне кажется, разнообразные интенции эпохи. Противоречащие друг другу линии развития мира сходятся, обретают плоть в судьбе отдельного человека. И тогда явленное нам сочетание несочетаемого создает ощущение закономерности того, что происходило с людьми. Ведь коммунистическая идея соблазнила не только русского, российского, советского человека. Как это произошло с Вами?

Вся наша семья была «красной». Отец, социал-демократ, участвовал в революции 5-го года, был в свое время сослан в Архангельскую губернию. К сожалению, я мало знаю о его деятельности. Он высоко оценивал Февральскую революцию и крайне отрицательно — Октябрьскую. Мой старший двоюродный брат Бенно, студент юридического факультета, был коммунистом. Он просвещал нас, младших, много рассказывал, давал читать книжки. Бенно два раза сидел в тюрьме, был смертельно ранен при попытке к бегству и в тюрьме скончался. В подполье были и моя сестра Тамара и двоюродные сестры: Люба Фулик — она работала в журнале, и Аида Эйдус, живущая сейчас в Израиле; двоюродные братья: Соломон, впоследствии известный журналист, ныне покойный, и Александр, который погиб в партизанском отряде. Мой учитель древнееврейского, тоже коммунист, очень хорошо использовал уроки для пропаганды.

Надо сказать, что я окончил одну из лучших, древнейших школ Латвии, которая вела свое происхождение от старой Домской школы, преобразованной в гуманитарное училище в 1528 году. Это была немецкая классическая гимназия, находилась на ул. Сколас, 11. Учился я нас в основном немцы, а инородцев — евреев, русских, латышей — принимали в гомеопатических дозах, по 2—3 человека в класс. Наш директор считал, что они придают некоторую пикантность школе, изюминку интеллектуальному уровню класса.

— Вы ощущали себя чужим в школе?

Я тяготился тем, что я еврей, знаете, это было довольно распространенное чувство. Мне казалось, что у неевреев гораздо большие возможности в жизни. Хотя до улманисовского переворота государственная служба для евреев в принципе не была закрыта, был даже министр еврей, но по мере того, как правительство правело, ситуация менялась, и с 1934 г. евреев

на государственной службе уже не было, хотя для них оставались открыты другие области — медицина, музыка, право. В гимназии мне давали понять, что я гость, были даже мелкие инциденты. Но в целом обращение было антидискриминационным. Раввин преподавал евреям, которые того желали, закон божий. (Я немного посещал занятия в этом классе, но потом стал безбожником, хотя всегда относился к религии с пиететом.) Когда начал подниматься национал-социализм, немецкая молодежь им сильно увлеклась, но наши учителя очень не одобряли все эти экстремистские штучки. Пожалуй, наше заведение было консервативно-демократическим и очень строгим. Вне зависимости от того, барон ты, граф или сын рабочего, тебе запрещалось броско одеваться, приносить в школу роскошные завтраки и т. д. При этом гимназия давала прекрасное образование. Мы учили латынь, греческий, как в старорежимных учебных заведениях. Сейчас, по прошествии стольких лет, я еще оказался в состоянии перевести на старом запасе Лукреция. Преподавательский состав был очень сильный, люди со степенями, их имена можно найти в энциклопедиях. Как личность, в значительной степени я сформировался в гимназии и многим ей обязан.

Но это я понимаю сейчас, тогда же я считал, что моя школа ужасно ретроградная и ничего не дает. Пожалуй, именно из протеста против классического образования я поступил на химический факультет университета, кроме того, подход мой был сугубо утилитарным: строительству нового общества нужны технари. Я был полон революционной идеей и восторгался всем, что происходит в Советском Союзе. А там проводились разные эксперименты в области обучения: бригадный метод, дальтон-план, кстати английского происхождения. И когда мне было 15 лет, в 1931 г., я вступил в подпольный комсомол. Сначала это были ученические кружки при Учцентре, ими руководили подпольщики, люди взрослые, их настоящих имен мы тогда не знали, только клички. В Латвию засылали много подготовленных людей из Союза, их называли «нелегалистами». Потом Учцентр был расформирован и присоединен к комсомолу. Итак, я был высококодейным. Все, о чем писала советская пропаганда, я принимал за чистую монету. Советские книги, газеты, радио — это было для нас свято. А всю антисоветскую пропаганду, все, что писала популярная в то

время рижская газета «Сегодня», латышская, немецкая печать, мы считали ложью. Переубедить нас было невозможно. Мы читали взахлеб «Дневник Кости Рябцева» Огнева. Вы слышали о такой книге? Еще «Костя Рябцев в вузе», где как раз говорилось о новых советских методах обучения. «Я люблю» Авдеенко, «Рассказы о Великом плане» Ильина, знаменитая книга о пятилетках.

— Т. е. читали то же, что и Ваши сверстники в Советском Союзе.

Да, и все там были такие хорошие, и все было так хорошо.

— Чем еще питалась ваша вера!

Был как раз экономический кризис, тяжелей 1931 год. Демонстрации безработных, похороны коммунистов, которые разгоняла полиция. В общем, мы на все смотрели под углом коммунистической пропаганды.

— А репрессии!

Первые сведения о репрессиях мы получили через буржуазную печать: сплошная коллективизация, голод. Всему этому мы не верили. А в тюрьме нам разрешали выписывать газеты, так что мы были в курсе процессов 30-х годов. Местные газеты довольно подробно их освещали, публиковали выступления Вышинского и признания обвиняемых, вина которых была для нас очевидной. Мы категорически отвергали возможность ареста невинных людей. Хотя я должен сказать, мне многое казалось непонятным, странным. Я обращался к более опытным товарищам, коммунистам, они старались все объяснить. Имел, кстати, долгие беседы с Карлисом Озолиньшем. В соседней одиночке сидел нелегал Думс. Он послал по тюрьме письмо, которое все подписывали. Я помню начало этого письма: «Слава стальному Сталину... Пусть он железной рукой расправится с врагами народа...». В таком духе. Самое трагичное в этой истории заключается в том, что у Думса в Советском Союзе остались жена и дети, они были арестованы и погибли. Он об этом, конечно, не знал, только очень переживал, что перестал получать письма и посылки. В 37-м у него кончился срок. По тогдашнему закону нелегалов высылали из страны, обычно в Советский Союз. Но тут советское консульство отказалось выдать Думсу визу, и он продолжал сидеть в тюрьме по так называемому закону Ке-

ренского, который гласил: можно держать политического противника в тюрьме без суда, если он не отказывается от политической деятельности или не эмигрирует. Отказаться от политической деятельности партия разрешала только в тех случаях, когда заключение представляло угрозу жизни человека. Были такие, которые подписывали отказ без разрешения, их исключали из партии, считали отщепенцами. Думс, естественно, не отказался, но он совершенно не понимал, в чем дело. Когда его выпустили в 1940 году и он все узнал, он сошел с ума. В тюрьме нелегалов было много, их всех освободил только 40-й год. Многие потом играли важную роль в Латвии.

— Чем Вы занимались в подполье!

До своего ареста в 1934 г. я был очень активен, руководил комсомольским кружком в одной школе. А когда поступил в университет, вел группу студентов-немцев. Я состоял также в подпольной пропагандистской коллегии. Мы ходили по ячейкам и читали рефераты; вывешивали красивые флаги; писали так называемые трафареты на заборах: «Долой!.. Долой!..»; распространяли нелегальную литературу; бросали в почтовые ящики листовки. На заводах после работы — вдруг пара лозунгов, прокламации, летучий митинг. Все это была «практическая работа», а «идеологическая» проводилась на собраниях подпольных ячеек. Все было: клички, явки, конспиративные квартиры. Это известные приемы подпольной работы, которые практиковались, наверно, повсюду и во все времена. К типографиям я не имел никакого отношения. Одна из них находилась в подвале кафе «Флора», в самом центре города, в перчаточной мастерской Ватера. Из типографии материалы разносил «районный техник» — самая опасная была работа. Этим занималась Таня, еще школьница, дочь состоятельных родителей, элегантно одетая и совершенно бесстрашная. Впрочем, конспирация была очень строгая, и я узнал все это только после возвращения из Англии, во время войны.

— У Вас было ощущение, что Вы твердо знаете, за какое государство боретесь!

Очень примитивное: национализация всех заводов, ликвидация национальной дискриминации, справедливость. Я не думал, что мне придется занимать какой-либо правительственный пост, мы просто боролись за революцию.

После улманисовского переворота меня арестовали, был суд, приговор. Максимальный срок за политическую деятельность был 8 лет каторги. Закон о наказаниях включал различные виды заключения: крепость, тюремное заключение, исправительный дом и каторгу. Все они отличались режимом: частота свиданий, переплски, передач, ношение собственной одежды. Самый суровый режим — каторга. Каторжники сидели в основном в одиночках. Я получил 4 года каторги. Сестру Тамару оправдали за недостаточностью улик. Все было по закону. Понимаете, я считал, что сижу за дело, что на их месте я поступил бы точно так же. Была такая песенка у подпольщиков Московского предместья:

Быть может, в это время
У нас будет провал,
А быть может, в то же время
Провалится капитал.
Быть может, в это время
Попадём мы все в тюрьму,
А может, в это время
У нас будет Гэпзэ.

Родители осуждали мои идеи, как радикальные. Отец оставался социал-демократом до конца своей жизни. То есть я не знаю, до конца ли. Я уехал в 38-м, а они оба погибли здесь в гетто... Но о наших делах они ничего не знали и очень тяжело переживали аресты, мой и Тамары. Когда моя мать написала мне в тюрьму, что я испортил себе жизнь и т. д., я дошел до того, что ответил ей: «Если ты не оправдываешь моих действий, можешь не ходить на свидания». Не принимал передач, не выходил на свидания. Я же был фанатиком. Но мои старшие товарищи сказали, что с матерью так нельзя. Она очень убивалась, и я «смиловился».

— Тюрьма не изменила Ваши взгляды!

Что Вы! В тюрьме у нас был очень дружный коллектив политзаключенных, мы изучали марксистско-ленинскую теорию. Книжки получали под обложками каких-нибудь романов. Пока я сидел не в одиночке, а в общих камерах, учеба была систематическая, очень строгая дисциплина. Я уезжал в Англию пламенным коммунистом.

— Вы собирались заниматься политической деятельностью в Англии!

Нет. Иностранцам это было запрещено. Я уезжал за границу для продолжения учебы. Это рассматривалось как мое партийное поручение. Я всерьез воспринимал это дело, решил быстро закончить учебу и максимально быстро вернуться к политической деятельности на родине.

— Приносить пользу...

Пользу? Не знаю. Сомнительно. Почему Англия? Во-первых, мой отец был представителем английских фирм, которые сбывали в Латвии сельдь. Но главной причиной была, пожалуй, другая. В нашей подпольной организации работал двоюродный брат Тани. (Его отец, кстати, был главным инженером рижского стекольного завода «Эмолип».) Когда меня арестовали, мне удалось на некоторое время отвлечь от него подозрения охранки. Отец успел отправить сына в Англию, где тот поступил в университет. Он мне писал в последний год моего заключения: «Приезжай. Тут ты можешь устроиться. Англия такая страна, где человек не пропадает». А моя сестра уже была там.

Меня не сразу выпустили, они даже немного пожеманничали, ведь я был под надзором полиции. Мой отец купил мне билет в агентстве Кука, которое находилось рядом с гостиницей «Рим» (теперь на этом месте гостиница «Рига»), железнодорожный билет третьего класса, «Рига — Лондон», с пересадками в Берлине, Остенде. И вот — станция Виктории. Мой друг в этот день уезжал в отпуск, поэтому только встретил меня и устроил у матери своего лаборанта, которая сдавала комнаты bed and breakfast (ночлег и завтрак). Я заплатил за неделю вперед. Он оставил мне различные адреса. Очень многие организации помогали эмигрантам: International Students' Service (Международная студенческая служба), квакеры, английские профсоюзы, некоторые депутаты парламента помогали из своих средств. Я начал бегать по этим адресам, как на работу. Всюду принимали хорошо, говорили, что это очень интересно, но есть ли здесь хоть одна живая душа, которая может подтвердить, что я действительно политический эмигрант. (Тамары в это время не было в Лондоне, она путешествовала по Уэльсу.) Неделя подошла к концу, как и деньги. (Отец смог дать мне только один фунт и сказал: «На большее

не надейся», а мама собрала в дорогу мешок провизии.) Положение было отчаянное. Я мог, конечно, пойти в латвийское посольство и за их счет отправиться на родину с последующей выплатой долга. Это называлось «отправить по этапу». Но оставалось последнее средство. Мой товарищ устроил мне свидание со своей приятельницей Трудой, аспиранткой-физиком, которая эмигрировала из Германии. Это свидание было для меня очень драматичным, т. к. Труда повела меня в кафе, а платить мне было нечем. Я чувствовал, что скоро окажусь в неприятной ситуации, как герой известного рассказа Зоценко. Труда удивилась, что я ничего не заказываю. Она меня много расспрашивала, попросила мой адрес. Я ей даже немножечко нагрубил, сказав: «Я понимаю, что Вы хотите мне помочь, но что Вы можете? Зачем Вам мой адрес?». Труда меня успокоила, и, поскольку в Англии почта, как известно, работает молниеносно, на следующее утро я получил открытку: «Dear Mister Eidus! My Friend Truda Scharff has told me about you. I understand that you are rather lonely here. Would you care to spend a week-end with an English family? I'll pick you up tomorrow». («Дорогой Мистер Эйдус! Мой друг Труда Шарфф рассказала мне о Вас. Я поняла, что Вы здесь весьма одиноки. Не хотите ли провести уикэнд в английской семье? Я еду за Вами завтра».) Утром у подъезда стоял роскошный форд, и за рулем сидела совершенно киношная женщина. Высокая, стройная англичанка, седая, красивая, с пронзительными голубыми глазами, лицо загорелое и обветренное. Все было как в кино. «Mister Eidus, are you ready?» («Мистер Эйдус, Вы готовы?») Мы поехали по изумительным местам, юго-восток Англии, графство Саррей, Эпсом, где проходят знаменитые скачки Дерби. Она привезла меня в свой трехэтажный дом, познакомила с мужем, профессором биологии, детишками, их было четверо. Мне отвели спальню. Мы много гуляли, вели светские разговоры, слушали музыку, пили коньяк. Потом она спрашивает: «А каковы Ваши планы?». Я сказал, что для того, чтобы учиться, я должен найти работу, но необходимо чье-то поручительство. Короче говоря, эта дама за меня поручилась и дала мне 50 фунтов. При очень скромном образе жизни этого могло хватить на год. Она помогла мне и потом, когда я поступил в университет. Ее дети учились в очень интересной, прогрессивной частной школе Томлинсона (он потом стал лейбористским министром просвещения). Эта школа была основана на особых принципах обучения: полное самоуправление со стороны детей, предметы по выбору, обязательные занятия спортом, группы по 5—7 человек. В ней учились также и беженцы из Германии, Чехословакии, которые не знали английского языка, я же немецкий знал в совершенстве и преподавал им физику, химию, математику по-немецки. Там же меня кормили, платили какие-то деньги. Учился я на вечернем отделении физического факультета. Во время войны, чтобы форсировать обучение, я стал заниматься утром и вечером, совмещая курсы, и окончил университет за 3 года. В 39-м, когда школа эвакуировалась, я остался в Лондоне и работал ночным сторожем. Так как я учился хорошо, меня на последнем курсе взяли в мой же колледж субсистентом: я руководил практикой у первокурсников.

— Почему Ваша англичанка приняла в Вас такое участие!

Это Англия. Англичане всегда были на

стороне того, кого бьют, underdog. Моя судьба не была уникальной, они помогали всем преследуемым. Было огромное число беженцев не только из Германии и Чехословакии, потом и из Франции, Норвегии, и никто не пропал. Это была charity (благотворительность, милосердие) в национальном масштабе. (Сейчас, говорят, там многое изменилось, есть бездомные.) По сравнению с Латвией, в которой установился диктаторский режим, в Англии было гораздо приятней жить. И вообще очень по душе мне были англичане. Надо сказать еще и об их терпимости, которая вначале была мне совершенно непонятна. Приведу пример. Я был максималистом, фундаменталистом, как теперь говорят. Они осуждали мои взгляды, но это не мешало нам поддерживать хорошие, дружеские отношения. На собрании нашего Students' Union (Студенческого союза) обсуждалось, насколько оправдана война Англии против Германии. Это было еще до вступления в войну СССР. Я считал, что, так как Советский Союз в войне не участвует, она несправедливая, империалистическая, а не освободительная. Поэтому чуть ли не желательна победа Германии. Эта точка зрения нашла и оппонентов, и тех, кто ее поддерживал. Но собрание проходило достойно, по ритуалу «This House holds... This House holds...», как в английском парламенте. Приняли обычную для английского собрания резолюцию. Большинство голосов поддержало войну, и никто не обидел меня в поражении.

— Но Советский Союз оставался Вашим идеалом!

Да, ведь я был коммунистом.

— Вы хотели, чтобы в Англии был такой же общественный строй, как в СССР?

Да, я считал, что Англии присущи все пороки капиталистического общества.

— Вы задумывались о том, что будет с Англией, если там установится коммунистический режим?

Даже мысли такой не возникало. Впервые я понял, как это могло быть, прочитав «1984» Оруэлла лет двадцать назад.

— Но как же Вы соотносили Англию с Вашими убеждениями? Ваша англичанка не вызывала у Вас классового протеста, ведь она принадлежала к правящему классу?

Она не была эксплуататором. Дочь лорда, она жила на проценты от капитала, оставленного родителями. У нее было то, что называется income. Она классно водила машину, и всю войну, будучи уже весьма преклонного возраста, она работала на first aid (скорой помощи), возила раненых. А во время первой войны проработала медсестрой в госпитале.

Мы с ней много спорили. Она доказывала, что коммунизм невозможен, т. к. он противоречит природе человека, а она не меняется. Я же доказывал, что в Советском Союзе вырос новый человек, коллективист. Образцом человеческого отношения для меня были отношения между политзаключенными в тюрьме.

— Если бы Вы теперешний встретились с пылким юношей, каким Вы были тогда, какие аргументы Вы бы привели, чтобы переубедить его?

Я не старался бы его переубедить. Я бы рассказал ему кое-что из того, что было в реальности, а выводы пусть делает сам.

— А желание предостеречь, ведь столько судеб искалечено!

Я не стал бы ему препятствовать, пусть

выбирается сам. Ведь это была нормальная убежденность идеалистически настроенного человека с чистыми убеждениями. Сама идея в том виде была вымороченная, надуманная. При освобождении из тюрьмы у меня была беседа с начальником политического управления Рижского района Апансом. Тогда было так принято. Беседа интересная, долгая. Он мне предлагал всяческие блага в обмен на сотрудничество, я довольно дипломатично уклонился. Он сказал: «Ты можешь, конечно, поступать как хочешь, но знай, что придут твои и тебя первого поставят к стенке». Показал мне «Правду» с отчетами о процессах. Я презрительно отмахнулся. Вспомнил об этом гораздо позже... Я встречался с огромным числом противников коммунизма, но был совершенно непоколебим. У меня ведь было много единомышленников. Товарищ, который пригласил меня в Англию, был убежденным, стойким коммунистом. (Впоследствии он стал парторгом химического факультета в Риге, на фронте — замполитом роты и геройски погиб под Москвой. Вообще ребята из Латышской дивизии первого набора почти все полегли под Москвой, т. к. шли в атаку во весь рост, не кланялись немцу. Их ведь толком не подготовили к боевым действиям.) У меня никогда не было желания кого-либо упрекнуть за то, что со мной произошло. И сейчас нет.

А тогда я был самозабвенным коммунистом, восторгался Павлом Корчагиным и пропагандировал коммунизм. В Риге втянул в нашу организацию даже одного графа, немца, он потом стал известным ученым. Надо сказать, что после войны изменился генотип человека, менталитет совершенно другой. Если бы я тот, восемнадцатилетний, попал в сегодняшнюю среду, я бы в нее не вписался. Поэтому говорить сейчас в терминах тех идеалов неправомерно. Коммунистическая идея в том виде отошла в прошлое, отступила перед реальностью.

— Как справедливо заметил С. Л. Франк, «ее (социалистической веры) осуществление на практике есть крушение ее обаяния как веры». А Ваше знакомство с этой практикой было еще впереди.

Это теперь мы воспринимаем все через призму прошедших десятилетий, а тогда я был счастлив, что Латвия стала советской. Узнал я об этом так. Газетчики-мальчишки носили на груди плакаты с важнейшими заголовками. И в одно прекрасное летнее утро я прочел: «Stalin Grabs Baltic» («Сталин захватывает Балтику»). Я был в восторге от того, что теперь коммунисты выйдут из подполья, займут государственные должности и будут претворять в жизнь свои идеи. Я немедленно пошел в советское посольство и потребовал, чтобы меня отослали в СССР, был готов бросить все. Но тогда на Западе шла война, отношения с СССР были напряженными, и я смог только зарегистрироваться, а вот с гражданством меня обманули грубейшим образом. У меня взяли мой полновесный латвийский паспорт, который в мире признается до сих пор, и выдали книжечку, сказав, что это советский паспорт. Я был уверен, что у меня «серпастый, молоткастый... читайте, завидуйте...». А это был «вид на жительство», бумажка, которая выдается беженцам и разрешает находиться в СССР, но гражданства не дает. К счастью, на фронте документы мои пропали, и после госпиталя я получил красноармейскую книжку, а впоследствии на ее основании — паспорт. Об обмане я узнал уже после вой-

ны, когда вернулась из Англии Тамара. Она хотела прописаться в Риге, но в милиции ей сказали: «Помилуйте, это никакой не паспорт. Это вообще не документ, и Вы не гражданка СССР». Пришлось обратиться за помощью к друзьям.

Летом 41-го года я закончил университет, и когда началась Отечественная война, то и подавно не вылезал из советского посольства. Наконец мне выдали бумагу от военного министра Англии, адресованную посольству СССР: «По Вашей просьбе мы предоставили место на корабле господину Эйдусу». Это была заслуга посла Майского. Позже у него из-за этого были неприятности. Когда меня арестовали в 53-м, в моем деле я прочитал протокол допроса Майского. Его допрашивали о том, как и почему он содействовал моему возвращению в СССР. Насколько я знаю, я был единственным, кто поехал из Англии воевать в Красной Армии. Частному лицу тогда это было практически невозможно сделать. График прохождения транспортов был строжайше засекречен от немецкой разведки. С большими сложностями, в условиях глубокой конспирации я добрался до корабля, где находилась английская миссия, — все как в шпионском романе. Корабль пошел в Исландию, там собрались караван и военный эскорт, в основном американский. Все путешествие продолжалось месяц, мы шли за Полярным кругом. Стоял октябрь, шторма. От нападения немецких подлодок и самолетов погибло около 40% кораблей.

На подходе к Архангельску я встретил первого советского человека на советской земле. Это был лоцман. Я с энтузиазмом заговорил с ним и ужасно удивился, что он так неохотно отвечает, не рассказывает про советскую жизнь. Единственное, что я узнал, это то, что он отдыхал в Крыму. Сошли на берег, документы у нас не проверяли, только спросили, есть ли огнестрельное оружие. В городе я чувствовал себя совершенно независимым, свободно, как человек с чистой совестью. Пришли разгружать корабль комсомольцы и солдаты. И с ними не удалось поговорить. Один матрос с нашего корабля попросил у солдата звездочку, тот пошел к своему начальнику: «Просят звездочку». — «Нет, нет, ни в коем случае». Я пококетничал с очень симпатичной комсомолочкой, предложил ей шоколад: «Я просто хочу Вас порадовать, ведь сейчас такое время». — «Ой, нет, нельзя, нам ничего нельзя брать». Мне это тоже показалось странным. А с англичанами я успел подружиться. Среди них был интересный человек — Эдвард Крэншо, атташе в Москве, потом — комментатор газеты «Обсервер». Еще майор Бэрс, он до революции жил в Петербурге, работал в какой-то торговой фирме. Он чисто говорил по-русски, очень образованный человек. Как мне объяснили впоследствии на Лубянке, они были агентами Secret Intelligence Service. Это знакомство стало одним из пунктов предьявленного мне в 1953 году обвинения. На «дугласе» мы полетели в Москву. Англичане привезли с собой, кажется, радарные установки и звали меня работать в посольство: «Ты физик, знаешь языки, пригодись нам». При моих убеждениях я, естественно, отказался. Я думал, что меня здесь только и ждут. Мы расстались на летном поле, бывшей Ходынке. С двумя чемоданами я потопал к будочке с надписью «Комендатура». А было это 16 октября, немецкие части стояли в Химках, в 25 километрах от Кремля. Москвичи бежали. Полночь начало объявления,

развешенного повсюду: «Граждане Москвы! Немецко-фашистские войска прорвали фронт у Вязьмы. Для столицы создавалось угрожающее положение. Призываем всех соблюдать максимальную бдительность, хладнокровие, дисциплинированность». В комендатуре сидел какой-то лейтенант. Я поставил чемоданы на пол: «Здравствуйте, я приехал из-за границы». Лихорадочно думал, куда же мне вообще ехать, и бухнул: «Отвезите меня в ЦК партии». И как это ни странно, он даже не спросил мои документы. Я был так уверен в себе, что он мне поверил, в такой момент, представляете! Я самоуверенно добавил: «Чемоданы оставляю здесь, завтра заеду». Он отвез меня в ЦК. Я — в первую попавшуюся дверь, но меня остановил солдат с винтовкой: «Куда? Пропуск!». Я и не знал такого слова. В бюро пропусков я представился: «Я коммунист из Латвии, мне надо найти латышей». — «А, из Прибалтики, тогда Вам надо на улицу Воровского, 24». Там было литовское постпредство. (Советские люди и теперь зачастую путают латышей и литовцев.) На улице уже было темно, и милиционер отправил меня в гостиницу «Москва». Там — огромный вестибюль, полная пустота и тишина, холод, а в углу сидит старушка. Я попросился переночевать, протянул десятифунтовую банкноту. Мне отвечают: «Валюту мы не принимаем. Ищите другую гостиницу». То же самое повторилось в «Гранд-Отеле», «Метрополе», «Национале». Я решил сделать, как в Англии. Там нельзя бродяжничать, и если ночью ты оказался на улице, а в гостиницу попасть нельзя, то подходишь к полицейскому, и он отводит тебя в полицейский участок, где запирает в специальную чистую камеру, а утром отпускает. Я попросил милиционера: «Отведите меня в участок». Он сразу перешел на «ты»: «А за что тебя в отделение?». Я объяснил ситуацию, и мне опять поверили! Постовой отвел меня в «Савой» (там сейчас гостиница «Берлин»), пошушукался с девочками, они взяли мою «филькину грамоту» и пустили в кредит. Но главное, выдали квитанцию о проживании, которая спасла мне жизнь. Дело в том, что в этой гостинице останавливались высокие военные чины, и квитанция свидетельствовала о том, что и я не простой человек. Утром я отправился искать улицу Воровского. Москва была пустыня, производила впечатление мертвого города, как в начале фильма Бергмана «Земляничная поляна». И так же фантазмагоричны были мои хождения по городу. Тут уже я наткнулся на бдительных людей. Каждый, у кого я спрашивал дорогу, считал своим долгом отвести меня в милицию, т. к. я явно был здесь чужой. Ходил я три дня, в центре побывал во всех отделениях милиции, два раза на Лубянке. Я предъявлял квитанцию из гостиницы, туда звонили, удостоверяться и выпускали. Наконец я нашел литовцев, и они направили меня в Армянский переулок, где находилось латвийское постпредство. Там я встретил знакомых по подполью, тюрьме, и мне стало так хорошо, Вы себе не представляете. Мне выдали 300 рублей, чтобы я оплатил гостиницу, и на следующее утро мы выехали на грузовике в Гороховецкие лагеря (Горьковская обл.), где формировалась Латышская дивизия. Так началась моя жизнь в армии.

Так как я был физиком, меня определили в роту связи работать на рации. Я был очень старательным солдатом, физически крепким и старался брать ношу потяжелее, чтобы стать еще сильнее. Немножко разочаровывало, что на меня косо посматри-

вают. Потом произошло награждение отличников боевой и политической подготовки, и наградили одного солдата, страшную посредственность. Он был, что называется, «простой советский человек». Я тогда еще не понимал, что это — самое главное. Как-то в 50-е годы в университете принимали в партию чрезвычайно немую даму, и тогдашний секретарь парторганизации в качестве ее главного достоинства выдвигал то, что она ничем не отличается от других: «Это простой советский человек, такие нужны партии».

5 декабря, когда началось наступление под Москвой, нас отправили на фронт. Это был тяжелый марш. Мы шли по глубокому снегу, за три дня — 160 километров, кругом минные поля, ребята подрывались. По дороге — ни одной деревеньки, полная разруха. Я нес на спине раненого, у которого были оторваны ступни и все время текла кровь. Он не переставая кричал: «Vai-vai, manas kājinas». («Ой, мои ноженьки!»). Первые бои Латышской дивизии были на Юго-Западном направлении — Наро-Фоминск, Боровск. Там очень много наших полегло, но мне повезло, мне вообще везло. В Лондоне я был под всеми бомбежками. Один раз мы с другом пошли немного uzdīt vīt (развлечься), а когда вернулись, дом, где я жил, оказался полностью разрушенным. Ванна висела, раскачиваясь, зацепившись ножкой за потолок... После боев я попал с дизентерией в госпиталь в Спас-Клепиках. По возвращении в часть я еще был активистом, но уже не таким ретивым. За два месяца похода я увидел много глупости, хамства. Офицеры часто ходили пьяные. Из-за головодства мы потеряли столько народу. Например, обоз с валенками постоянно не мог нас догнать, и очень многие обморозились. Намеренной жестокости не было, но один командир, человек полуобразованный, страшно не любил интеллигентов, говорил, что они трусы, не поднимаются в атаку, и посылал на самые грязные работы и самые опасные задания.

В это время меня начала мучить мысль, что с моей квалификацией я мог бы быть на войне гораздо полезнее. И вдруг приехал секретарь ЦК КП Латвии Америкс, с которым мы когда-то сидели в тюрьме, и я поделился с ним своими сомнениями. «В партизаны хочешь?..» — «Конечно, хочу делу послужить». И меня отправили в Москву, в партизанское училище. Таких училищ было три — политработников, подрывников, связистов. Наше, связистов, находилось в здании теперешней Академии общественных наук, напротив дома Чехова и дома Берия. По окончании курсов, до того как придет на меня приказ, я оставался в училище инструктором. В отряде меня уже ждали. И тут случился очередной поворот в моей судьбе. Меня вызвали в ЦК комсомола дать интервью иностранным корреспондентам. Интересный объект: выпускник Лондонского университета, воевал под Москвой. Меня соответственно накачали, что можно говорить, чего нельзя. После моего выступления подошла одна американка, Джэнет Уивер: «We cannot properly talk here. Don't be afraid. I'm OK. My husband is in the Comintern. I'm a Correspondent of the «Daily Worker». («Здесь мы не можем толком поговорить. Не бойся. Я в порядке. Мой муж работает в Коминтерне, я — корреспондент «Дейли Уоркер».) Она жила на Сивцевом Вражке. Джэнет была из семьи богатых аристократов из Джорджии, из идеалистических побуждений стала ком-

мунисткой. После войны она вышла из компартии, развелась с мужем, что с ней стало дальше, я не знаю. Эта женщина тоже сыграла большую роль в моей жизни. С момента моего приезда в Советский Союз я не был ни в одном нормальном доме, не ел нормально, с тарелки, не спал в нормальной постели, не знал нормальных человеческих отношений. Я все время видел только отвратительную сторону жизни: война, кровь, голод, презрительное отношение офицеров, усталость, вечная усталость. Я был измученный, изголодавшийся, неприкаянный, как брошенный котенок. А тут было все: дом с прислугой, прекрасная еда и умная, привлекательная женщина. Иностранные корреспонденты вели интересную жизнь. Для них все двери были открыты, они разъезжали по местам всех боев, брали интервью у очевидцев, видели гораздо больше, чем любой солдат. При этом они жили богато, развлекались, нравы были свободные. Угарная жизнь. Очень точно это описано в книге «Meeting with Mars» («Свидание с Марсом»). Автора не помню.

Однажды меня попросили выступить по радио на Англию. Тамара же тогда работала в Лондоне в ТАСС, принимала передачи и передавала их разным агентствам. И это как раз было ее дежурство. Какое это было для нее переживание! Ведь она же ничего обо мне не знала со дня моего отъезда из Англии.

Через некоторое время меня вызвали в ЦК Латвии и предложили работу в латвийской редакции радио. Я вспыхнул: «Я приехал из Англии воевать, а не сидеть в тылу!». Пельше на меня цыкнул: «Вы комсомолец или не комсомолец? А Вы знаете, что, если партия приказывает...». Стандартная, конечно, фраза. Меня демобилизовали, так что в армии я прослужил лишь полтора года. На радио работал полный Интернационал, в основном иностранные коммунисты. Нашим политруком, например, руководил Пальмиро Тольятти, который в Коминтерне был известен как Эрколи. Очень образованные, достойные люди, убежденные коммунисты. Жили они, правда, в несколько привилегированных условиях, но потом многим из них не поздоровилось. Я познакомился с «кухней» радиожурналистики. Жизнь была напряженная: шесть передач в день, без выходных, первая — в 6, последняя — в 11. Прекрасное время! В Москве появилось много знакомых. Среди них — Кадекс, первый редактор нашего университета после войны. Исключительно порядочный человек. К концу войны начали организовываться так называемые оперативные группы, чтобы сразу после освобождения в Латвии смогла функционировать советская власть. Я был в оперативной группе университета, куда меня пригласил работать Кадекс. Так что 14 декабря 1944 года я приехал в Ригу и в тот же день был зачислен в университет.

Я был счастлив, что вернулся. Рига произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь если не считать периода между выходом из тюрьмы и отъездом в Англию, я почти десять лет был с ней в разлуке, с 1934 года. В первые дни я много ходил по затемненному городу, мне приятно было видеть старинные рижские улицы, старался разыскать знакомых. Рига была запущенная, хотя от разрушений пострадал в основном старый город, на который смотреть было очень больно. Поражала странная атмосфера. Люди всего остались, говорили друг с другом очень осторожно, относились подозрительно к тем,

кто приехал из России, к войнам Латышской дивизии и с большой теплотой отзывались о легионерах. Вообще создавалось ощущение, что ты в чужом городе. Было много слов и реалий, свидетельствующих о быте периода немецкой оккупации: продовольственные карточки, магазины, книги, разговоры о Народной помощи. Ходили в эрзац-одежде, носили обувь на деревянных каблучках, которая называлась *klikāpiņas*, элементы немецкой военной формы. Людей было мало, многие квартиры пусты.

— Как вспоминали немцев!

По-разному, но немцев опасались меньше, чем советских. Народ был запуган, очень боялся репрессий, т. к. были еще свежи воспоминания о депортации 41-го года. Как-то очень слабо чувствовалось, что здесь были при немцах лагерь, гетто. Их, видно, от населения умело скрывали, или люди считали, что это их не касается.

В университете тоже было невесело. Многие преподаватели находились в Курземе, в Курляндском котле. Они ушли с немцами и там застряли. Их квартиры тоже пустовали. Приезжие, кто половчее, захватывали лучшие квартиры со всей мебелью, посудой, одеждой. Люди устраивались хорошо. Это мне немного напоминало период первоначального накопления капитала. К сожалению, я здесь очень проигрывал: сначала пришлось жить у чужих, и лишь через 8 месяцев я получил от университета 2 комнаты. Была карточная система, строгие лимиты на электричество. Появилось много частных лавчонок, цены там были высокие. Довольно быстро ухудшилось положение с продовольствием. Сработал закон сообщающихся сосудов, и очень скоро уровень жизни стал приближаться к советскому, хотя было и отличие. Очень скоро сложилось мнение, что Прибалтика лучше, культурнее, чище, и люди из других областей СССР старались сюда попасть. Тенденция к уравниванию была, но она работала с определенной инерцией, тем более что не произошла еще коллективизация, были частные хозяйства, богатый рынок. При строгой пропускной системе люди умудрялись выезжать в деревню за продуктами. Безусловно, по сравнению с Россией военного времени здесь было лучше.

Мы сразу же принялись за восстановление университета, работали самоотверженно, быстро удалось восстановить лаборатории, отремонтировать помещения, пострадавшие от бомбежки. К концу 44-го года возобновились занятия на всех пяти курсах. Студенты, человек тридцать, были из тех, кто остался и хотел продолжать занятия, часть из них не имела возможности учиться во время оккупации, другие возвращались из эвакуации.

— Вставал ли перед Вами вопрос, какой будет Латвия: советской или буржуазной!

Нет, но ходили упорные слухи, что очень скоро американцы освободят Прибалтику от большевиков.

— А Вы сами считали, что это естественно и законно, что Латвия станет советской!

Да, безусловно.

— Вас не смущало даже сравнение жизни в Латвии и Советской России!

Все равно мне тогда казалось, что некоторая специфика, обособленность Прибалтики останется, и здесь будет жить лучше.

— А Вы не задумывались, почему в Советском Союзе так плохо!

Нет, даже не задумывался. Я ведь попал туда в 41-м и считал, что вся эта разруха — следствие войны, никоим образом не связывал низкий уровень жизни с колхозным строем и вообще с характером советского строя. О репрессиях знал очень неопределенно и по-прежнему считал, что репрессированные сами заслужили свою судьбу.

Я стал очень активным комсомольцем, а в 48-м году меня приняли в партию. Очень правдиво отстаивал коммунистические идеалы. Нас посылали в деревню агитировать за сдачу продовольственного налога, причем я с полной убежденностью, как нам велели, говорил, что в Прибалтике колхозов не будет. Это была официальная установка. Я этому верил вплоть до того момента, когда организовался первый колхоз, кажется, «Накотне», да и позднее. Начал сомневаться только после депортации 49-го года. Тогда на проведение этих акций мобилизовали многих членов партии. Я не знаю, как бы я повел себя в этой ситуации, но те товарищи, которые участвовали, были сильно подавлены тем, что им пришлось наблюдать. В каждой группе, которой было поручено вывезти одну семью, кроме представителей ГБ и внутренних войск, был один партиз. Мои товарищи старались дать людям побольше времени на сборы, но ничем помочь, безусловно, не могли. В городе царил подавленное затишье, недосчитались многих людей, и в университете тоже. Местное население в то время или очень плохо говорило по-русски, или вообще не знало языка. В лесах было много «лесных братьев». Когда нас посылали на заготовки, к нам приставляли людей из группы самообороны, даже выдавали оружие. Надо сказать, было страшно. Некоторые наши люди, особенно преподаватели, пострадали. Бытовал антикоммунистический фольклор:

Kad būs visi zemē sīsti
Tie kas stāv uz melno listi
Paliks čīsti komunisti.

(Когда убьют всех, кто в черном списке, останутся чистые коммунисты.)

Да, нельзя сказать, что отношение населения было очень дружественным. Во всяком случае, те латыши, с которыми мне пришлось общаться, указывали на многие безобразия, на недостойное поведение тех, особенно начальников, которые были сюда присланы и наживались, грабили пустые квартиры. Занимались этим, к сожалению, и коммунисты, и немало. Соответственно и на черном рынке появилось много хороших вещей.

— Вы не испытывали что-то вроде стыда за советскую власть!

Я испытывал не столько стыд, сколько душевный дискомфорт, когда мне указывали на совершенно явные нарушения этических норм, бесхозяйственность, другие недостатки. Я не мог не согласиться с этим, но в то же время я был обязан как-то защищать советскую власть.

— Но это не было Вашим убеждением!

Было. У меня была установка, что это все детали, все исправится, должно быть по-другому.

— Отклонение от генеральной линии.

Я еще, безусловно, был под влиянием идей своей юности.

— Но ведь и Советский Союз оказался не таким, как Вы предполагали. Вы все это списывали на войну!

Да. Кое-что старался не видеть. Говорят, что удобнее не видеть, но жить с таким раздвоенным сознанием тоже не очень-то легко. Уже и в частных разговорах среди коммунистов начали звучать критические мотивы, хотя и довольно глухо. Появлялся скептицизм. В целом я был еще очень правоверным человеком, но в деталях прорывалось то, что тогда называлось шатанием, соскальзыванием в мелкобуржуазность, обывательщину. Тогда бытовала такая терминология.

— Кстати, она была очень удачно придумана и отлично работала. Термин «анти-советский» придерживался для крайних случаев, когда надо было сажать. А чтобы пристыдить, пускали в ход слова попроще. «Обывательский», «мещанский» — звучало не страшно, но обидно, унижительно. Как будто желание жить в нормальных человеческих условиях — позорно. Однако арестовали Вас за более серьезные преступления.

Да, как английский шпиона, в феврале 1953 г. На меня написал доноса один мой коллега, образованный человек, блестящий лектор, знал несколько языков. На его совете аресты десятков рижских интеллигентов конца 40-х — начала 50-х годов. Но, пожалуй, самое любопытное в моем деле — не преступления, которые мне инкриминировали, а логика следователя, мотивация его убежденности в моей вине. Отталкиваясь от вопросов и предложений следователя, можно восстановить ход его мысли: «Тебе хорошо жилось в Англии. И все-таки ты приехал в СССР, да еще в Москву, да еще в тот момент, когда каждый нормальный человек стремился удрать оттуда. На это способен или шпион, или полный идиот, на которого ты явно не похож. На мой вопрос, не мог ли такой поступок диктоваться чувством патриотизма, последовал циничный ответ: «Какие глупости! Этого не может быть».

— Тюрьма, лагерь — это прежде всего страдания, но и новый опыт, новые знания. Что дал Вам лагерь!

Знание жизни, о которой я раньше не подозревал. Это же целый особый мир. Наш лагерь был в основном для воров. Воровской мир — это какая-то другая Россия. Другой уровень духовности, невежество, совершенно искаженные представления об элементарных основах человеческих взаимоотношений. То, что я увидел, прочувствовал, произвело на меня огромное впечатление, наложило отпечаток на мое отношение к жизни, к советской действительности. Как могло такое возникнуть на фоне коммунистической идеологии, гуманизма в СССР, о которых нам твердили! Такой страшный напор, который, по-моему, никогда и нигде в мире не существовал. Я не мог совместить эту идеологию и действительность страны ГУЛАГ, а ведь вся Россия была покрыта лагерями.

И тем не менее в лагере ценились люди высокой духовности, очень человечные. Их уважала даже блатная свора, если они не вмешивались в ее дела. Вообще блатные уважали образование, им нужны были люди, которые напишут письмо, жалобу. Целыми ночами, открыв рот, они слушали пересказ интересной книги. Это называлось «тискать романы». Меня уважали, ко мне относились хорошо также и за то, что я играл на аккордеоне. И мне захотелось помочь с образованием некоторым ребятам, особенно молодым.

— Вы сочувствовали им!

Были так называемые «блатные» и «му-жики», которые не состояли в их классе: карманные воришки, сбежавшие детдомовцы, беспризорные, случайные люди. Эти нас охотно слушали, приставали с рас-спросами: «Объясни: почему то, почему это». Наше общение приобрело определенную направленность, когда (уже при Хрущеве, в 1954 году) учредили долж-ность замполита и к нам прислали военно-го, артиллериста, к госбезопасности и МВД он не имел никакого отношения. Это был честный коммунист, охотно называю его по имени: Николай Константинович Белик. Я и сейчас поддерживаю с ним дру-жеские отношения. Он быстро и серьезно взялся за дело, просмотрел личные дела и довольно хорошо разобрался в контингенте. Через какое-то время я к нему обра-тился: «Нельзя ли организовать учебную группу?». Белик сразу же на это пошел, выделил в зоне целый барак, позднее шко-лу зарегистрировали в роно. Я уже рабо-тал маркшейдером на шахте, а по вечерам преподавал. Потом ко мне присоедини-лись мой близкий друг геолог Мартыанов, преподаватель Томского университета, еще художник, инженер.

Наша аудитория была очень благодар-ная, занимались с большим интересом. Я увидел, что своими силами нам не справ-иться, и предложил Белику пригласить учительниц из поселковой школы. Сначала он был против: «Что Вы, что Вы, у нас такой контингент — их растерзают». Я поговорил с ребятами: «Вы отвечаете за учительниц, все зависит от вас». Они сразу же согла-сились. И вот у вахты встречали учитель-ниц и провожали до школьной барака, который был в конце лагеря. Очень их всегда ждали, прихорашивались перед их приходом. Блатные не мешали, только по-смеивались. Шли настоящие занятия, вы-давались аттестаты зрелости. Школа рабо-тала и потом, после меня. Белик нам очень помогал, ко всем относился по-человече-ски. Мы ему многим обязаны, так как он облегчал нам жизнь. Он очень скоро ушел из этой системы, работает в Киеве инже-нером. Да и сама лагерная система начала распадаться. Потом опять стало страшно. А тогда пошли послабления: мы жили за зоной, уходили в увольнение, я ездил в Воркуту за книгами. После лагеря моя судьба сложилась нормально. Я был реави-литорирован, и в день приезда в Ригу меня зачислили в университет. Правда, первые 8 месяцев жил в лаборатории.

— Когда же наступило прозрение!

Я бы это так не назвал. Я стал оценивать вещи более трезво. Это был постепенный процесс. Его ускорило пережитое в совет-ской тюрьме и лагере. Еще в Бутырской тюрьме я познакомился с очень интерес-ными людьми. Им я обязан своим просве-щением. Особенно мне запомнился быв-ший второй секретарь ЦК Компартии Гру-зии. Он хорошо знал и Сталина, и Берия, и Маленкова. Провел 18 лет на Колыме и был вызван, кажется, по делу Берия

в Москву. Он много видел, много знал, еще больше думал и многое переоценил. Рассказы его и других сокамерников, мои переживания и размышления — все это постепенно сложилось в систему и помо-гло мне понять хотя бы частично этот пе-риод истории, под колеса которого я по-пал.

Но решающее влияние на мои предст-авления оказал доклад Хрущева на XX съез-де, о котором мне написала моя приятель-ница Любаша Мерварт, юрист. Мне пре-доставили краткосрочный отпуск без права пребывания в Москве и Ленинграде. Но я все же решился заехать в Москву, чтобы похлопотать за себя. Мы с Любашей пошли в военную прокуратуру. Вы себе не може-те представить, что там творилось! Нача-лась массовая реабилитация, и в прокура-туре было настоящее столпотворение. По-скольку я был в Москве незаконно, к про-курору послал Любашу. И тут произошла такая сцена. Приемная полна народу, от-крывается дверь, выходит прокурор в фор-ме и говорит: «Кто здесь Эйдуся?». «Я»,— отвечаю очень робко. «Чего Вы боитесь? Это ведь сейчас признак порядочного че-ловека. Заходите».

— Профессор, у меня остались некото-рые вопросы. Характеризуя людей, Вы часто пользуетесь устойчивыми слово-сочетаниями: «честный коммунист», «убежденный коммунист». Какой смысл Вы вкладываете в эти формулы! Нет ли здесь противоречия в терминах!

Сейчас за ними для меня стоит сле-дующее: определенные нормы поря-дочности, общечеловеческие ценности, иногда даже самопожертвование. Факти-чески это общечеловеческие ценности. В гораздо меньшей степени они связаны с понятиями коммунизма, христианства, демократизма или какого-либо иного «изма». Во всяком случае, они сильно де-политизированы.

— Одним из источников коммунисти-ческого мировоззрения Вы считаете идеа-листические побуждения. Здесь, вероятно, имеется в виду бытовое словоупотребле-ние понятия «идеализм». Если позволите, я изложу здесь свою точку зрения на эту проблему, не претендуя, разумеется, на оригинальность. Этот идеализм предст-авляет собой веру в то, что человек может и должен быть хорошим и счастливым. Помните, Ваша англичанка говорила о не-изменной природе человека! Это вовсе не скептицизм, но скорее доверие к челове-ку, приятие его таким, каков он есть. Чело-век способен на все, но ему дарована сво-бода выбора между добром и злом. Ком-мунистическая же идеология из тех самых идеалистических побуждений претендует на право государственного вмешательства в самое сокровенное в человеке — в его душу, тем самым лишая его личного, сво-бодного выбора. Идея сама по себе страш-ная, ибо это попытка животворящую сти-хию втиснуть в жесткие рамки. При этом

стихия остается стихией и зло просто при-нимает иные формы. Остается и сам вы-бор, только в чудовищной форме: стать палачом или жертвой. Повезло тем, кого жизнь избавила от этой дилеммы.

Помните того хорошего замполита в ла-гере, Н. К. Белика, которого я назвал на-стоящим, убежденным коммунистом? Он считал, что свойство коммуниста — чело-вечность, а его цель — исправлять пре-ступников и наставлять их на путь истин-ный. И вот я вернулся из лагеря в Ригу, когда выдвигались кандидаты в депутаты. Случайно оказался в аудитории, где про-ходило выдвижение. Список уже был утверждён, как вдруг секретарь сказал: «Я предлагаю Эйдуся», — и меня избрали, даже на два срока. Когда я написал об этом Белику, он был очень горд: «Вот видите, как мы там работали с людьми. Отсидел человек в лагере — и стал депутатом».

— Блажен, кто верует... Я ни в коей мере не хотела бы оскорбить хорошего, честного человека, который столько сде-лал для Вас, да и не только для Вас, в лагере. Но ведь веру надо было питать. Этот идеализм мог питаться только иллюзиями, а так долго и успешно выдавать иллюзии за реальность стоит жертв, и, как убежда-ет опыт нашей истории, жертв немалых. Сталин недаром так планомерно истреб-лял инакомыслие, малейший намек на ина-комыслие, да и любое «мыслие» на всякий случай, воздвигал такую крепкую стену между СССР и остальным миром. Вы ведь сами говорили о роли советской про-паганды в становлении Ваших взглядов. Вообще проблема личности Сталина — стремление к власти, хитрость, жесто-кость, паранойя — кажется мне несущест-венной. Он просто наиболее последова-тельно реализовывал коммунистическую идею, эту абстракцию. Когда заходят спо-ры на эту тему, я всегда вспоминаю стихо-творение западногерманского поэта Г.-М. Энциенсбергера:

Воистину великолепны
великие замыслы:
рай на земле,
всеобщее братство...
Все это было бы вполне достижимо,
если бы не люди.
Люди только мешают:
путаются под ногами...
Если бы не они,
если бы не люди,
какая настала бы жизнь!

А то, что в советской жизни были и порядочность, и мужество, и самопожерт-вование, вовсе не заслуга идеологии. Есть в мире и другие ценности.

Да, действительно, в конечном итоге все решает тот самый «человеческий фак-тор», о котором говорят все больше и больше. Жаль только, что в истории че-ловечества более глубокий след остав-ляет зло, а не добро.

— Благодарю Вас, профессор, за Ваш рассказ.

А В О Т С

... ндвжбу
... от бе
... оловтохб
... рдэг мнрото

«ТЕПЕРЬ, КОГДА ИСТИНА УСТАНОВЛЕНА...»

ИНТЕРВЬЮ С ЯНИСОМ ВЕВЕРИСОМ

«Теперь, когда истина установлена полностью и неопровержимо, когда собраны убедительные факты и вещественные доказательства антигосударственной деятельности кучки отщепенцев, наступило время говорить о них публично. Осенью 1983 года Верховный суд Латвийской ССР приговорил к лишению свободы на срок от трех до шести лет Яниса Рожкалнса, Яниса Вевериса и Интса Цалитиса, а незадолго до того — Лидию Доронину (урожденную Ласмане). Они уличены в сборе и распространении клеветнических материалов о внутренней и внешней политике нашей страны, доказано, что они призывали к свержению социалистического строя, установленного в соответствии с волей латышского народа.

Одновременно всеми доказательствами и свидетельствами по совокупности еще раз разоблачена и морально осуждена «Акция света», в чьем фальшивом паспорте написано, что это организация христиан-баптистов, а чье подлинное занятие — распространение антикоммунизма и крайнего национализма.

В противоположность этому, фашистская публика из «Даугавас ванаги», разных других эмигрантских «объединений», «асамблей», «фондов» и «акций», словно по команде, повернулась спиной к мировому общественному мнению, обнажив тем самым свои пронацистские корни. (В связи с делом Клауса Барбье. Так утверждает автор этой статьи. — Р. К.) Их рупоры в своих сообщениях отдали предпочтение «фактам» «трагедии» латышской нации и ее культуры. Это было сделано, чтобы за дымовой завесой скрыть реальность, а именно невиданный динамический всесторонний расцвет республики, или же чтобы охаять ее жизнь. По любому поводу они поднимали ужасный шум о якобы имеющем место ограничении свободы совести «за железным занавесом», о том, что ногами растаптываются права человека.

(...)
Кроме того, были ввезены клише для

размножения предназначенных к распространению антисоветских листовок, клеветническая литература, средства для тайнописи, фотоаппараты, магнитофоны, подстрекательские кинофильмы и деньги.

Задания, полученные «корреспондентами», преследовали двоякую цель. С одной стороны, они должны были культивировать националистические предрассудки и натравливать латышей на другие братские народы. Были пущены в ход окончательно избитые идеологические шаблоны — у латышского народа якобы отнято национальное своеобразие, людей преследуют по национальному и религиозному принципу. Не было недостатка и в открытых призывах к восстановлению буржуазного режима. С другой стороны, следовало собирать сведения, порочащие советскую власть, например, «факты» о «невинных жертвах нарушения прав человека», каковыми делалась попытка изобразить, скажем, шпионов западных спецслужб Скудру, Ниедре, Бумейстарса и Ласмане.

(...)

Именно «Акция света» и ее единомышленники, в том числе и из известной Мюнстерской латышской гимназии в Федеративной Республике Германии, особо старательно пытались и продолжают пытаться отравить сознание незрелой в политическом и нравственном отношении молодежи.

(...)

«Акция света» открыла миру ужасающие «факты». Но где информация, их подтверждающая? Таковой нет.

(...)

Уже немало времени на полосах эмигрантских изданий появляются тенденциозно подобранные факты и откровенно враждебные советскому строю публикации. Например, сфотографирован дом, предназначенный на снос. Однако текст звучит: вот в какой нищете живут латыши.

(...)

В изданном в Бонне листке с претенциозным обращением «Христианин, где твой брат?» господин Клявиньш величает их «морально безупречными людьми». Он так подробно описывает страдания в заключении, что аж сердце сжимается. Их мортят голодом, заставляют терпеть и холод, и жажду. Никаких доказательств, удостоверяющих эти подлые и лживые утверждения, он не приводит, да их и быть не может.

(...)

... чтобы с помощью вымышленных сообщений доказать недоказуемое — что в Советском Союзе, в Советской Латвии существует какое-то организованное сопротивление. В это серьезно могут поверить только те, кто страдает неизлечимой ностальгией по утраченным привилегиям и доходам, безнадежно мечтает о возвращении давно ушедших времен».

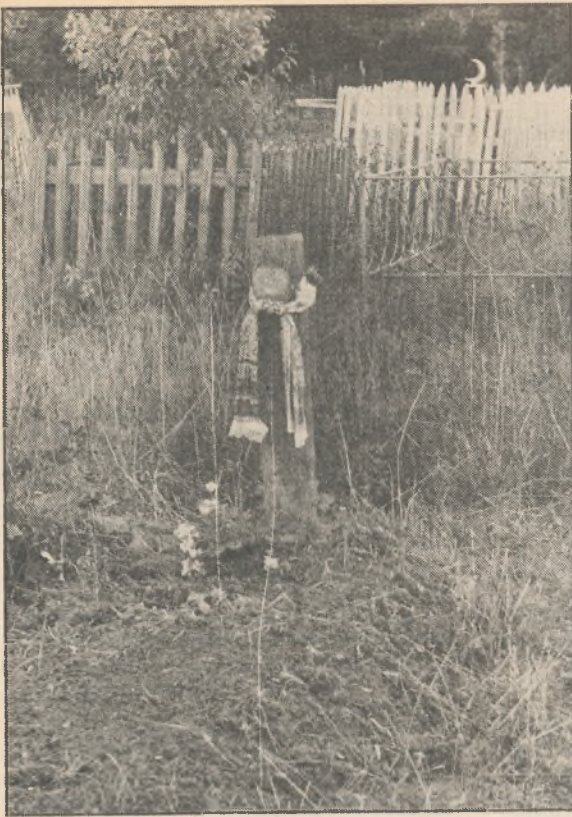
Это выдержки из статьи корреспондента ЛАТИНФОРМА В. Силиньша «Темные дела «Акции света», опубликованной в газете «Циня» 17 января 1984 года.

Вспомним, что возложить цветы к памятнику Свободе сегодня — это не то, что вчера. (Или все же?) Ни у кого из нас нет никаких гарантий. Все еще.

— Я родился в 1954 году в Риге.

Правду о том, что произошло в Латвии в 1940 году, я узнал от своих родителей. Мне повезло. Многие, чтобы оградить детей от неприятностей, не рассказывали ничего или ввали.

Родители мои — верующие, меня с малых лет водили в церковь, может быть, поэтому у меня выработалось обостренное чувство справедливости — то допущена несправедливость в отношении отдельного человека, то — группы людей, то — целых народов. Особо родители моим воспитанием не занимались. Дальнейшее — что такое Латвия, какой она была — я усвоил сам. И был очень удивлен, когда в школе оказалось, что не все латыши думают так же, как я.



1.

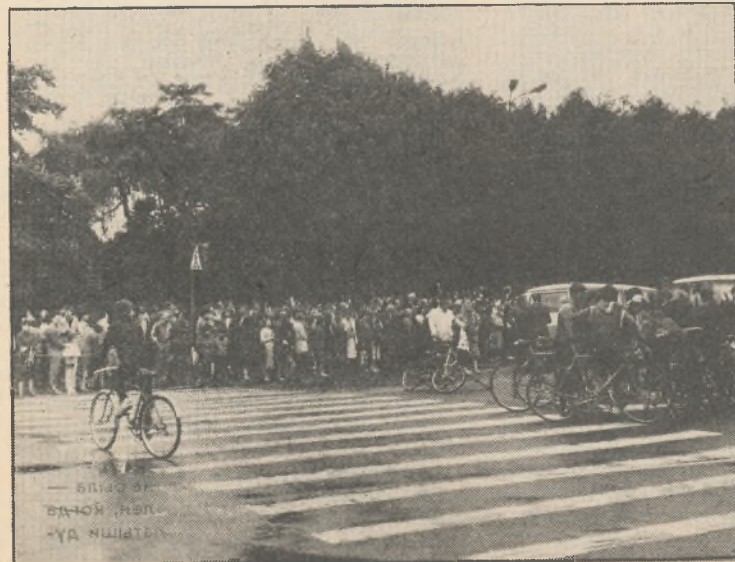


2.

1. Могилка Василія Стуса — українського філолога, поета, члена ПЕН клубу.
2. 14 лютого 1988 року. Спускають довгий стрічок через Ригу пролетів червоно-біло-червоний прапорок. Його несе Костянтин Пурурс, в той час студент ЛДУ.
3. 23 серпня 1987 року, Рига.
4. 14 лютого, протестувальники велосипедисти.
5. 14 лютого 1987 року, Бастионіс. Маврин Вульфсон і представники групи «Хельсінкі-86» Хейніс Лама.



3.



4.



5.

Учась, совершенствуя свои знания, понял, что коммунизм держит в рабстве и русских, и другие народы. Не скрою, мне нравилось смотреть фильмы, где было реальное противодействие ему.

Ну, позже я понял, что такое нацисты, осознал и вечное проклятие латышей — всегда быть у кого-нибудь или у ног, или под...

В школьные годы особенно интересовался историей и географией. Изучал их по официальным изданиям, потому что изданные во времена Латвии книги были мне почти что недоступны, не говоря уж об изданиях изгнания. С большим интересом читал о хозяйстве, политике, культуре «буржуазной Латвии». Чаще всего это была брань, из которой я выколупывал все для себя годное. Я благодарен за каждую книгу, направленную против Латвии, против латышского народа, потому что это был единственный источник, из которого я черпал сведения в подтверждение своих догадок. Я благодарен и дзитарсам, и дризулисам — чем больше читал, тем более убежденным сторонником независимости Латвии я становился.

Тогда я не встречал ни одного человека, одобряющего оценивающего происходящее, единомышленников же было много. Правда, наши взгляды на выбор средств борьбы не совпадали. Весьма популярным было убеждение, что единственно возможный путь — вступить в единственную партию и использовать ее в интересах нашего народа. Для меня это было неприемлемо.

Естественно, жадно ловил сведения и о противодействии, начавшемся в Латвии 17 июня 1940 года, о «лесных братьях», о людях, которых по одному арестовывают, на которых клеветают. Юргис Скулме, студенты в Москве, Гунарс Астрада. В середине 70-х годов я впервые встретился с людьми — осознанной силой, имеющими те же убеждения, что и я. Это, конечно, произошло не случайно. Ничего конкретно мы не предпринимали, просто я нашел их, они — меня. В середине 70-х годов мировой общественности был направлен «Меморандум 45 балтийцев», его подписали эстонцы, латыши, литовцы, и впервые за послевоенный период со стороны поработанных народов прозвучало напоминание о пакте Молотова—Риббентропа. Людей, подписавших этот меморандум, потом, конечно, репрессировали.

— Как это противодействие проявлялось в сравнительно недавнем прошлом?

— В начале 80-х годов мы распространили несколько сот листовок. Всего 3 вида: в одной был призыв праздновать 18 ноября; во второй — призыв не участвовать в фальсифицированных выборах, не участвовать во лжи; в третьей цитировалась статья Всеобщей Декларации прав человека, к которой хотелось привлечь внимание людей. Часто размножал литературу — в мои руки попадали пленки, с которых делал фотографии, — газеты изгнания «Лайкс», «Лондонас Авизе», отдельные брошюры, литература русского самиздата и др. Собирали информацию самого разного характера. Но так как здесь она никому не была нужна, отправляли ее прессе и радио изгнания. Как позже объяснил следователь, они больше это терпеть не могли. Кое-где были подняты красно-бело-красные флаги. Во многих случаях это делали люди, вовсе не связанные с нами. Флаги появлялись на проселочных дорогах, шоссе, на деревьях, башнях, почти как красные флаги в пятом

году. Власть это бесило. Двое героических парней, Янис Пауцитис и Оярс Витиньш, например, подняли его над исполкомом в Лимбажи. Символическое напоминание, что народ не забыл это знамя.

— 6 января 1983 года Вас арестовывали...

— Да, в то утро я пришел с дежурства на работу. Было немногим больше восьми, все окна в квартире светятся — это вызвало удивление. У дома «Волга», еще подумал, что раньше такой здесь не замечал. Открыл двери квартиры и увидел в коридоре чужих людей. Такое бывает часто, живу с сестрой и отцом, к ним ходят люди, незнакомые мне. Но на этот раз, как только приоткрыл дверь, сразу все понял. Ко мне подскочили, надо было поднять руки, совсем как в кино, бравые ребята забрали портфель и ошупали меня. В тот момент, когда входил в квартиру, промелькнула мысль — ну, Янис, тебе придется посидеть. Потому что дома были пленки и готовые фотографии.

Конечно, в цивилизованных странах это называется распространением информации, правда не столь примитивными средствами, и никак уж не преступлением. Но я живу здесь, и у меня не было никаких иллюзий. К такому мгновению мое сознание было подготовлено.

Обыскиваемых было трое. Подполковник Упениекс, мужик старой закалки, хваставший, что уже в мои годы таких, как я, сажал в тюрьму или отправлял в Сибирь. Арнис Юмитис — человек нового поколения, все очень хорошо понимающий, но готовый на все ради карьеры и комфортабельной жизни. «Латвия», «свобода», «отчизна» — устаревшие понятия. Был еще один сотрудник, по национальности русский, фамилию не помню. Он нашел половенные в шкаф пленки и, вытирая с триумфом, спросил: что это? И еще свидетели, больше похожие на сотрудников. В гостиной на секции была наклейка с гербом Латвийской Республики. Увидев ее, Упениекс завопил, и первое, что они в моем присутствии сделали, — стали отковыривать ее от стекла. Присоединили к протоколу как улику. То же с красно-бело-красными лентами, реликвиями, которыми пользовался один из дирижеров Всеобщего праздника песни во времена независимости. По этому поводу было много рассказов. В том числе — что эти цвета означают? Ответил, что это цвета государственного флага Латвии. Упениекс стал орать, что такого государства нет, и пригрозил разорить квартиру, у них такое право есть. Понятно, что все, имевшее красно-бело-красный цвет, присоединили к остальной добыче. Большой находкой были газеты 30-х годов, но их оставили. Зато забрали изданные в этот период книги, перекупленные мною в последнее время. Позже узнал, что у других оставлены книги, а забрана периодика. Логику, видно, искать нечего.

Когда подъехали к дому на улице Энгельса, было уже здорово за полдень. Вся улица заполнена машинами. Из них выносили разные вещи, выводили людей. В некотором смысле я даже обрадовался, что они опять показывают всему миру, кто есть кто. Обывков такого масштаба в Риге не было с времен последней депортации. Впечатление поистине грандиозное.

Сначала меня ввели в какой-то кабинет, в котором был некий молодой человек, похоже, ему было поручено развлекать меня. Он говорил, что понимает меня, что латышский народ давили и мучили, но надо все же учитывать реальность: если

до 1940 года Латвия не была бы включена в Союз, то после войны у нее был бы статус Польши или Чехословакии, а теперь ничего изменить нельзя, и пусть никто ни на что не надеется. Надо смириться. Насчет дальнейшего иллюзий не было. Хотя Юмитис и Упениекс и сказали моему отцу, что, «наверно, вернется, ночевать у нас вряд ли будет», но перед этим они переглянулись, а это сказало больше, чем слова.

Потом меня привели к следователю Ревалдсу, в дальнейшем часто приходилось слышать эту фамилию. Узнал, что меня арестовали вроде бы в связи с Гедертом Мелнгайлисом. Но я не знал этого человека. Конечно, были и вопросы о книгах — почему они у меня, откуда. Это был первый быстрый допрос. После этого отняли часы, личные вещи, и Ревалдс повел меня вниз. Там меня встретил мужчина в темно-синих погонах, и тут же зазвучала русская речь. Металлические стены, как на бойне, крепкие двери, руки за спиной, и пошел, разговаривать шепотом, слушать приказ!

В камере велели раздеться, тщательно просмотрели всю одежду, отобрали пояс, шнурки. Затем нужно было раздеться догола. Я читал Солженицына, примерно представлял, как происходит осмотр, так оно и было. Последовала процедура, которая удивила, но из прочитанного вспомнил, что и такая есть, чтобы побольше унижить и нанести первый психологический удар несведущему человеку. Умом я все понимал и в происходящем усмотрел даже некоторый комизм, и все же потребовалось время, чтобы собраться и внутренне привести себя в порядок. Мне повезло: меня арестовали в пятницу, а по выходным дням допросов не было. Если бы кто-нибудь мне в первый день сказал, что в этом учреждении проведу больше года, наверно, я бы сошел с ума.

Позже можно было заказать книги из библиотеки, хотя выбор довольно ограничен, самые новые — издания 1970 года. Но время кое-как протянуть было можно. Просто ничего другого не оставалось.

Ежедневный ритм, понятно, был не слишком разнообразным. Довольно ранний подъем, в шесть, следует поход в туалет. Туалет в своем роде тоже камера, в которую заключают на короткий срок. В дверях окошко и еще одно отверстие, через которое за заключенными следят, потому что для заключенных туалет по-прежнему служит пунктом обмена информацией. Таких предметов роскоши XX века, как унитаз, там, конечно, нет: вокзальный вариант. Потом ведут назад. Жду завтрак.

Первый завтрак — миска каши — меня очень удивил. Еще хлеб и кулечек с сахаром. Оказалось, что порция сахара предназначалась на несколько дней. Позже ячменная кашка пришлась по вкусу, и теперь я ее ем с удовольствием, а тогда она показалась просто ужасной.

Газеты — «Советская Латвия», «Циня», «Известия». Других в камеры не давали. Так как информацию можно было получить только из этих газет, прочитывал их до последней строчки. И до сих пор не могу избавиться от этой привычки, к тому же теперь прессу вообще не успеть прочитать.

Допрашивал меня главным образом майор Мартиньш Нейландс. Умный, интеллигентный, хитрый человек. Официальная пропаганда на уровне джентльменских разговоров.

Героя я не изображал, немного даже прикидывался, что у меня самого в голове путаница, потому что понимал — если они догадуются, что я от своих убеждений никогда не откажусь и что мои поступки были и будут целенаправленными, то получу больший срок, покажусь им более опасным. Поэтому старался произвести впечатление, что только случайно попал в их поле зрения, как человек, то ли симпатизирующий «русским», то ли ненавидящий их (который сам в этом не разобрался), интерес к политике есть, но определенного желания сопротивляться — нет, есть желание читать вроде бы запрещенные книги, и это все, главным образом.

Допрашивал также Андрис Страутманис — молодой супермен. Нейландс — мягкий интеллект, Страутманис — жестче, злее. Может быть, у каждого своя роль. Однажды в следственный кабинет влетел упитанный пожилой мужчина, он орал по-русски и бил кулаком по столу — если ты, Вевер, думаешь нас дурачить и водить за нос, таких, как ты, я сотнями видел, от тебя самого зависит, отделаешься ли легким испугом или же придется бить головой об стол, пока возьмешься за ум.

— Были ли и другие угрозы во время следствия?

— С самого начала я был информирован, что против меня не будут применяться насильственные методы. Все же считаю, что мне пригрозили физическими пытками. На второй или третий месяц Нейландс сказал, что, раз разговор не клеится, нет смысла держать меня в КГБ, где хорошие условия, и что остальное время до суда я могу провести в Центральной тюрьме. В то время со мной в камере был один ресторанный вышибала, валютчик, он мне подробно и досконально рассказал, что происходит в камерах Центральной тюрьмы. Самые невообразимые избиения и унижения. Об этом знают все следователи, адвокаты, сотрудники Министерства юстиции, и все же ничего не делается. Я об этом знал раньше, но воспринимал как закономерное следствие системы. Рижская Центральная тюрьма одна из самых страшных в СССР. В лагерях, на этапах людей избивают только за то, что они из Рижской Центральной тюрьмы, и бьют те, кто в свое время сам там настрадался. Но это другая тема.

Так как Нейландс знал, что рассказывает мой товарищ по камере, то считаю, что это была открытая угроза. Которая, слава Богу, так и осталась только угрозой.

— Встречались ли Вы во время следствия с другими вероятными товарищами по несчастью?

— С другими людьми встречался только, когда начали возить на судебные заседания. Вначале хотели преподнести единое дело — «узвязать» меня вместе с Гунарсом Астрой, Лидией Дорониной-Ласмане, Интсом Цалитисом, Янисом Рожкалнсом, Гунарсом Фрейманисом. Но, наверное, почуяли, что это было бы шито белыми нитками, и в конце концов это даже невыгодно. Если судить такую большую группу, может создаться представление о большом подпольном движении, сильной организации. В то время из упомянутых мне был лично знаком только Янис Рожкалнс.

И судили меня вместе с Янисом Рожкалнсом и Алфредом Левалдсом. Вообще были попытки вытянуть материалы Рожкалнса и Левалдса на шпионаж, потому что у Левалдса был прибор, опреде-

ляющий повышенную радиоактивность. И в нескольких посланных на Запад письмах несколько строчек тайнописи. Шпионаж — это совсем другая статья, мера наказания выше, ею можно шантажировать людей. Но, видимо, решили, что «шпионаж» на этот раз не нужен. Подобным образом, наверное, делаются и другие дела по шпионажу, потому что мне и в лагерях ни одного настоящего шпиона встретить не довелось. До самого судебного заседания мы не знали, что Алфредс Левалдс утром 6 января 1983 года скончался от сердечного приступа у себя дома в начале обыска.

В машине, которая из разных мест заключения возит людей на суд, я познакомился с Раймондсом Битениексом, который потом стал одним из организаторов группы «Хельсинки-86». Он пытался перебраться через море в Швецию, но неудачно. В другой раз в машине был вместе с Гунарсом Астрой. Уже в первый раз Астра произвел потрясающее впечатление. Деловой, живой, заинтересованный, очень конкретный. Познакомились без лишнего церемоний. Его энергия очень благоприятно повлияла и на меня.

— Как проходило судебное заседание?

— В Латвии в советское время такие суды всегда были закрытыми. И во время следствия мне так говорили. Но, войдя в зал суда, я с удивлением констатировал, что это открытое судебное заседание. Сами политические процессы я воспринимаю как спектакль, в котором и мне надо играть свою роль. Обвинение представлял прокурор Янис Батарагс, специализировавшийся на подобных делах. Он часто участвовал и в допросах. Прокурор должен наблюдать за следствием, а Батарагс фактически был таким же допрашивающим. Он и Нейландс обращались друг к другу как старые друзья.

Моим защитником была адвокат Рауда, которую разыскала моя мать, хотя и против моей воли. Главной заботой адвоката Рауды было, чтобы я не старался на суде изображать героя. Конечно, у нас с ней были беседы, она пережила многие коллизии нашего века. И пыталась убедить меня, что не надо больше ходить к памятнику Свободе, что все изменилось, когда была одна правда, теперь — другая. Я думаю, с одной стороны, ее и многих других ни в чем нельзя упрекать, обстоятельства обычно сильнее людей, но тут все же вопрос о принципиальности нации.

Заседание вел судья Крастиньш. Примерно через год я в лагере узнал, что он арестован по делу Роголева и осужден на год, хотя прокурор требовал больше.

Главное обвинение можно сформулировать довольно кратко — мы систематически и неотступно распространяли антисоветские материалы. Значит, антисоветская агитация и пропаганда. Газеты «Лайкс», «Лондонас Авизе», брошюры «Как вести себя на допросе?» (ее написал один москвич, бывший адвокат) и «Хроника защиты прав человека в СССР», 3 книги. В протоколе было написано, что две переданы в Государственную библиотеку, надеюсь еще, что их вернут назад: «Мечты и действительность» Яниса Лапиньша — мысли о латвийском государстве, речи, произнесенные в 1915 году. Вторая — «Латыши на Украине в 1919 году» Кристаса Бахманиса. Третья — книга Екабса Калниньша «Что говорят мученики чека» — исчезла моментально.

Распространение листовок рассматривалось как большое преступление. Потому

что их основная мысль — борьба, агитация за независимую Латвию. Флаг сам по себе ничего, но использован как символ антисоветской агитации, поэтому следует получить наказание.

Кроме того, во время следствия Нейландс произвел в моей квартире еще один обыск. Изъяты музыкальные записи, пластинки, в том числе и выпущенные латышами в изгнании, были возвращены родственникам. Я сказал, что это шаг вперед и что, может быть, через несколько лет люди смогут свободно читать и распространять и книги, и периодику. Нейландс ответил приблизительно такими словами: «Ну, Вевер, на это не надейся, этого никогда не будет. Пока будут существовать две антагонистические системы, два лагеря, этого не ждите. Или — или».

Те, кто хорошо меня знал, были уверены, что я ни о чем не сожалею, свои взгляды никогда не сменю и в пределах своих возможностей буду продолжать делать все для достижения цели. И что пустился на ложь только ради того, чтобы не увеличить срок. Я допустил ошибку, на суде вел себя, как в то время было принято в обществе — думать одно, делать другое. Не хватило мужества. Позже я узнал, что единственным, кто использовал эту ситуацию — открытое заседание суда, — был Гунарс Астра. Он осознавал важность момента и сказал все, что на сердце и что мы все хотим сказать. Впоследствии Астра упрекал меня, что я не подумал, какое впечатление на сидящих в зале произвела моя фраза о «сожалении», что я не имел права так поступить. И эстонцы в лагере сказали то же самое.

Мне присудили три года в лагере строгого режима, Рожкалнс — пять лет в лагере строгого режима и три года на поселении.

После суда еще примерно неделю пробыл в КГБ. Потом отвезли в Центральную тюрьму, поместили в камеру кратковременного заключения, на местном жаргоне именуемую вокзалчиком. Там уже был Гунарс Фрейманис. Вскоре вызвали в коридор, где строились участники следующего этапа. Впечатление потрясающее, потому что там все вместе — убийцы, воры, спекулянты, мошенники и мы тоже. Крики надзирателей, грубая ругань на русском языке, существа женского пола в форме. Вывели во двор. С радостью увидел, что идет Гунарс Астра, как всегда, бодр. Уже один его взгляд вселял надежду.

Неведение относительно предстоящего, перед глазами фантастическая картина: темнота, прожекторы, огромные ворота, тюремный двор, охрана, автоматы, собаки, ватники, бритые головы, все выглядяет один страшнее другого, смотря волком, глаза блестят. Ворота с грохотом открываются, следует приказ: вперед! Крики надзирателей не отличаются от лая собак. Направляемся в проход, огражденный с обеих сторон дощатым забором, на ветру раскачиваются полуразбитые лампы, мороз, снег, бегущие псы. В конце площадка, потом поезд.

— Расскажите о самом этапе, об этом знают очень мало.

— Вагон оборудован наподобие плакатного, только до половины в решетках, таким образом получается что-то похожее на клетки. Там человек на человеке, когда идешь мимо, зрелище ужасное: у решеток лица, сверху донизу заполнено руками и ногами, в отдельных закутках женщины в самых разных позах, кажется, сейчас бросятся на тебя, все

ревут, орут, ругаются. Воздух, конечно, невыносимый. Во второй части — купе для стражи.

Естественно, все опять вперемежку. И те, кто едет на освобождение, и те, кому скостили срок, кто едет на поселение, кто на место отбывания наказания. Прожженные бандиты, зеленые новички, обчистивший контору — все вместе. И в нашем отсеке и избивали, и отнимали вещи. Питание — сухой хлеб и вода. Обходись как знаешь. Фрейманис, Астра и я забились в один угол, сами по себе. Постепенно наш отсек пустел.

Первая остановка — псковская тюрьма. Та же процедура — собаки, ругань, крики. Загнали в грузовики, теснота — друг у друга на голове. В псковской тюрьме, и это был единственный случай, я встретился со служащим тюрьмы, который не кричал, а спокойным голосом выполнял свои обязанности. Я был аж в шоке от человеческого, спокойного тона.

Нас с Фрейманисом отвели в подвал, в камеру. Только вошли, навстречу радостно кидается Рожкалнс. В камере было еще человек десять, довольно спокойное общество. Как-то дном из других камер донесся рев, хлопанье дверьми. Принесли газеты, увидели черную рамку и портрет Андропова. Вскоре и в нашей камере началось беснование. Мы, политические, сидели тихо и смиренно, наблюдали за всеобщим ликованием, можно было подумать, что сейчас откроются тюремные ворота и мы выйдем на свободу.

Камера была залита водой, уже несколько дней доходило до щиколоток. По очереди черпали ее и выливали в парашу, стоящую посередине камеры на возвышении. Окно выбито, на улице мороз и снег. В воде обитали пиявки и насекомые. Несколько раз жаловались, и тюремное начальство приходило поглядеть, но только разводило руками — поймите, трудности с помещениями, негде вас разместить, можно ведь эту воду повычерпывать.

Когда Рожкалнс отправили с этапом, нас с Фрейманисом перевели в другую камеру. Она вроде была получше, но окно и там было выбито. Дни и ночи проводили, натянув на себя все, что только можно. Такие мелочи, как разбитое окно, никого не интересовали.

На следующем отрезке этапа мы были вместе с заключенными особого режима в полосатой одежде. При этом режиме заключенный все время проводит в камере. Там он работает, ест, спит. Короткие прогулки. К этому режиму был приговорен и Гунарс Астра. Немного опять были вместе. В вагоне произошла короткая и скорая расправа — у тех, кто ехал в места поселения, отняли все, что им было выдано в зоне. При полной тишине и спокойствии. Тюремные чиновники прекрасно знают, что нельзя всех вместе, но поступают совершенно безответственно. Гунарса Астру уважали и не трогали. Увидев, что мы вместе с ним, оставили в покое и нас. Уже один огромный рост Астры вызывал уважение. Когда его вели, со всех сторон слышалось: вот это да!

В ярославской тюрьме произошло то, чего я больше всего боялся: меня поместили в общую камеру, где было человек пятьдесят, может быть, и больше. Камера величавой со спортивный зал. Опять ужасная грязь, в одном углу дырка — параша, вдоль стен лавки в два этажа, некоторые спали и на полу, вонь неопишная. Там я чуть было не пострадал, но в конце концов выяснилось, за что я осужден, и это спасло от унижений разного рода.

В пермской тюрьме мы опять были втроем — Астра, Фрейманис и я. Рожкалнс тоже. В этой тюрьме свой порядок. Каждый день надо мыть камеру. Каждый день выгоняли в коридор, и там приходилось сидеть вдоль стен на коленках. Надзиратели тем временем огромным деревянным молотком стучали по стенкам, постелям, стульям. Психологически весьма угнетающе, с одной стороны — хочется смеяться, с другой — не покидает ощущение, что находишься в сумасшедшем доме. Стуки раздаются долго, пока не обойдут все камеры. И так каждый день.

Опять поезд. Фрейманиса и Астру высадили раньше. Нас с Рожкалнсом, нам и другим на удивление, высадили из поезда в обычный автобусик, с нами еще шофер, три автоматчика и собака. Рожкалнс отвезли до его лагеря, мы простились, видел, как его увели через ворота. Так мы расстались на три года, пока не встретились на Рижском вокзале.

Мы часто обсуждали, придется ли «включать» все годы по приговору. Рожкалнс был убежден, что нет, ему был голос слышен, да и сам он чувствовал приближение больших перемен. Я же в такую возможность просто не верил и думал, что просижу «от звонка до звонка». Со мной так и произошло, но и Рожкалнс оказался прав.

Наш этап продолжался около месяца.

— Лагерь, люди, которых Вы там встретили: не заставило ли пережитое думать, что эта жертва была напрасной?

— Нет, уже в заключении я осознал, что это того стоило. Это испытание заставило сделать выбор и понять самого себя, уяснить, остаюсь я при своих убеждениях или нет. Познакомился с чудесными людьми, осужденными за свои взгляды. Лучше понял механизм действия КГБ. Кроме того, во время заключения человек фантастически может сосредоточиться на размышлениях. Мне это было необходимо.

Лагерь находился на юге Пермской области, в районе Чусовой. Зимой мороз иногда достигал минус 40°. Много снега. Климат континентальный, смена времен года резкая.

Меня определили работать поваром, там привыкли, что балтийцы чисто-плотнее и лучше готовят. У моей работы был по крайней мере смысл, я кормил весь лагерь. Заранее настроил себя на некоторое равнодушие, здоровую апатию, пригодились и армейская закалка, потемулагерный режим переносил легче других.

Всего в лагере было человек 70—100. Количество их менялось. К тому же это очень мало, в соседних лагерях были тысячи. В большинстве так называемые предатели Родины — те, кто служил в немецкой полиции, армии. Эти люди были арестованы уже в преклонном возрасте в начале 70-х годов. Латыши — абсолютно безвинно.

В конце войны, чтобы уклониться от призыва в русскую армию, убежали в лес. Так советовал любой разумный человек. У латышей все помыслы и надежды были связаны только с государственностью Латвии, а периоды оккупации считались переходящими. Призывают в одну армию, призывают в другую. Вот придут американцы и англичане, уладят все миром, и опять будет Латвия. В лесу парни, естественно, примкнули к «лесным братьям». Выполняли незначительные задания. Правительство СССР объявило амнистию, пусть выходят из леса, тем, кто не носил немецкую форму, ничего не будет. Ребята послушались,

«лесные братья» тоже отпустили их спокойно. Часть вышедших отслужила в армии, другие отдали свою молодость зарождающимся колхозам, годы возмужания — тяжелому труду почти что задаром. Большинство этих старых мужиков было из Латгалии. Один из них, Робертс Пелшс, за выдающиеся достижения в сельском хозяйстве был награжден медалью Выставки достижений народного хозяйства. Когда я прибыл в лагерь, он уже умер. Остальные и сейчас там. В начале семидесятых годов они получили повестки явиться в КГБ. Там же, на месте, арестованы. Им объяснили, что амнистия амнистией, а Советское государство никого не оставляет ненаказанным. Грозил смертной казнь. В таких обстоятельствах человек, естественно, подписывает все, что дадут. Л. Брежнев сказал: «Никто не забыт, ничто не забыто», — и те, кто заболел о новых звездочках на погоны, истолковали эту фразу по-своему и бросились на розыски военных преступников. В 1984 году огромные сроки наказания уже подходили к концу. В лагере эти мужики были на разных работах, болтовня о политике им была чужда, то были простые сельские люди и на таких, как я, смотрели довольно скептически. К этой самой группе предателей Родины причисляли и тех молодых ребят, кто не вынес всех унижений в армии и бежал через границу СССР. Но в страхе перед диким Западом многие вернулись назад, надеясь, что Родина оценит их последний шаг и простит. Родина одарила их 10 годами в лагере.

Один из этих людей добрался даже до Америки, получил американское подданство. Выполнял разную случайную работу. Однако, человек довольно неспособный и неталантливый, он избегал и общества русской эмиграции. Мать, подталкиваемая сотрудниками КГБ, писала душераздирающие письма, что Родина простит, пусть едет домой, в Россию. В Москве, прямо у самолета, его и взяли. Держались приветливо и обещали долго не задержат. Только пусть откажется от гражданства США. Как советскому гражданину, ему присудили десять лет на размышление. В лагере он причитал, что обманут, пытался несколько раз покончить самоубийством, с ним нянчились, как с маленьким ребенком. Будучи человеком прямым, он говорил в глаза сотрудникам КГБ, что ждет, чтобы это преступление против него было прекращено. В конце концов он поवेशился на рабочем месте.

Следующая группа — так называемые шпионы. Среди них и несколько бывших чекистов, якобы пойманных на связях с ЦРУ. Возможно, что они единственные установили какие-либо более серьезные контакты. Над «шпионством» остальных можно только посмеяться. В соседнем лагере одним из таких «шпионов» был Бумейстарс. Патриот Латвии. Знаю, что он хотел создать в Латвии социал-демократическую организацию.

— Судя по всему, скоро ему будет можно это сделать.

— Был я в одном лагере с Жанисом Скудрой. Осужден якобы за шпионаж. В чем его преступление? Собирал сведения о бывших волостях, обследовал разрушающиеся памятники, фотографировал разрушенные церкви, коллекционировал газетные вырезки по вопросам культуры. Он провел в лагерях не меньше восьми лет. Считался шпионом.

Но ошутнее всего лицо политической зоны определяли люди, осужденные за



1.



3.



7.



8.

антисоветскую агитацию и пропаганду с целью подрыва и ослабления советской власти. Многие из них имели высшее образование, были представители самых разных профессий, много творческой интеллигенции.

— Как часто и какая связь с родственниками?

— Письма домой можно писать один раз в месяц. Но они подлежат цензуре, мало радости знать, что тебя перечитывают, изучают твои переживания. Получать письма можно было без ограничений, только из-за границы ничего не приходило.

Один раз в году возможно длинное свидание — до трех суток. Короткое не имеет смысла. Кто понесется за тысячи километров, чтобы несколько часов побеседовать через решетку в присутствии надзирателей? Лишение большого свидания — это очень тяжелое наказание, администрация лагерей часто манипулирует этим якобы своим правом, таким образом сводя счеты с неприятными, непослушными заключенными. Иногда люди, даже зная, что свидание запрещено, все же едут со всеми детьми в эту даль. И их не пускают. Можно обойти кабинеты всех начальников — безрезультатно. За забором муж, иногда его извещают, что близкие рядом, но добиться ничего нельзя. Это ужасно. Всех приехавших на свидание, и женщин в том числе, подвергают такому же физиологическому осмотру, как и заключенных. Люди, которые не осуждены и не наказаны, вынуждены терпеть такое унижение.

Непримиримых «искателей правды» наказывали, лишая возможности делать покупки в магазине. На ничтожные заработанные денежки можно было купить кое-что из продуктов, письменные принадлежности, что-нибудь из одежды. В однообразной жизни магазин — это событие. Не говоря уже о посылках и бандеролях. Два раза в год разрешены бандероли весом до 1 кг и один раз в год посылка весом до 5 кг. Если отнять этот один-единственный раз... Бывает, что не совсем удобно наказывать человека за то, что он поднял голос. Находят другие причины. Пуговица не так пришита, воротник не застегнут. Днем запрещено сидеть на постели, только на табуретке. Человек забудется и присядет на кровать. Если надзиратель увидит, следует рапорт — и могут лишить и магазина, и посылки.

— Значит, система наказания в лагере...

— Самое страшное — это карцер. Мне довелось видеть, как от одного этого слова у мужчин постарше начинали трястись руки. Если в карцере назначают самый жесткий режим, выжить невозможно. Камеры в деревянной будке. Отопительные трубы вроде бы и подведены, но сколько-нибудь нагревается только одна камера. Спать на таком холоде невозможно. Надо двигаться, пока от переутомления человек не засыпает, а минут через десять опять просыпается от холода и голода. Опять надо двигаться. Сроки самые разные: 3—5—15 суток. Теплая пища через день, но пока донесут по морозу с кухни, тепла и в помине нет.

Обычная норма была 50—60 г крупы на литр воды. В пищу для карцера — 20 г крупы, практически вода, никакого жира, нормой предусмотрена одна капля масла, но мы эту разницу игнорировали, а адми-

нистрация смотрела сквозь пальцы. Хотя и знала, что для карцера отдельная еда не варилась. Иногда бывали разные недоразумения, тогда несколько дней надзиратели стояли рядом и контролировали, пока все снова не шло по старым рельсам. Наверное, это и есть так называемый русский бардак, когда по законам и статьям пора помирать, но непоследовательность соблюдения этих законов дает возможность выжить. И все же карцер — это нечеловеческая, очень тяжелая «мера перевоспитания», и, если даже посчастливится, здоровье подрывается на всю оставшуюся жизнь.

— Зимой 1985 года срок заключения приближался к концу...

— Когда к власти пришел Горбачев и начал говорить о гласности, демократизации, большинство заключенных только усмехалось. Мы читали газеты, смотрели программу «Время» — в воздухе чувствовались какие-то положительные веяния, хотя это могло оказаться и очередной кампанией.

Как-то днем меня вызвал надзиратель и повел в дежурку, где обычно ждут какие-то мелкие неприятности или еще что-то в этом роде. В такие моменты предчувствие посещает любого человека. Понял, что меня ведут оформлять документы на освобождение, и загрустил, что не попрощался с товарищами. Назад меня не пустили. Администрация лагерей не хочет допускать утечку информации.

На станции Чусовой по переполненному перрону меня вел специальный конвой — впереди офицер, с каждой стороны по солдату с оружием. Никто не старался спрятать меня от окружающих, возможно, что на станции Чусовой это повседневное зрелище. И дальше в пути со стороны охраны мне уделялось грандиозное внимание, временами даже начинал сомневаться, действительно ли везут на освобождение.

На Рижский вокзал прибыли 25 декабря. Был особенно взволнован тем, что наконец я в Риге, за окном свободно ходят люди, идут электрички на Юрмалу. В Комитет госбезопасности добрались поздно вечером. Встретили меня, как блудного сына. Разговоры — спокойные, дружелюбные. Пахнет одеколоном, вокруг чисто, уют. Кормили отменно. Под Новый год выдали даже пирог, его давали всем заключенным.

6 января 1986 года меня следовало освободить. Момент освобождения, конечно, забываем. Через парадные двери меня вывел высокий чин, подбегала сестра, мы немного поговорили, пока упомянутый офицер, нервно оглядываясь, не поторопил нас с уходом. Было довольно комично, хотя и понятно — вероятно, он опасался, что меня кто-нибудь может фотографировать. Мы не стали задерживаться. Покатились на машине по городу и поехали домой. Чувствовал себя, как после длительного утомительного сна. К повседневному ритму привык не сразу.

Я решил продолжить начатое — работать и в пределах возможностей продвигаться вперед, допуская вероятность того, что рано или поздно я все же могу опять попасть в лагерь.

Режим либерализовывался. Сразу после своего основания была арестована группа «Хельсинки-86», но выпущена. Были сведения, что кое-где выпущены политзаключенные. Например, еврейского активиста Анатолия Щаранского освободили до срока, правда, еще по старому методу — «вышвырнули» из Союза, даже не извест-

тив родственников. Но все же этот факт свидетельствовал об изменении ситуации.

В конце 1986 года вдруг был освобожден опасный преступник Рожжалнс. Стало ясно, что перемены — это реальность. Освободили Яниса Кирбу, Бориса Грезина, Роландса Силараупса, Гунарса Фрейманиса. Правда, их статус довольно двусмысленный — вроде помилованы, вроде нет: никакого чувства вины со стороны государства, тем не менее освобождены.

Первые документы группы «Хельсинки-86» мы приняли с восторгом, возможно, что они были несовершенно, но, несомненно, выражали боль и чаяния нашего народа. Насколько помню, Силараупс поехал в Лиепая, чтобы установить прямую контакт, и сразу вступил в группу. Структура группы тогда (теперь и структура рижского отделения) была хорошо продумана: одно — общественные представители на виду, другое — в эту группу многие могут вступить, публично не подтверждая свою принадлежность к ней.

— Какими после этих трех лет Вам показались люди, общество в целом?

— Не могу сказать, что почувствовал какие-то серьезные перемены. Большинство продолжало думать одно — делать другое. Все хотели выжить. Но во всем мире быстрыми темпами продолжался технологический прогресс, за которым этот режим просто не может поспеть. Контролировать способы получения информации становится все труднее, хотя бы видео, оно затрагивает интересы развлечения человека, эту информация свободных людей, которую никакая власть или организация не имеют права запретить. Решили, что тут нам нечего суетиться, эту работу за нас сделают коммерческие круги.

— Сейчас Вы представитель рижского отделения «Хельсинки-86», член ДННЛ. По-моему, именно «календарные беспорядки» — 14 июня и 23 августа 1987 года — послужили катализатором активизации самых разных социальных слоев, повлияли на образование будущих общественно-политических организаций, привозгласили новое время в Латвии.

— Предложение помянуть жертвы депортации 14 июня поступило от Линардса Грантиньша. Но это было не все. Мы хотели проверить, последует за нами народ или нет, сохранились ли в народе хотя бы минимальное самосознание, жажда свободы, смелость. Это была проверка, жив ли еще народ.

Незадолго до этого Линардс Грантиньш, Мартиньш Барис и Раймондс Битениекс были изолированы, но благодаря построению группы подготовительная работа от этого не пострадала.

Мы не знали, чем все может кончиться, были готовы к арестам. Прыжок в темноту — так можно назвать наши ощущения тогда. Поэтому за несколько дней до 14 июня все вместе пошли на Братское кладбище сфотографироваться.

Подошло 14 июня. Я думал, придет человек пятьдесят, и это уже будет много. Я осознавал — даже если никто не придет, я должен идти. Но на Бастионной горке был просто удивлен.

Глупо трезвонить, что эта «акция» якобы «инспирирована западными радиостанциями». Разве мы имели возможность в 1987 году известить о ней через местные средства массовой информации?

КГБ тоже по-настоящему не был готов к этому событию. Они не верили, что нам удастся реализовать задуманное, надеялись, что народ застыл в страхе. Хотя на

всякий случай у памятника Свободы устроили спортивные соревнования, чтобы было объяснение на тот случай, если там появятся люди.

— Да и кампания по «реабилитации» самого памятника Свободы буквально за несколько дней до 14 июня: после многих лет — изображение памятника в газетах, впервые на телевидении. Казенные цветы, праздник велосипедистов...

— Вначале я сомневался, не пришли ли эти многочисленные люди на праздник велосипедистов. Но когда увидел, что они стоят и оглядываются по сторонам, словно чего-то ждут, что они пришли только с одной мыслью — поддержать нас, это было мгновение большого волнения и удовлетворения. Наконец свершилось.

Представители «Хельсинки-86» стояли с цветами в руках, и на лентах впервые в послевоенной Латвии было написано «Боже, благослови Латвию» и «Отчизне и Свободе». Вспоминаю это как сон. Когда надо было подойти к памятнику, люди образовали живой коридор. За представителями «Хельсинки-86» толпа сомкнулась плотной массой. Впереди много поднятых рук с красно-бело-красными цветами. Впервые я чувствовал, что я в своем городе среди единомышленников.

Помню некоторые старые фотографии. В 1941 году, когда Красная Армия уже ушла, а немцы по-настоящему еще не вошли, люди стихийно пришли к памятнику Свободы, молились Богу, оплакивали вывезенных, убитых, само государство Латвию. Оба эти момента объединяются, сравниваются. И вот это свершилось, и я это пережил! Старушки тоже говорили — теперь и помирать можно, случилось то, о чем мечтали все эти годы.

Исчезло различие поколений, оно не имело больше значения. Народ продемонстрировал свое упрямство и свои взгляды, показал всему миру, и прежде всего себе, что не сломен и не верит лжи.

Перед 23 августа в печати была шумная кампания против «Хельсинки-86». Одновременно и давление на бывших политзаключенных, чтобы они по возможности быстро покинули Латвию. Некоторые раньше сами того хотели. Как позже сказал Гунарс Астра — он не желает покидать Латвию, но если бы ему предложили выбор: или тюрьма, что означает медленную физическую гибель, разложение, или изгнание, то он, конечно, отправился бы в изгнание. Так думали и эти уезжающие, считали, что здесь свое сделали. Мы все считали, что через несколько месяцев нас всех опять загребут. К тому же было недвусмысленно заявлено, что их безопасность здесь больше никто не гарантирует.

О 23 августа мнения разделились. Часть считала, что не надо искать судьбу, что начатое надо продолжать во внешне менее заметных формах, что повторение не нужно. Однако 14 июня поразило эстонцев и литовцев. Естественно, мы присоединились к соседям 23-го.

В этот день наиболее активные представители «Хельсинки-86» фактически были изолированы. Группа объявила, что цветы будет возлагать после обеда. Но еще утром не знали, как быть, нас строго предупредили, что задержат. Некоторые хотели возложить цветы сразу, пока власти еще разрешают. В конце концов решили идти в назначенное время. Там же, в доме на бульваре Падамью, жила семья Гинтерсов, где люди и остались дожидаться. Дом окружили, на лестницу ворвались сотрудники КГБ и лица в милицейской форме,

никого не выпускали и не выпускали, квартиру блокировали. Чтобы сообщить о случившемся, люди написали на простыне «Здесь заточена «Группа Хельсинки» и вывесили в окно. Карауливших это разъярило до такой степени, что они стали озверело бить, пинать двери квартиры, пока не сломали их. Обхождение было очень грубым, на вопрос Рожкалнса, сознают ли они, что делают, ведь они нарушают конституционные нормы, последовал ответ: да, знаем, ну и что? Полная вседозволенность. Людей закидали в машины и увезли в Главное управление милиции.

Тем временем к памятнику направлялось все больше людей. Дальнейшее знают все, последовала грубая расправа.

Несколько штрихов к теме «власть и человек». Для устрашения были вызваны пожарные машины. Пожарные направили шланги на автобусы, пускавшие выхлопные газы, так как было впечатление, что они горят. И, надо отдать им должное, когда последовал приказ направить ленту на людей, а не на автомобили, пожарные отказались это делать. Допускаю, что некоторые переживания были и у кое-кого из шоферов автобусов.

— Каковы были и есть Ваши взгляды на официальную интеллигенцию Латвии?

— Нынешнее поколение латышской интеллигенции не имеет настоящей генетической связи с предыдущим поколением, большинство которого в 1944 году отправилось на чужбину, а оставшиеся погибли в Сибири. Положение интеллигенции — жизнь в продиктованной временем ситуации — особенно незавидно, и все же...

Прошлое в основном можно охарактеризовать коротко — молчание, согласие, «кесарю кесарево» — выживание. Все же мы следили за каждой строчкой, охотились за подтекстами, иносказанием, чтобы удостовериться, что хотя бы глубоко в сердце этот человек истинный. Помню, 14 июня видел некоторых актеров. Был и Маврик Вулфонс, правда, тогда еще в роли оппонента. Присутствие известных народу людей радовало. Необычайно ободряющим был номер «Литература ун Максла» перед 23 августа с фотографией памятника Свободы на первой странице, да и по содержанию однозначный. Тогда я понял — да, и они наконец присоединились. 23 августа у памятника были музыканты, актеры, журналисты. Люди, конечно, это заметили, и это поддерживало, создавало чувство единения.

— Каков сейчас и каким должен быть, по-Вашему, статус Латвии? Возможно ли вернуть государственность Латвии в «борьбе за духовное освобождение», какими путями следует идти, и считаете ли Вы, что свободная и независимая Латвия (в незапятнанном смысле этого понятия) возможна как близкая реальность?

— Еще лет 5—6 назад я думал, что совершенно безразлично, каким путем мы вернем государственность Латвии. Теперь я познакомился с нормами международного права и законами, поэтому считаю, что крик о независимости Латвии уже не столь важен, нужно быстрее разрабатывать правовой план ее реализации.

Люди, агитирующие за выход Латвии из СССР, заблуждаются: раз мы требуем выхода, то автоматически признаем законность вступления. Если мы то говорим об оккупации, то умалчиваем о ней, это означает, что новую Латвию опять начинаем строить на лжи.

Должно быть твердое убеждение: Латвия в 1940 году была оккупирована,

нынешнее правительство России, которое, конечно, непосредственно не виновато в происшедшем, все же должно признать совершенное преступление. Если оно действительно хочет быть составной частью цивилизованного мира, оно должно исправлять допущенные ошибки. Прежде всего эта власть должна назвать себя оккупационной, а Латвии, Литве и Эстонии следует присвоить статус оккупированных территорий. Положение, конечно, сложное. Наши экономики тесно связаны, вернее, искусственно зависят одна от другой, здесь есть граждане СССР, за несколько месяцев невозможно ничего изменить. Это надо делать постепенно, спокойно, сотрудничая с оккупационной властью. Даже существующее положение может сохраняться довольно долго, только тогда иллюзорное определение «Латвийская ССР» надо заменить на фактическое — «оккупационное управление», которое может нам разрешить максимальное самоуправление. А потом, при полном согласии с ООН, в присутствии международных наблюдателей постепенно, не оскорбляя граждан СССР, мы сможем провести демонтаж оккупационного управления, заменив его на органы независимого государства Латвии. Аналогичный процесс проходил в Родезии, нынешней Зимбабве и Намибии. Он возможен и здесь. Это единственный способ избежать лжи. Правительство СССР одним махом решило бы все дипломатические осложнения, непрерывно появляющиеся в связи с существованием двух Латвий: Латвийской Республики, которая по сей день существует de jure и которую признает почти весь мир, и Латвийской ССР.

Горбачев призывает называть вещи своими именами. Но нужна вся правда. Если какая-то часть правды будет скрыта, рано или поздно это обернется против нас. Мы ведь не требуем ничего больше того, что нам положено. К тому же экономически поистине суверенные Балтийские страны для России были бы гораздо выгоднее, чем выданные республики. Мы будем хорошо работать только тогда, когда будем взаимно свободны, тогда расцветут таланты всех наций. Пример Финляндии. Неужели нет ни одного экономиста, который бы провел реальные расчеты и на которых могла бы в известной мере основываться внешняя политика России? Ведь и сама Россия должна цивилизоваться.

Пришло время не допускать даже маленкой лжи из тактических соображений. Мы должны говорить то, чего на самом деле хотим. Иначе в мире сложится о нас странное представление.

«Здоровые силы», сторонники принципа меньшего зла, нередко занимающие в обществе видное положение, обычно указывают на второй путь — т. е. совершение соглашения союзного договора, не выдвигая факт оккупации в качестве исходного для решения проблем. Пусть они действуют в соответствии со своими взглядами, только в таком случае не следует забывать добавить одно предложение: так надо делать потому, что правительство СССР не соглашается на истинную независимость Балтийских государств, и этот компромисс является единственным реальным шагом, который можно сделать в настоящей ситуации. Без этого объяснения создается новая ложь, к тому же собственная, и это навязанный союз, в котором мы, несомненно, проигрываем.

«Авотс» представляла
РУДИТЕ КАЛПИНЯ

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР СТАНИСЛАВОМ ЗУКУЛИСОМ

— Может быть, для начала расскажете немного о себе.

— Я родился в Риге, в рабочей семье. До начала войны окончил четыре класса. С 1941 по 1946 год находился в эвакуации в Новосибирской и Томской областях, там я продолжил учебу в начальной школе. После возвращения окончил среднюю школу, в 1954 году — юридический факультет ЛГУ. Уже находясь на работе в Комитете госбезопасности, я год учился в специальной школе в Ленинграде, потом еще два года в Москве. После окончания школы я находился в длительной зарубежной командировке. В республику вернулся только в конце 60-х годов. Я продолжил службу в КГБ в качестве руководителя отделения и отдела. В мае 1984 года назначен председателем. Таким образом, моя деятельность на этом посту совпала с началом процесса перестройки в государстве.

— Каковы задачи КГБ на данный момент — стратегические и тактические? Если не секрет, примерно сколько человек работают в Комитете, чем они занимаются?

— Вкратце сформулировать задачи КГБ, охватывая и стратегию, и тактику, можно следующим образом:

— разоблачать подрывную деятельность разведслужб капиталистических стран, а также враждебные экстремистские акции антисоветски настроенных граждан, направленные на подрыв и ликвидацию существующего строя;

— обеспечивать сохранность военной и государственной тайны, в том числе в сфере науки и техники;

— совместно с частями пограничных войск обеспечивать неприкосновенность границ нашей страны;

— бороться с терроризмом, диверсиями, контрабандой и другими преступлениями, входящими в компетенцию КГБ;

— своевременно раскрывать и пресекать действия, чреватые чрезвычайными происшествиями на железнодорожном, воздушном и морском транспорте (катастрофы, аварии, захват воздушных и морских кораблей), которые могут повлечь за собой тяжелые последствия, в том числе человеческие жертвы.

Приведу пример. Пару лет назад в КГБ поступила информация о том, что в Рижском аэропорту в одном из пассажирских самолетов находится взрывное устройство. В тот момент пассажиры уже находились в самолете и готовились к вылету. Пришлось в срочном порядке отменить рейс, эвакуировать людей, тщательно проверить самолет и загруженный на борт багаж. Был также проведен оперативный поиск. Так как информацию мы получили по телефону, и судя по голосу, — звонил человек молодой, возникла версия, что он намеревался разыграть кого-то знакомого из пассажиров. Позднее версия подтвердилась. Могут только добавить, что такие «шутки» наносят материальный ущерб и психически травмируют людей. В то же время невозможно заранее предугадать, насколько подобная информация соответствует истине, поэтому наш долг в каждом случае тщательно проверять факты. В связи с нанесенным материальным ущербом и дезорганизацией

полета упомянутый «шутник» был привлечен к уголовной ответственности за злостное хулиганство. Мера наказания — лишение свободы на три года, но, учитывая возраст обвиняемого Александра Брука (1970 г. рожд., учаш. ПТУ), приведение в исполнение приговора было отсрочено на два года. Насколько нам известно, потом этот молодой человек был привлечен к уголовной ответственности за совершение другого преступления.

В 1987 году КГБ предотвратил попытку вооруженного захвата быстроходного морского судна типа «Комета» еще в стадии подготовки преступления, группа людей хотела на нем бежать за границу. В опасности находились здоровье и жизнь пассажиров, могло произойти кораблекрушение.

Совместно с работниками таможни в транзитном грузе была обнаружена контрабанда — 1200 кг гашиша стоимостью 22 миллиона долларов. Материалы мы передали Интерполу, чтобы за рубежом разоблачили международных торговцев наркотиками.

В нынешних условиях актуальным становится такой вид государственного преступления, как разжигание национальной розни. Незапрещенные вопросы межнациональных отношений в результате организаторской деятельности отдельных экстремистски настроенных лиц вызвали нарушения общественного порядка, нежелательные столкновения в различных регионах СССР и привели к тяжелым последствиям. Жизненно важная задача КГБ — обнаруживать назревающие конфликты и информировать о них правительство, партийные и общественные организации, чтобы была возможность устранить их причины политическими средствами.

Широкой общественности неизвестно, что уже после XX съезда КПСС КГБ проводит большую работу по реабилитации ранее необоснованно осужденных граждан. Особенно активно мы занимаемся этой работой в последние годы, но все же надо признать, что продвигается она медленно, хотя и не по нашей вине. Хотелось бы напомнить, что по вопросам личной реабилитации или реабилитации родственников в связи с необоснованной судимостью граждане должны обращаться с заявлением в Прокуратуру Латвийской ССР, где эти заявления рассматривают и в случае необходимости в более тщательной проверке материалы направляют в КГБ. Потом они передаются в суд, который выносит решение по существу.

Хочу подчеркнуть, что цель КГБ не в том, чтобы наказать человека, а чтобы не допустить совершения государственного преступления, предотвратить его в стадии, когда лицо только готовится его совершить. Я уже упомянул о своевременном раскрытии подготовки к вооруженному захвату «Кометы». Так как преступление было предотвращено еще в стадии подготовки, уличенные лица к уголовной ответственности привлечены не были, они получили строгое предупреждение.

Относительно численного состава работников КГБ могу сказать, не упуская из виду специфику нашего учреждения, что

об этом будет проинформирован соответствующий комитет или комиссия Верховного Совета Латвийской ССР, которая, очевидно, будет создана в соответствии с Конституцией республики. Конечно, если комиссия сочтет это необходимым.

Неоднократно в радио- и телепередачах я слышал, что в сороковом и сорок первом годах в Латвии действовали печально известные «особые тройки», которые вместо суда решали судьбы людей. Заверяю, что у нас такие не действовали, хотя до 53-го года участь отдельных жителей Латвии решалась на так называемых «особых совещаниях».

— Чем отличались «особые совещания» от «троек»?

— «Особые совещания» принимали решение. «Тройки» никакого решения не принимали. В первых работали юристы, во вторых обычно принимали участие представитель обкома (первый секретарь), прокурор и начальник ЧК.

— Ваше мнение о суверенитете Латвии и о многочисленных неформальных организациях. Я имею в виду Народный фронт, Интерфронт, Клуб защиты окружающей среды, ДННЛ.

— Считаю, что по существующей Конституции СССР и Латвийской ССР суверенитет республики является практически всего лишь декларацией, он не обеспечен реально и всесторонне. Полностью поддерживаю предложения о поправках к Конституции в пользу суверенитета республики, выдвинутые на Съезде народных депутатов СССР Анатолием Горбуновым. Это означает возвращение к ленинским принципам федерализма. Союз должен быть добровольной федерацией суверенных социалистических республик, которая могла бы основываться на союзных договорных отношениях. Надеюсь, что решения по этому вопросу будут приняты уже на ближайшей сессии Верховного Совета Латв. ССР.

Об отношении к общественным организациям. Поддерживаю все те силы, которые способствуют перестройке, расширению демократии и гласности. У нас много нерешенных проблем. Общественные организации обоснованно обращаются к проблемам экономики и экологии, наиболее важным вопросам межнациональных отношений, языков, культуры и др., к необходимости усовершенствовать законодательство, чтобы создать действительно правовое государство. К сожалению, во многих общественных организациях есть и чрезмерно радикально настроенные элементы, чья деятельность порой вызывает необоснованное и ненужное обострение политической ситуации, может спровоцировать стычки с тяжелыми последствиями.

О ДННЛ... Считаю, что это движение — реальность, с которой надо считаться. Следует учитывать, что 2-й съезд этого движения частично пересмотрел программу, формулировку устава и отдельных положений и привел их в соответствие с Конституцией республики и международными договорами. Когда документы, принятые на этом съезде, будут официально обнародованы, ВС решит вопрос о дальнейшей деятельности ДННЛ. Надеюсь, что

в августе, когда выйдет журнал, и этот вопрос будет уже решен.

— Как перестройка сказывается на КГБ? Что это означает, как это понимать и как это реализуется на деле?

— Как и во всех сферах нашей жизни, в КГБ происходит перестройка. У нас появился новый подход и оценка происходящих во всей стране и республике процессов политизации масс в результате развития демократизации и гласности. Перестройка ставит перед КГБ новую, важную задачу — защищать этот процесс. Сейчас одним из самых важных вопросов является повышение требований к кадрам Комитета. Я имею в виду умение наших сотрудников работать в новых условиях, в новой политической и нравственной атмосфере, создавшейся в обществе. Стараемся добиться того, чтобы сотрудники сумели отказаться от стереотипного мышления. Особенно важно постоянно повышать профессионализм, уровень компетентности и правовой культуры, категорически соблюдать требования закона. В последние годы расширилась связь КГБ с трудовыми коллективами, общественными организациями и средствами массовой информации. Активно способствуем гласности в вопросах, касающихся нашей работы, ее отображению в прессе, в передачах радио и телевидения. К сожалению, порой в прессе появляются непроверенные материалы. Важно, чтобы народ знал и понимал, с чем и почему борются работники КГБ, при необходимости даже рискуя жизнью. Могут сказать, что в Комитете создана группа для сотрудничества со средствами массовой информации.

— Располагаете ли Вы информацией о реальных попытках создать угрозу перестройке и демократизации в Латвии? Что делает или, возможно, уже сделал КГБ, чтобы ничего подобного не произошло?

— Процесс перестройки необратим и исторически объективен. Все-таки нельзя забывать, что есть люди, которые пытаются помешать этому процессу. Вот пример. В июне прошлого года после пленума творческих союзов и митинга 14 июня многие редакции республиканских газет получили отпечатанные на русском языке листовки с открытыми призывами к вооруженной борьбе с советской властью. Их подписали анонимные «Рижские патриоты». Важно отметить, что эти документы появились накануне пленума ЦК КПЛ, и очевидно, их цель была повлиять на ход работы пленума и на его решения. Немногим позже подобные документы распространялись уже от имени Интерфронта. По факту распространения вышеупомянутых анонимных документов, подстрекающих к национальной вражде между народами Латвии, Прокуратура Латв. ССР возбудила уголовное дело. Принимая во внимание опасность содеянного и его политический резонанс, работники КГБ активно провели оперативный розыск. Была проделана большая по объему работа, в результате которой выяснилось, что автором и распространителем вышеупомянутых документов по всем признакам является корреспондент «Учительской газеты» по республикам Прибалтики В. Курмаев. Тщательно проверили, нет ли у него единомышленников и не совершено ли это преступление организованной группой лиц. После того как мы удостоверились в том, что В. Курмаев совершил его один, в январе этого года КГБ передал собранные материалы в Прокуратуру республики, которая провела дальнейшее расследование уголовного дела. Насколь-

ко мне известно, 8 июня этого года гражданину В. Курмаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 69 статьей Уголовного кодекса Латвийской ССР. За разжигание национальной розни.

— Астра, Доронина-Ласмане, Цалитис, Зиемелис, Фрейманис, Веверис, Рожкалнс, Грантиньш, Силарулис и др. Еще недавно этих людей судили как диссидентов и шпионов. Как Вы это расцениваете с сегодняшних позиций?

— Лиц, привлеченных к уголовной ответственности с 60-х годов до начала 80-х, судили не как диссидентов, т. е. «инакомыслящих», а в связи с конкретными фактами их деятельности, соблюдая действовавшее в то время законодательство. Эти дела были рассмотрены на открытых заседаниях Верховного суда республики. Суд и установил меру наказания.

Как я уже упомянул выше, отношение КГБ и его работников к подобным делам изменяется в соответствии с изменениями в общественном мнении, в результате чего сейчас пересматривается уголовное законодательство. Уже опубликован и вынесен на обсуждение проект Основ уголовного законодательства. Готовится закон и о государственной безопасности, который определит статус КГБ и его место в нашем обществе. Все же, чтобы вести разговор об упомянутых людях, нужно рассматривать каждое дело в отдельности. Тут нельзя так... всех вместе... Эти люди или их близкие могут только в порядке, установленном законом, обратиться в Прокуратуру для рассмотрения вопроса об их реабилитации.

— Еще несколько лет назад и красно-бело-красный флаг, сейчас реабилитированный, и многие литературные произведения, ныне опубликованные, и известного рода разговоры в кулуарах, которые теперь позволяют себе публично вести даже самые высокопоставленные партийные работники, могли привести и приводили людей на скамью подсудимых. Как Вы расцениваете это резкое изменение ситуации? Как ее расценивают Ваши сотрудники, в то время старательно выполнявшие свои обязанности? Или они больше не работают в КГБ?

— В соответствии с законодательством, действовавшим до сих пор, действительно понесли наказание отдельные граждане, им вменялись в вину такие действия, как вывешивание красно-бело-красного флага в общественных местах, изготовление и хранение в целях распространения и распространение клеветнической литературы, порочащей советский государственный и общественный строй. Деятельность подобных лиц оценивали и определяли им меру наказания судебные органы на основании 65 статьи Уголовного кодекса Латвийской ССР (антисоветская агитация и пропаганда). В связи с процессом демократизации и гласности в нашей стране, работой над созданием правового государства пересматривается уголовное законодательство, я об этом уже упоминал. Также пересматривается законодательство о государственных преступлениях. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 года в закон об уголовной ответственности за государственные преступления внесены поправки, и в связи с этим вышеупомянутая 65 статья Уголовного кодекса Латвийской ССР отменена. Следует отметить, что в последние годы в нашей республике ни одно лицо по этой статье

к уголовной ответственности не привлекалось.

— Вы сказали — клеветническая литература. Кто это был, кто мог отличить клеветническую литературу от неклеветнической?

— Следователи, эксперты. Окончательное решение принимает суд.

— Но произведения в то время названы клеветническими, теперь выясняется, больше таковыми не являются. Отношение работников КГБ изменяется в соответствии с изменениями в обществе, но все-таки в законодательстве в целом (кроме упомянутых вами примеров) по существу ничего не изменилось. В основном сегодня в силе то же самое законодательство. Не ставит ли это КГБ, мягко говоря, в щекотливую ситуацию?

— Да, это так. Ведь законы не отменены. Но, например, статья 181¹ Уголовного кодекса Латв. ССР* практически не применяется. Ждем нового законодательства.

— Немного о «мелочах жизни», которыми общественность все-таки интересуется. Например, прослушиваются ли телефонные разговоры, перлюстрируется ли переписка, можем ли мы чувствовать себя в безопасности в своих квартирах и действительно ли из каждых трех один доносчик, сотрудничающий с руководимым Вами Комитетом? Что Вы думаете о тех, кого в народе называют стукачами? То есть считаете их информаторами или доносчиками?

— Вся деятельность КГБ проходит строго в рамках Конституции. Основываясь на Уголовно-процессуальном кодексе Латв. ССР, в связи с расследованием уголовного дела следователь имеет право с санкции прокурора наложить арест на корреспонденцию конкретного лица, получаемую им по почте и телеграфу, если это лицо имеет отношение к расследуемому делу. С санкции прокурора следователь может также провести обыск в квартире и на рабочем месте соответствующего лица. Из опыта могу сказать, что разведслужбы капиталистических стран в своей деятельности, направленной против нашего государства, используют новейшие достижения науки и техники. Поэтому и КГБ, защищая интересы государства и общества, применяет свои профессиональные средства, в том числе технику. Но у нас не царит «шпиономания», и в условиях наших дней, когда люди могут свободно выражать свои мысли, нет никаких оснований для тотальной слежки за гражданами, как это, к сожалению, кое-кто себе представляет.

КГБ не смог бы работать и справляться с выдвинутыми перед ним задачами без поддержки народа, без постоянных связей с трудящимися. Ежегодно в Комитет по разным вопросам обращаются тысячи человек. Всех граждан внимательно выслушивают ответственные работники. Полученная от граждан информация о конкретных фактах и признаках преступления тщательно проверяется. Хочу отметить, что нельзя оскорблять тех советских граждан, которые оказывают конкретную помощь Комитету в раскрытии и расследовании входящих в его компетенцию государственных преступлений. Ваш термин «доносчик» ассоциируется с термином «деунциатор», т. е. клеветник. Это, очевидно, пережиток мрачных лет сталинизма в сознании людей, когда было достаточно лож-

* Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

ного доноса, чтобы человек попал в тюрьму или еще хуже. Я хотел бы привести другой пример. Всем известно о преступлении, совершенном в Орджоникидзе группой преступников под руководством Якшиянца, когда в качестве заложников в руки бандитов попали дети. Как позже выяснилось, об этом преступлении еще в стадии его подготовки было известно нескольким взрослым, вполне разумным людям, но ни один не счел нужным об этом своевременно сообщить. Думаю, такой поступок заслуживает порицания обществу.

КГБ оберегает интересы государства, его безопасность. Поэтому он должен своевременно получать информацию о намерениях зарубежных разведслужб относительно нашей страны. Было бы наивно утверждать, что свои обязанности выполняют только профессиональные сотрудники КГБ. Другие советские патриоты тоже в сложных, порой экстремальных условиях выполняют в интересах безопасности государства задания КГБ.

— Вы упомянули почту. Чем объяснить то, что приходящие из-за границы бандероли редакция журнала «Родник» си-

стематически получает в разорванном виде. Или тут виновата почта?

— В этом повинны только работники связи. Мы и не смогли бы реализовать такой тотальный систематический контроль, и это нам совершенно не нужно.

— Кому подчинен КГБ? Из каких средств он финансируется? Кто именно направляет и контролирует его деятельность? Перед кем отчитывается?

— По существующему статусу КГБ Латв. ССР как союзно-республиканский государственный комитет подчинен Совету Министров, Верховному Совету, а также КГБ СССР. Мы работаем под руководством партии, и партия контролирует нашу работу. О своей работе отчитываемся перед вышеуказанными инстанциями. Как составная часть военного ведомства СССР, КГБ финансируется из средств всесоюзного бюджета. Наша работа касается интересов граждан, поэтому деятельность КГБ в этой части находится под постоянным надзором Прокуратуры. Строго соблюдаем существующие законы. Каждая допущенная ошибка, нарушение законности являются чрезвычайным происшествием, за что несут суровое наказание работники

любого ранга. Утверждаю, что у нас уже несколько лет не было нарушений социалистической законности.

— Никким образом не допускаю мысли, что прогрессивные силы в нашей стране могли бы остаться в проигрыше. Но если все-таки... какую позицию, по-Вашему, в такой ситуации займет КГБ? Не будут ли его сотрудники, находящиеся в строю уже не один год, снова, только еще более старательно, выполнять приказы сверху, как это было десять, тридцать или пятьдесят лет назад?

— КГБ поддерживает и защищает происходящий в стране процесс, во главе которого стоит Генеральный секретарь КПСС и Председатель ВС СССР Михаил Горбачев. Считаю, что процесс демократизации в нашей стране необратим. Учитывая резко возрастающую политическую активность народных масс, могу только добавить, что ход истории назад не повернешь. Поэтому высказанные Вами опасения и догадки безосновательны.

Вопросы задавал
АЙВАРС КЛЯВИС

КТО МЫ И КУДА ИДЕМ?

ИНТЕРВЬЮ С ФИЛОСОФОМ ВИЛНИСОМ ЗАРИНЫШЕМ

Журнал «Авотс» представляет Тина Гринберга

Авотс. Как бы Вы охарактеризовали теперешний период нашей жизни?

В. З. Если в нескольких словах, то это время, когда нижние слои нашего общества больше не хотят жить по-старому, а верхние уже не могут по-старому управлять. Подобное положение вещей явилось результатом самоотверженных усилий многомиллионных масс, зорко руководимых выдающимися государственными мужами.

Авотс. Убеждены ли Вы в объективности Вашей оценки?

В. З. Оценивая события общественной жизни, невозможно быть равно внимательным и понимающим по отношению ко всему и всем. Можно стараться быть честным по отношению к себе, однако свои симпатии и интересы полностью проигнорировать невозможно. Особенно трудно судить о событиях, свидетелем и участником которых являлся сам. Но все же, если все люди какого-то периода времени будут лишь молчать, то люди иных времен и стран никогда не смогут понять, что именно и почему произошло. Различных суждений о нашем столетии уже столь много, что еще одна констатация, пусть и не свободная от субъективности, ничего существенно не изменит.

Авотс. Почему, по Вашему мнению, в Латвии образовались Народный фронт и иные неформальные организации?

В. З. После пленума творческих союзов, прошедшего в начале июня 1988 года, процесс демократизации, или — как определяют

его другие — либерализации, происходит в Латвии главным образом по инициативе снизу, при сравнительно широком участии общественности. За это время сформировалась значительная сила, способствующая демократизации, — Народный фронт. Несколько позже образовался конгломерат различных неоднородных консервативных слоев, так называемый «Интернациональный фронт трудящихся», ставший наиболее заметной со стороны консервативной силой сегодняшней Латвии. Иной раз малоинформированные либо сознательно необъективные люди упоминают эти фронты в одном ряду либо противопоставляют один другому. Даже в центральных газетах мне приходилось читать, что Народный фронт организует главным образом латышей, а Интерфронт — жителей Латвии иных национальностей. Подобное утверждение полностью ошибочно.

Народный фронт — это сила, которая способствует пробуждению общественного сознания не только латышей, развитию культуры и возрождению не только латышей, но и остальных живущих в Латвии национальностей, в то время как Интерфронт во многих вопросах, а в особенности — в национальном переживает стандартные рецепты сталинского шовинизма. Интерфронт выступает и против наиболее квалифицированных и демократически настроенных представителей русской культуры в Латвии, к культурным же устремлениям других народов относится откровенно враждебно. Поэтому у этой организации нет ничего общего ни с интернационализмом, ни с интересами трудящихся.

Немного ближе к истине мнение, что, независимо от их национальной принадлежности, Народный фронт главным образом образуют постоянные жители Латвии, а Интерфронт — в основном мигранты. Но и это заключение требует уточнений, поскольку наиболее ценная часть мигрантов либо уже нашла дорогу в Народный фронт, либо занимает выжидательную позицию, при этом не вступая ни в какие отношения с Интерфронтом.

Народный фронт в Латвии необходим потому, что традиционные общественные структуры растеряли авторитет как в результате своих грубых ошибок, так и по причине эгоизма и необъективности своих работников. Если бы не было Народного фронта и других демократических народных организаций, то общественные противоречия в Балтии приняла бы такие же формы, как на Кавказе, если не более острые, поскольку здесь миграция и иные формы механического привлечения людей развивались более интенсивно.

Автос. Часто высказывается мнение, что само слово «мигрант» является обидным, уничижительным. Оно задевает человеческое достоинство. Приехавших следует называть новоприбывшими, гостями, колонистами или еще как-то иначе. Ваше мнение?

В. З. Под «мигрантом» я подразумеваю человека, который сменил свое местожительство, который оставил свою родину и переселился в другую страну. Это, конечно, не почетное звание, но и не уничижение, просто констатация факта въезда. Во многих странах, в США в том числе, различают даже различные поколения мигрантов.

Мигранты первого поколения, особенно в начале своего пребывания на новом месте, ощущают себя на чужбине. Они не знают ни обычаев, ни образа жизни новой родины, часто недостаточно хорошо знают и язык, поэтому полноценно включиться в жизнь новой родины не могут. Находясь в духовном дискомфорте, мигранты первого поколения сближаются главным образом со своими бывшими земляками, иногда становятся сварливыми, даже агрессивными, легко деморализуются. Но есть среди них и те, кто духовный дискомфорт компенсирует большими успехами в работе, науке, искусстве, накоплении имущества и других родах деятельности, требующих длительного напряжения.

Для второго поколения мигрантов (и для тех, кто на новое место приехал в детстве) существуют как бы две родины. Они нередко свободно владеют языками как старой, так и новой родины, в культуре же обычно преуспевают меньше, чем их родители и впоследствии их дети, поскольку сами родители вынуждены бороться за выживание в чужих условиях и, следовательно, не могут уделять большого внимания воспитанию детей. Разумеется, здесь нет недостатка в исключениях.

Мигранты третьего поколения уже идентифицируют себя с новой родиной, отличаясь при этом от коренного населения тем, что более или менее совершенно владеют языком своих дедов и «изнутри» чувствуют культуру предков. Из среды таких людей выходят наилучшие переводчики сложной художественной литературы, а также философских сочинений на язык новой родины. Иногда с этим хорошо справляются и мигранты второго поколения.

Автос. Но если многим не по душе само слово «мигрант», нельзя ли заменить его другим?

В. З. В сороковые годы, сразу после войны, мигрантов в Латвии прозывали «англичанами», поскольку в газетах того времени много писали о бесприютных англичанах, которые скитались в поисках лучшей жизни. И это тоже считалось нетактичным. Не по отношению к англичанам, живущим в Англии, но по отношению к пришельцам, для которых оскорбительным могло показаться их сравнение с империалистами Запада. По мне, так мигрантов можно звать хоть золотыми жаворонками или горячо любимыми друзьями, но нанизыванием красивых фраз реальность не изменишь, поскольку она оскорбляет куда более, нежели название вещей своими именами.

Часть приезжих, впрочем, можно освободить от этого слова, уточнив их статус. Миграция — это перемещение людей между равноправными странами, территориями и т. д. Мигранты стараются по возможности быстро и оптимально включиться в новую среду и не вступать в чужой монастырь со своим уставом. Если речь идет о прибывающих на землю, подчиненную не правовым порядкам, то приезжие местным языком, образом жизни и т. д. овладевать не стараются, но стремятся навязать местным жителям свои. В этом случае речь идет не о миграции, но о колонизации. Типичным примером колонизации были французские поселения, существовавшие со второй половины XIX века по шестидесятые годы XX в Алжире. Выходцам из Франции, а также офрануженным выходцам из Испании, с острова Мальта, и из прочих стран Средиземноморского бассейна отводили — в случае, если те признавали себя франкоговорящими, — лучшие земельные участки и наиболее удобные для застройки кварталы в городах, прогнав предварительно оттуда местное население. Их охотно принимали на работу в административные учреждения, работавшие на французском языке. На французском же велось и делопро-

изводство хозяйственных учреждений — чтобы французские инспекторы, не желавшие учить местные арабский и берберский языки, не испытывали трудностей при проверках. В результате подобного положения вещей те немногие инженеры и специалисты арабского происхождения, которые свое образование получили во Франции (поскольку иного просто не было), ничего толком не могли объяснить своим соотечественникам: арабский язык в покоренном Алжире был исключен из пользования как в фундаментальных науках, так и в государственных учреждениях, в высших и средних учебных заведениях и т. д. На французском языке выходили и самые крупные, хорошо информированные газеты. Когда Алжир обрел реальный суверенитет, ситуация существенно изменилась, и большинство французских колонистов, за время жизни трех-пяти своих поколений не сумевшие или не захотевшие включиться в местную жизнь, но лишь диктовавшие свои условия, вернулись на родину своих настоящих либо вымышленных предков, во Францию, верность языку которой они сохранили.

Я не знаю, сколько в Латвии таких пришельцев, кто не желает учить латышский язык, не хочет овладеть латышской культурой, но намерен лишь диктовать свои условия. Мне кажется, что таких людей, которые могли бы претендовать на звание колониста, не очень много, поэтому большинству следует оставаться мигрантами, пока не придумано слово поблаговзвучнее.

Следует помнить, что и слова «коренной житель» не могут автоматически гарантировать уважения. Как и среди мигрантов, так и среди коренного населения встречаются люди и порядочные, и достаточно сомнительные. Кроме того, место рождения само по себе еще не определяет политические симпатии того или иного человека. Говоря об обоих фронтах, следует упомянуть, что существует известное число коренных жителей Латвии, деморализованных стремительной карьерой в административно-бюрократическом аппарате, благами, с этой карьерой связанными (либо надеждой такую карьеру сделать, при условии сохранения бюрократического аппарата и соответствующих порядков). Эти одурманенные либо властью, либо надеждами на власть постоянные обитатели Латвии, которых точнее всего было бы назвать компрадорами тоже в достаточно большом количестве нашли дорогу в Интерфронт, хотя их удельный вес в этом движении ничтожен, поскольку основу Интерфронта составляет все же объединение мигрантов — так же, как и во многих рижских городских организациях.

Автос. Скажите, пожалуйста, кто такие компрадоры и кто, по Вашему мнению, составляет основную социальную базу Интерфронта?

В. З. Компрадор на португальском языке обозначает посредника. Компрадорами называют главным образом те имущие круги азиатских (и других континентов) зависимых или полузависимых стран, которые основывают свое благополучие на посредничестве между своим народом и европейцами либо иными чужеземцами. Им обычно сопутствует дурная слава, поскольку ради своего личного благополучия они часто предают интересы своего народа. Но эта репутация все же не следует непосредственно из названия, и механически перенести ее в условия современной Латвии нельзя. Думаю, в Латвии у каждого общественного или административного работника репутация такова, какую он заслужил своими действиями. Либо чуть лучшая. Разговорами в наши дни чью-либо репутацию устроить или разрушить трудно.

Интернациональный фронт трудящихся, насколько могу судить об этом со стороны, в социальном смысле составляют три различных неоднородных слоя: 1) опасующиеся за свои места неудачливые либо неумелые бюрократы; 2) приехавшие на постоянное местожительство отставные офицеры, точнее — их наименее культурная часть, поскольку и среди них есть светлые люди, лояльно относящиеся к латышскому народу, его языку и культуре; 3) наименее квалифицированная часть нахлынувших — в результате непропорционального развития — в последние десятилетия рабочих.

Этим рабочим часто недостает общего образования, а в некоторых случаях — и профессиональных навыков. Многие из них считают своим родным языком русский, при том что большая часть их — не русские, но обрусевшие украинцы, белорусы, представители народностей Поволжья, Урала и прочих регионов, уже успевшие забыть родной язык и обычаи предков, но городскую культуру и тот же русский язык, представителями которого они вроде бы выступают, освоившие весьма поверхностно. Для этой группы мигрантов призыв быстро выучить еще и латышский язык представляется пугающим и просто невыполнимым. К вышеупомянутому слою надо причислить и известное число бродяг и деклассированных элементов, попавших в Латвию либо случайно, либо в результате планомерного распределения уголовников. Из этих рядов Интерфронт имеет наибольшие возможности вербовать «штурмовиков», в случае если попытается помешать мирному развитию общества в Латвии с помощью новых провокаций.

В Интерфронте состоит известное число квалифицированных работников и инженеров, оказавшихся там в результате шовинистического воспитания и традиций имперского мышления. Для них нахождение в Интерфронте скорее недоразумение, поскольку свое существование они в состоянии обеспечить честной работой. Но в мире много происходит не по законам логики, так что латышскому народу, возможно, еще долго придется страдать за то, что получаемый во многих технических вузах как Латвии, так и России слой гуманитарной культуры столь тонок.

Силу Интерфронта серьезно подрывает то, что обе первые группировки третья в глубине души презирают, получая в ответ не менее «сердечную» неприязнь, поскольку «тайные доходы» бюрократа и относительно стабильное благополучие бывших государственных чиновников не остаются скрытыми от зорких глаз живущих в общежитиях чернорабочих.

В Интерфронте происходит постепенная поляризация сил. Умеренное крыло старается действовать главным образом методами общественной и идеологической борьбы, используя тот факт, что во многих партийных организациях, особенно в Риге, отставные офицеры и иные прибывшие пенсионеры составляют большинство. Принадлежащие к этим кругам убеждены, что, принимая решения в партийных организациях, в том числе в Рижском горкоме партии, они смогут полностью игнорировать нужды и интересы латышского народа, а латышский народ, в свою очередь, из уважения к их выдающимся деяниям во время культуры личности и в период стагнации без возражений примет к тщательному исполнению все их руководящие указания. Если вспомним, что в Рижской парторганизации латышей только четверть, включая обрусевших и деморализованных, то следует признать, что беспочвенными подобные расчеты не являются. Кроме умеренного крыла в Интерфронте консолидируется экстремистское, которое при помощи ультиматумов, экономического шантажа и разнообразных провокаций старается вызвать в Латвии общественный и углубить экономический кризис, что дало бы соответствующим органам повод к объявлению особого положения и вводу войск, чтобы таким образом задержать демократизацию общества.

Перспективы Интерфронта в Латвии, по-моему, не блестящи. Успех любого общественного движения в большей степени определяется информированностью его участников, их личной порядочностью, честностью, бескорыстием, интеллектуальными возможностями и т. д. Но руководители Интерфронта, считающиеся там самыми умными, честными и принципиальными, особенно не выделяются. Многим же рядовым участникам Интерфронта, в честности которых сомневаться нет оснований, недостает знаний о реальном положении в Латвии. Им пока недостает и умения и навыков судить об общественных проблемах самостоятельно. Поэтому иной раз они доверяют и таким лидерам, которые этого не заслужили. Можно ожидать, что со временем многие члены Интерфронта начнут думать своим умом, и тогда, возможно, для разрешения общественных проблем они станут искать достойные порядочного человека решения.

Но не следует забывать, что так называемый Интерфронт трудящихся Латвии лишь один этап в цепи реакционных образований. Основные направления и, возможно, даже конкретные инструкции он, скорее всего, получает извне. Только подобной гипотезой можно объяснить кажущееся удивительным совпадение — все Интерфронты согласованно действуют во всем Балтийском регионе, а репрессии государственных органов по отношению к народным движениям в Вильнюсе и Минске по своему почерку столь похожи на почерк Интерфронта. Только в кровавом воскресенье в Тбилиси ощущается нажим с далеко идущими целями. Есть основание предполагать, что латвийский Интерфронт является одной из видимых со стороны вершук массивного айсберга реакции, центр тяжести которого скрыт от наших глаз.

Главная сила латвийского Интерфронта состоит в изобилии опытных организаторов и администраторов, а также в симпатиях различных консервативных общественных группировок. Опытные, но приученные к шаблонному мышлению и административному подчинению организаторы не натренированы мыслить творчески, не могут адаптироваться к меняющейся ситуации, меняющейся не только в Латвии, но и в СССР, да и во всем мире. Они не могут долго увлекать людей, не подотчетных им в административном порядке, и, не желая смириться с ослаблением своих позиций, придумывают к тому же различные глупости, что лишь ускоряет их закат.

Интеллектуальная ограниченность сил реакции в Латвии наглядно проявилась весной этого года. Кульминационной точкой в активности этих кругов явился конец апреля, когда Интерфронт добивался объявления забастовки с целью дезорганизации хозяйственной жизни в Латвии, а Рижский городской комитет КПЛ устроил атаку на Верховный Совет Латвийской ССР и средства массовой информации. Обе эти кампании провалились еще и потому, что реакционные силы более крупного масштаба оказались попавшими в изоляцию после

своих кровавых дел 9 апреля в Тбилиси, поскольку их действия не вызвали в обществе прилива шовинизма, который можно было бы направить против демократизации общества, но лишь ужас и отвращение. Поэтому и реакционные группировки в Латвии не получили поддержки извне и были вынуждены приумолкнуть. Но и в масштабах Латвии противоперестроечные силы не раз промахивались. Активность реакции началась здесь уже в марте, и главным подвигом тут была отправка за решетку многих любимых публикой актеров. Но этот успех не увеличил славу организаторов акции ни в республике, ни за ее пределами. Спланированное и начатое нападение на телевидение и другие средства массовой информации пришлось на время отложить, а в новой ситуации оно стало невозможным.

Означает ли это, что после упомянутых неудач Интерфронт стал менее агрессивен и опасен? Нет. Утверждать так было бы безответственным легкомыслием. Многих руководителей Интерфронта, сочувствующих и защитников за пределами Латвии неудачи могут настроить на новые, еще более труднопредсказуемые авантюры. Они осознают, что их «армия» в состоянии устроить крупный скандал, но основной ее состав не склонен к долговременному подчинению. Им, поэтому, в дальнейшем угрожает опасность оказаться полковниками без армии, когда останется лишь уйти на заслуженный отдых. Вместе с тем не исключены новые попытки Интерфронта обострить общественную ситуацию.

Авотс. Ошибки, просчеты и внутренние противоречия возможны в любых общественных организациях. Разве от них огражден Народный фронт?

В. 3. Главное преимущество Народного фронта в том, что он образовался в результате самостоятельной активности самых широких слоев постоянных жителей Латвии. Здесь объединились все или почти все конструктивно мыслящие слои общества. Действуя на земле своих предков, они лучше в сумме осведомлены о себе и о происходящем вокруг. И у НФ бываю ошибки, только не такие грубые. Нет квалифицированных работников в некоторых областях деятельности Народного фронта. Безынициативно работают и многие районные и местные организации. Больше внимание следовало бы уделять школьной молодежи и многодетным семьям, а также борьбе с нарушениями на районном и местном уровнях. Все же Народный фронт борется за развитие демократии и за равноправие народов, и потому-то в нем царит хороший моральный климат.

Самая главная сила Народного фронта — это высокая сознательность его рядовых членов, дисциплинированность и готовность пожертвовать многим в интересах народа. Мне кажется, что пока Народный фронт сохраняет единство и солидарность своих рядов, ему всегда будут сопутствовать успехи. Эти успехи могут быть большими и меньшими в зависимости от многих других факторов, находящихся не во власти Народного фронта, но без единства они могут стать очень проблематичными.

Единство — самое важное, но не единственное предварительное условие успехов Народного фронта. Многие зависит от того, насколько успешно будет действовать его руководство или все движение и не попадет ли какая-либо его часть во власть сомнительных иллюзий. В отличие от Интерфронта, который кишмя кишит опытными организаторами, Народный фронт ощущает пока острый дефицит квалифицированных политиков. Иначе и быть не могло. С 1940 года и в определенном смысле с 1934 года развитию, росту богатых инициативой политических деятелей обстановка не способствовала. Лишь в 1988 году на три высшие должности пришли люди, родившиеся и выросшие в Латвии, но из этого еще не следует, что за ними решающее слово.

Широкие круги общественности Латвии сегодня обладают очень малым опытом политической работы, поскольку на многие ведущие посты, на которые предусматривались латыши, в послевоенный период выдвигались латыши России из слоев, которым большинство латышского народа не доверяло и которые, в свою очередь, не симпатизируют целям Народного фронта. Поэтому Народному фронту предстоит вырастить политических руководителей в очень короткий срок с тем, чтобы через пару лет профессиональное умение латышских политиков оказалось бы на более высоком уровне, нежели сегодня. Если первые успехи не ударят в голову руководителям Народного фронта, как ударили петушку Шантеклеру из французской сказки, возмнившему, что солнце встает в результате его кукареканья, то, думаю, при поддержке эстонцев и литовцев с очередными задачами они смогут справиться вполне успешно.

Вперед времени забежать нельзя. Хорошему сапожнику учиться пять лет. Должность капитана корабля или командира дивизии требует уже минимум десятилетних усилий. Навыками хирурга ударными темпами не овладеешь. Важно создать достаточно широкий слой политиков высокой квалификации, часть из которых находилась бы в резерве. Пока такое положение не достигнуто,

возможные недочеты в работе руководства следует в течение пары лет компенсировать большей активностью снизу, активностью рядовых работников.

Автос. Как Вы представляете себе сотрудничество Народного фронта с другими демократическими силами Латвии, другими неформальными движениями?

В. 3. Общественную борьбу иной раз сравнивают с игрой в шахматы. В рамках подобного сравнения хотелось бы подчеркнуть, что ключ к успехам Народного фронта на ближайшие годы будет состоять не в мастерских ходах нескольких выдающихся фигур, но скорее в примерно одном темпе продвигающихся вперед пешек, образовавших сомкнутую цепь. На левом фланге со своей самоотверженностью и пылкостью очень пригодными будут борцы Движения за независимость (Движение за национальную независимость Латвии) и со своей неисчерпаемой инициативностью и выдумкой — группы Клуба охраны окружающей среды. Важно, чтобы эти авангардные движения не оторвались от основных сил борцов, поскольку слишком бравурное соло одной группы может оказаться ее лебединой песней. На правом фланге Народного фронта со всем своим опытом и профессиональной подготовкой очень полезны могут быть либеральные и демократические работники традиционных общественных организаций, если только таковые там имеются. Особенно важным участие таких работников может быть в ближайшие годы, пока в профессиональном смысле лидеры Народного фронта еще не обрели большого мастерства, но вероятность, что Интерфронт опять попробует разработать какую-либо провокацию, еще очень велика.

Либеральным работникам традиционных организаций присущи некоторые слабости. Многим из них очень нравится игра: «Что хотите, то берите, да и нет не говорите, чёрный с белым не носите». По правилам этой игры, тот, кто лучше других владеет умением говорить вокруг да около, ничего определенного не сказав, получает золотой.

Сегодня народ уже не настроен отдавать золото своего доверия лишь за разговоры — как поступают многие финансовые учреждения с рублями кредита для нерентабельных предприятий. Доверие народа поэтому должно быть обеспечено более твердо, нежели бумажный рубль. Вместе с тем постепенно формируются условия, чтобы вещи назывались своими именами, чтобы и большие начальники кота могли бы назвать котом, а оккупацию — оккупацией.

Автос. Вы упомянули, что Народному фронту могут угрожать соблазнительные иллюзии.

В. 3. По моему мнению, существуют две самые опасные иллюзии, которые угрожают не только Народному фронту, но и участникам других неформальных групп. Первая иллюзия состоит в надежде, что демократическое движение будет идти только от победы к победе и что цели Народного фронта будут вскоре достигнуты. Вторая иллюзия состоит в предположении — к счастью, не слишком распространенном, — что все те, кто приветливо относится к Народному фронту и другим неформальным организациям, действительно озабочены благоденствием Латвии и будущим латышского народа.

Вредны обе эти иллюзии, но в специфических условиях, если, например, движение демократизации на длительное время приостановится или попадет в сложное положение, они могут оказаться очень опасными. Следует сознавать, что позиции реакционеров как брежневского, так и сталинского типа в Советском Союзе еще очень сильны. У них сильные позиции во многих центральных органах. Самым мощным резервом реакции является инерция мышления и деятельности многих советских людей. Все хотят больше получать, лучше жить. Куда меньше тех, кто желал бы старательнее и квалифицированнее работать, и совсем мало тех, кто хотел бы на демократической основе перестроить общественные отношения, вытерпев при этом неудобства, связанные с ходом этой перестройки. Пассивные приверженцы реакции есть почти в каждом доме, но у демократизации немало и активных противников. Это почти все те, кому прогрессивное развитие общества грозит утерей больших зарплат, квартирных преимуществ, дач, шикарных курортов, закрытых плавательных бассейнов и охотничьих домиков, спецбольниц и спецмагазинов, кокосовых орехов, икры и всего прочего, что для этих людей, в руках которых по-прежнему важные рычаги власти, олицетворяет собственную значимость в своих же глазах. Самые сильные и удачливые руководители этих благ добились бы и, как умелые менеджеры в условиях свободной конкуренции, в то время как более туповатым и ленивым из касты начальников демократизация никаких волнующих горизонтов не открывает. Из-за этих ленивых и ограниченных начальников, возможно, общество ожидает еще не одно серьезное осложнение в будущем.

Ориентация в этих условиях себя и своих товарищей на дистанцию спринта в условиях общественной демократизации, когда, очевидно, возможно, впереди у нас марафон с препятствиями, пред-

ставляется мне несерьезным подходом к важным вопросам и не вызывает симпатий. Лучше уж пусть в результате ошибки в подсчетах цель окажется достигнутой неожиданно быстро, чем предполагать ситуацию, когда впереди еще изрядный участок пути, а все силы уже израсходованы.

Другая иллюзия, а именно, что все, кто в Латвии, в Советском Союзе и за границей высказывает теперь симпатии к Народному фронту и стремлению латышского народа к реальному суверенитету, являются истинными друзьями латышского народа и от всего сердца желают ему расцвета и счастливого будущего, более тонкая, нежели первая. Я не сомневаюсь, что у латышского народа много друзей. Только наивно и верить всем приветливым улыбок. Теперь эта иллюзия не столь вредна, как первая, но в течение долгого времени и она может вызвать осложнения.

Самое опасное тут послушать «своего», но непрошеного «друга», послушаться его совета и отдать ему на растерзание ту или иную неформальную группу, безразлично, под каким предлогом. Так же глупо было бы испортить отношения с теми работниками официальных учреждений, которые корректно относятся к Народному фронту, пусть даже по некоторым вопросам у них иные взгляды и другие цели, или они очень не нравятся какой-либо неформальной группе или некоторым заграничным «друзьям». Частичное сотрудничество, если оно не тормозит борьбы за цели Народного фронта, куда лучше, чем тотальная перебранка. У порядочного хозяина в доме место было и собаке, и кошке, пусть они иной раз друг с другом и не очень хорошо ладили.

Еще сложнее с подобными иллюзиями на международном уровне. Теперь все мощные мировые державы симпатизируют движению перестройки в Советском Союзе и в целом стараются поддержать хорошие или по крайней мере корректные отношения с правительством СССР, с различными общественными течениями в стране. Если мы твердо уверены, что подобная ситуация будет длиться вечно, то для сомнений нет оснований, но если мы теоретически допускаем возможность, что отношения держав могут и ухудшиться, то также теоретически следует предусмотреть и вероятность того, что в подобной ситуации определенные круги постараются породить сложность в общественной жизни конкурирующей державы, противопоставив одну национальную или социальную группировку другой.

История учит, что в XVIII веке, когда Ирландию оккупировала Англия, которая старалась содержать своих бродяг и бюрократов за счет ирландского народа, ирландский народ отчаянно сопротивлялся подобному порабощению, осуществляемому во имя «правильной» идеологии, а именно — в интересах англиканской конфессии, в то время как ирландцы были католиками. Время от времени борцам за свободу Ирландии значительную помощь предоставляли правящие круги Франции и Испании, особенно в годы, когда у этих стран были плохие отношения с Великобританией. Подобные действия диктовались не зботами о свободе Ирландии, но стремлением повредить конкурирующей державе. Счастья ирландскому народу подобная «дружеская помощь» не принесла. Я не думаю, чтобы существовала большая вероятность попасть в подобное положение для латышского народа, но опасные осложнения, по мере возможности, лучше прогнозировать. Тогда с ними легче справиться. Хватит и уже действительно непрогнозируемых осложнений.

Автос. Вам не кажется, что столь откровенный разговор о сильных и слабых сторонах Народного фронта может повредить его репутации?

В. 3. Я убежден, что противники Народного фронта о его сильных и слабых местах информированы в десять раз лучше, чем его друзья. Если и в этих условиях движение развивается успешно, то значит, самое важное значение имеет само время, когда, по словам Райниса:

Даже самые старые и кривые березы одеваются ярко-зелено,
Каркая, но все же во весь голос свои нежные чувства выражают
вороны...
(Подстрочник.)

В этой ситуации Интерфронту не принесет никакой выгоды никакая информация, если только Народный фронт сумеет избежать грубых ошибок.

Автос. Как Вы расцениваете нежелание руководителей Народного фронта установить контакты с Интерфронтом?

В. 3. Считаю, что в теперешней ситуации это правильно. Хотя в целом этот вопрос мало значим. О чем бы могли говорить лидеры Народного фронта и Интерфронта, если бы такие связи были? О ликвидации латышского народа? — чего желает Интерфронт, или о реальном равноправии латышского народа? — чего Интерфронт стремится не допустить? Я лично тоже не желаю подавать руку людям, которые желают задуть мой народ. Тем более какой смысл говорить со слугами и о чем-то с ними договариваться, если на их хозяев это не налагает никаких обязательств? Тогда уже следует говорить с самим хозяином. Но

делать это следует при посредничестве избранных депутатов. С работниками Интерфронта среднего ранга, думаю, работники соответствующего ранга Народного фронта могут поддерживать деловые контакты и даже сотрудничать в конкретных вопросах, как, например, при решении экологических проблем. Поскольку не все ведь, кто сотрудничает в этой организации, негодны. Там много субъективно честных людей, которые в Латвии просто заблудились — в прямом и переносном смысле, и в результате языкового барьера, страха или пропаганды Интерфронта еще не нашли пути в Народный фронт. Поэтому я думаю, что и с рядовыми членами Интерфронта членам Народного фронта следует стараться поддерживать хорошие либо по крайней мере корректные отношения. Я убежден, что со временем многие из них смогут лучше ориентироваться в латвийских проблемах и поймут, что их место в рядах врагов латышского народа — не их настоящее место.

Автс. Как Вы расцениваете тот факт, что в широких кругах латышской общественности в последнее время много говорят о периоде независимой Латвии, устраивают выставки достижений того времени, с увлечением поют песни того времени?

В. З. Часто отмечается, что в условиях общественных кризисов люди, которые испытывают отвращение к своему времени, усиленно обращаются к какому-либо периоду в прошлом. В конце средних веков у многих в Западной Европе образовался громадный интерес к истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима. Подобное увлечение прошлым позволяет сохранить душевное равновесие. Когда в Германии потерпел катастрофу гитлеризм и полностью обанкротилась до этого навязчиво проповедуемая идеология национал-социализма, немецкое общество принялось лихорадочно искать в истории период, не столь тошнотворный, как минувший, с тем чтобы идентифицировать свое самосознание с этим периодом. Период Веймарской республики подходил не вполне, потому что, хотя культура в то время и переживала яркий расцвет, широкие круги общества терпели серьезные хозяйственные бедствия. Самым приемлемым для широких слоев периодом идеализированной памяти оказалась кайзеровская Германия до 1-й мировой войны, поскольку в то время в обществе существовали стабильность и относительное благополучие. Поэтому, невзирая на почтенный возраст, от своих роз (выращиваемых в свое удовольствие) был отлучен Конрад Аденауэр, один из тех деятелей кайзеровской Германии, кто не скомпрометировал себя в гитлеровский период и сохранил хорошую работоспособность. Тогда его выдвинули на пост канцлера новой федеративной республики. Сегодня же, когда хозяйственная и общественная жизнь Германской Федеративной Республики достаточно стабильна и большинство ее жителей своей жизнью удовлетворены вполне, никакого особенного интереса к кайзеровским временам там уже не наблюдается.

Когда в Советском Союзе впервые были разоблачены сталинские преступления, широко зазвучали голоса, что следует вернуться к ленинским традициям. Хотя самих соратников Ленина ни в каких розариях этого света отыскать уже было нельзя, в настоящих (по их собственному мнению) ленинцах, которые (по их убеждению) шли сами и вели других ленинским курсом, недостатка не было. Схожих примеров в истории много. Борясь против социального и национального угнетения в Латвии конца XIX века, Аусеклис и А. Пумпуре воспевали прошлое Латвии до нападения немцев в XIII веке. Вообще следует сказать, что времена, когда латыши были строителями жизни на своей земле, представляются многим иным поколениям более привлекательными, нежели прочие. Думаю, когда Латвия восстановит свой реальный суверенитет и уровень материального благосостояния народа приблизится к уровню, имевшему место в независимой Латвии или превысит его, большинство с большой радостью будет смотреть вперед, а не в прошлое.

Автс. Каковы, по Вашему мнению, перспективы латышского народа?

В. З. Это сложный вопрос. Уже и в предыдущие столетия латышский народ губили все кому не лень — и немецкие, и русские войска, и поляки, и шведы. Очень сложный период в истории Латвии начался, когда Латвия постепенно вошла в состав тюрьмы народов — Российской империи. Виднее вошла туда полностью разрушенной после Северной войны, Латгалия — после первого раздела Польши, Курземе — после третьего раздела Польши. Находясь в империи, латышский народ испытывал двойной гнет. В Видземе и Курземе — русские и немецкие начальники, в Латгалии — русские и польские. Включение в состав хозяйственно и политически отсталой страны не способствовало развитию Латвии, но относительно долгий мирный период, в особенности в XIX веке, повлек за собой стабилизацию хозяйственной жизни и предоставил известные возможности развития. Развитие это, благами которого пользовались в основном немецкие и русские господа, происходило за счет сверхчеловеческого труда латышского народа.

Учитывая тот факт, что в Балтии, как в приграничной провинции России, всегда было много войск, немецкие бароны могли не опасаться крестьянских волнений, поскольку в случае непослушания в ту или иную усадьбу в течение двух часов из ближайшего города прибыла бы по крайней мере рота русских солдат, которые бы безжалостно расправились с каждым, заставившим помещика гневаться. Эксплуатация в Латвии (а также в Эстонии) была поэтому взвинчена до уровня, неизвестного ни в какой другой европейской стране, кроме, быть может, Ирландии. В этих условиях значительная часть латышского народа была даже лишена возможности заводить семью и воспитывать детей.

Сенатор Манасейн, который в 1882 году по заданию российского правительства ревизовал губернии Видземе и Курземе, писал о демографическом положении в Латвии в 1883 году: «Что касается безземельных, составляющих большинство среди крестьянских жителей Балтийских губерний, то их положение особенно тяжело и почти безвыходно... Размеры платы, которую в среднем получает полевой работник в ревизованных мною губерниях, вполне точно установить нельзя... Но нет сомнений, что труд семейного работника оплачивается ниже, нежели труд холостого... С появлением каждого нового члена семьи положение работника ухудшается, а в случае болезни либо временной потери работоспособности положение становится критическим... В этих условиях единственная возможность для батрака сохранить известную самостоятельность и надежды на выживание состоит в отказе от семейной жизни, каким образом значительная часть батраков и поступает, результатом же подобного ненормального положения является, во-первых, слабый прирост населения среди безземельных, во-вторых же — моральный упадок нации». (Ревизия Манасейна, LVI, Рига, 1949, стр. 117, 118.)

Вполне закономерно, что выросшие в таких условиях латыши были в первых рядах революции 1905 года, охраняли в Смольном и Кремле Ленина, участвовали в боях на всех фронтах гражданской войны. Все эти бои принесли много жертв. Да и бои стрелков во время первой мировой войны, и судьбы беженцев в России, где многие тысячи эвакуированных латышей погибли в те годы от голода и различных болезней, главным образом от тифа. Но все же больше всего латышей погибло в XX веке, во времена сталинского геноцида с 1937 по 1953 год. Большое число латышских жизней унес гитлеровский террор во время второй мировой войны, а также незаконное привлечение латышских юношей к службе в армии немецких оккупантов. В результате всех этих кровавых потерь латышей на свете теперь гораздо меньше, нежели в начале XX века, когда число их (перед первой мировой) приближалось к двум миллионам.

В наше время основную опасность для латышского народа представляет форсированная миграция, организуемая бюрократами центральных ведомств, которые, побуждаемые имперскими амбициями, довели до разрухи зону Российской нечерноморья — с тем чтобы заставить ее обитателей оставить родину и колонизовать Балтию, Белоруссию, Украину и другие территории, где живут нерусские народы. Такая политика колонизации и миграции принесла разруху и страдания и русскому народу, и народам другим, но она продолжается по-прежнему.

В послевоенные годы в Латвии были разрушены ранее существовавшие формы хозяйствования. Особенно разрушительной была принудительная коллективизация в период с 1949 года, в ходе которой значительная часть народа была вывезена в Сибирь, а другим пришлось оставить поля и отправиться в город. С того времени латыши в основной массе являются бездомным народом. Большая часть новых квартир отдается приезжим из других республик, а местные жители — особенно в Риге — получают менее четверти строящегося жилья. Поэтому интерфронтовцы так любят председателя Рижского горисполкома А. Рубикса. В этих условиях молодому поколению постоянных жителей Латвии невозможно завести семью и родить ребенка, ведь у многих нет места, куда поставить детскую кроватку. И заработная плата в Латвии сравнительно со стоимостью жизни столь низка, что мужчина не в состоянии содержать семью даже с двумя-тремя детьми, в то время как в среднеазиатских республиках мужчины нередко содержат семьи из десяти и более детей. В этих условиях матерям в Латвии приходится работать вне дома; Латвия занимает первое место в Союзе по проценту работающих женщин, однако последнее по рождаемости. Ничего хорошего подобная загруженность женщин не принесла, поскольку все результаты труда оказываются в общем ведомственном котле, из которого в Латвию не возвращается почти ничего. Не хочу утверждать, что в Латвии все работают очень продуктивно, поскольку многие работы организованы плохо и очень примитивна техника, но уж хуже, чем в Узбекистане, здесь-то не работают. А когда в республике, которая по рождаемости находится на катастрофическом уровне, уже многие годы не хватает школ, где учиться этим немногочисленным детям, то и это преступление не меньше, нежели непредоставление коренному населению квартир.

Думаю, политика геноцида, кровавого — сталинского и тихого — брежневского, нас сильно ослабила, но полностью латыши еще не заданы. Это больше всего беспокоит лидеров Интерфронта, но сейчас они ничего особенно изменить не могут, и реанимация латышского народа продолжается. Что мы можем ждать от будущего? Если решение о прекращении миграции будет строго соблюдаться, если будет принят закон о латвийском гражданстве, то дальнейшее ухудшение ситуации будет возможно предотвратить.

Расцвет латышского народа в будущем вполне возможен. Но при условии, что по отношению к латышам и другим малым народам прекратится имперская политика центральных ведомств, если право народов на самоопределение будет реальным. Тогда шовинисты местного масштаба и прочие ненавистники латышского народа вскоре замолкнут и успокоятся. Но никакой расцвет невозможен, если среди самих латышей не будут преодолены алкологизм и иные порождения народной деморализации, возникшие в годы правления Пельше и Воссса. Очень важно, чтобы наши молодые люди создавали семьи и воспитывали много детей. Поэтому с точки зрения будущего народа центральной задачей является достижение положения, при котором у всех будет реальная возможность получить достаточно просторные квартиры, а молодым матерям в первые годы жизни ребенка не придется работать ради заработка. Если же это достигнуто не будет, то латышский народ не погибнет, но продолжит чахнуть.

Следует урегулировать и на взаимоприемлемой основе развивать отношения латышского народа с живущими в Латвии представителями других национальностей. Форум народов Латвии и Закон о языке — неплохое начало этой работы. Все же мне не нравится затягивание передачи эстонского и еврейского культурных центров их законным владельцам — рижским эстонской и еврейской общинам. Доброе согласие всех живущих в Латвии людей — это важная предпосылка благополучия каждого человека. Поэтому важно добиться, чтобы в Латвию не въезжали и гражданские права не получали бы разного рода авантюристы, преступники, хулиганы, организаторы и устроители скандалов и прочих не порядков, тех же, кто, приехав, уже продемонстрировал свою недобрую волю, следует тем или иным способом выставить из республики. С честными людьми в то же время следует продолжать искать и находить общий язык. Возможно, что многие приехавшие, привлеченные сюда обманом, захотят вернуться на свою родину, в особенности когда там улучшится хозяйственная ситуация и полки магазинов перестанут быть пустыми. Не всем же нравится латвийский климат, но всем нравится двуязычие, если есть возможность жить и в условиях одноязычия.

В этом смысле интересное предложение выдвинуло Елгавское отделение Интерфронта, предложившее, чтобы людям, многие годы отработавшим в Латвии, а теперь желающим вернуться на свою родину, латвийское правительство выплачивало бы такую компенсацию за освобождаемую ими квартиру, чтобы они имели возможность соответственно устроиться на своей родине либо там, куда они захотят отправиться. Думаю, это предложение заслуживает внимания. Одно дело — забредшие лодыри и скандалисты. С этими нечего церемониться. Но люди, которые трудились с нами наравне и жили честно, заслуживают чуткости и отзывчивости.

В настоящий момент организовывать кампанию по выезду иммигрантов других национальностей из Латвии было бы неправильно. Тогда уедут самые тонкие и порядочные люди, а на их место, вернее всего, въедут худшие, у которых, как у всех новоприбывших, окажется много друзей и родственников, которых они будут стараться перетаскать в Латвию. Потому что Латвия теперь, как дом без дверей и окон, в котором может удобно расположиться любой прохожий и считать себя его настоящим хозяином. Но когда миграция в направлении Латвии будет полностью прекращена, когда будет точно установлено, кто является гражданином Латвии, а кто нет, тогда можно будет обратиться и к этому предложению.

Я думаю, что в будущем на организацию репатриации случайно попавших в Латвию людей, с тем чтобы они могли с честью вернуться и устроиться на своей родине или в любом другом месте по их выбору, можно будет пожертвовать приличную часть той суммы, которую Латвия получит в виде компенсации за разруху, нанесенную сталинским террором и брежневской некомпетентностью, что будет частичным возмещением ущерба, понесенного латышским народом в результате заключения пакта Молотова—Риббентропа. Еврейский народ частичную компенсацию — *Wiedergutmachung* — от Федеративной Республики получил. Разве латышский народ хуже? Пока такой компенсации не получим, не знаю, откуда могут быть взяты средства на проведение подобного мероприятия. Но нужна ясность в том, что честных людей против их воли вывозить из Латвии в зарешеченных вагонах недопустимо. Сталинские методы улаживания межнациональных отношений недопустимы. Но других в Советском

Союзе нет. Впрочем, культура межнациональных отношений развивается. С интересом, поэтому, буду следить за тем, как будет восстановлен суверенитет волжских немцев и крымских татар в рамках СССР.

Будущее латышского народа в очень большой степени зависит от того, как сложатся отношения между латышами Латвии и латышами диаспоры. Примерно десятая часть латышей живет за пределами СССР, главным образом в странах Европы, США, Канаде, в Австралии, но примерно двадцатая — в Сибири, в Башкирии, Белоруссии, в Москве и Ленинграде, а также и в других местах Советского Союза. Многие зарубежные латыши после тягот первых лет жизни на чужбине в результате напряженного труда создали себе стабильное положение в жизни — приобретя высокую квалификацию и материальное благополучие. Общими усилиями они сохранили и даже развили латышскую культуру. Развитие культур стран их обитания было менее зависимо от указаний главлита, инструкций спецфондов и прочих формировавших культурную среду в Латвии факторов, поэтому во многих отраслях деятелям латышской культуры за границей удалось достичь более высокого уровня, нежели их коллегам в Лат-

рубежные латыши в большей степени подвержены угрозе ассимиляции, чем латыши латвийские, поскольку в городах, где они обитают, процент латышей еще более низок, чем в Риге. Теперь в отношениях латвийских и зарубежных латышей продолжается «медовый год». Многие латвийские латыши уже примерили на себя роль «бедного родственника» и за счет зарубежных соотечественников пытаются достичь дополнительных удобств. Думаю, что разумно поступают те латыши за границей, чья помощь организована рамками самого необходимого и которые не спешат обрадовать каждую протянутую ладонь, поскольку знают, что помощь будет нужна еще долго и с течением времени коэффициент ее полезности, думается, возрастет. Самая ценная помощь, которую зарубежные латыши могут оказать Латвии, это способствовать выходу ее товаров на мировой рынок, когда мы начнем хозяйствовать самостоятельно. Здесь более всего пригодится хороший совет и помощь в отыскании нужных людей. Благотворной может быть и организация стажировок студентов, молодых ученых, культурных работников и менеджеров в хороших учреждениях, фирмах и высших школах, к тому же предпочтительнее за счет какого-либо международного фонда, а не за счет наших соотечественников. В нынешней ситуации было бы неразумным побуждать зарубежных латышей в массовом порядке переселяться в Латвию. Надо создать условия, чтобы они могли с удобствами жить здесь несколько месяцев в году, не пользуясь при этом хищническими услугами Интуриста. Учителя, которые могли бы помочь различным кругам латышей освоить английский, немецкий и другие языки, впрочем, могли бы остаться тут на более длительное время. Вообще обеим частям народа нужно заново узнать друг друга, и тогда будет лучше видно, что делать. Более печальная ситуация с латышами, живущими в России и других республиках СССР. В 1937—1938 годах там ликвидировали все латышские школы и культурные учреждения. Большая часть активных хозяйственных, общественных и культурных работников была уничтожена физически. Надежда избежать полной ассимиляции сохраняется там только у тех латышей, кто в скором времени переселится в Латвию. Это невозможно без специальной широкомасштабной программы. Нельзя побуждать многие тысячи людей бросить обжитые места, если мы в Латвии не знаем, где они будут жить и что делать. Вначале, возможно, следует целенаправленно создавать в Латвии специальные ремесленные школы для молодежи этих колоний, чтобы наряду с латышским языком они могли бы освоить нужные Латвии и соответствующие своему прежнему опыту профессии; так, например, выросшие в деревне юноши могли бы учиться на сельских механизаторов, строителей и т. д. После того, как они окончили бы такую школу и устроились в Латвии, к ним могли бы приехать остальные члены их семей. Легким это не будет. Многие латыши, родившиеся и выросшие в России и прожившие в Латвии уже более 40 лет, все же чувствуют себя тут чужаками — скорее агентами центральных ведомств, чем людьми, принадлежащими к латышскому народу. Главная причина подобной ненормальной ситуации состояла в выдвигании морально менее выдержанных людей этой группы на руководящие посты в Латвии, их постановка в более благоприятное по сравнению с латвийскими латышами положение. Только после формирования Народного фронта такая политика прекратилась официально, хотя все еще продолжается по инерции. Если же оставшихся в России латышей приглашать сюда не на роль нахлебников или золушек, но как равноправных братьев, то можно надеяться, что консолидация народа произойдет за время жизни одного поколения.

ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛАТВИИ

Включение Латвии в СССР произошло в результате аннексии, в нарушение Конституции Латвии и воли народа.

ДННЛ берет под защиту право народа Латвии на самоопределение и считает:

политический, национальный, экономический и культурный кризис в Латвии является следствием оккупации и аннексии 1940 года, выйти из него можно только путем ликвидации оккупационного режима и восстановления Латвийской Республики демократическими методами;

ослабление централизации, либерализация власти, автономизация культуры не могут радикально улучшить положение.

Народ Латвии борется за восстановление независимости своего государства методами, согласованными с нормами международного права.

Цель и задачи

1. Конечная цель ДННЛ заключается в восстановлении независимой и демократической Латвийской Республики в исторических пределах, установленных мирным договором от 11 августа 1920 года.

2. В Латвии следует создать парламентарную демократию, основой которой послужил бы единственный акт проявления воли народа Латвии — Конституция Латвийской Республики, ее основные принципы (1. Латвия — независимая демократическая республика. 2. Суверенная власть латвийского государства принадлежит народу Латвии. 3. Территорию латвийского государства в границах, установленных международными договорами, составляют Видземе, Латгале, Курземе и Земгале). Следует гарантировать политические свободы, гражданские права и также всеобщие, равноправные, прямые, тайные и пропорциональные выборы.

3. В данный момент задача ДННЛ — защищать политические, национальные, хозяйственные и культурные устремления жителей коренной нации Латвии.

4. Следует провести демократизацию хозяйственной жизни в соответствии с интересами Латвии, во главу угла ставя развитие экологически чистых и энергетически малоемких производств. Следует ускоренно развивать производства большой наукоемкости.

5. Следует добиться разработки и реализации программы социального и демографического развития Латвии в соответствии с ее условиями.

6. Следует поддерживать стремление создать правовое государство.

7. Надо создать свободные и независимые профсоюзы.

8. Следует добиться свободного обмена информацией.

9. Надо разработать подходящую для Латвии систему образования, увеличить вес гуманитарных наук и автономию школ.

10. Надо бороться за истинную свободу совести.

Наиболее важные мероприятия и требования переходного периода. ДННЛ считает необходимым в самый короткий срок:

1. Ввести латышский язык как единственный государственный язык в хозяйственных, общественных и управленческих учреждениях Латвии.

2. Безотлагательно прекратить иммиграцию практическими мерами, чтобы нормализовать демографическое состояние латышского народа и способствовать добровольному возвращению иммигрантов на их этническую территорию.

3. Объявить насильственные депортации и другие преступления тоталитарного режима на оккупированной Латвии преступлениями против человечности, безотлагательно провести расследование этих преступлений и призвать виновных к уголовной ответственности.

4. Разработать новый закон о выборах, который бы гарантировал различным общественным организациям и партиям возможность выдвигать своих кандидатов.

5. Добиться постоянного общественного контроля над деятельностью суда, прокуратуры, учреждений внутренних дел и над военными учреждениями.

6. Бороться за неприкосновенность личности и жилища, защиту тайны переписки и телефонных разговоров, право каждого гражданина ознакомиться в государственных учреждениях с собранной о нем информацией и в суде оспаривать ее соответствие фактическому положению дел.

7. Добиться для всех осужденных в Латвии граждан Латвии права от-

бывать наказание на территории Латвии, не допускать размещения в Латвии после отбытия наказания граждан других стран и республик СССР.

8. Отменить все существующие преимущества и льготы, распространяемые на различные категории жителей других республик и военнослужащих при выборе места жительства и в получении жилплощади в Риге и во всей Латвии.

9. Добиться удаления из Балтийских республик любого оружия массового уничтожения, объявить Балтийский регион безъядерной зоной и добиться демилитаризации Балтийских республик.

10. Добиться, чтобы все находящиеся на территории Латвии объекты всеоюзного подчинения были переданы в ведение республики, добиться права республики самостоятельно управлять и руководить своей экономикой, свободно выбирать партнеров в экономических и торговых связях. Перепрофилировать или в случае необходимости закрыть экономически необоснованные и экологически вредные предприятия, создать независимую службу экологического контроля.

11. Передать в собственность республики все природные богатства и ресурсы Латвии, не допускать их разбазаривания и расхищения.

12. Отменить мелочную государственную опеку над экономикой и ее централизованное планирование, обеспечить равные возможности развития всех форм собственности.

13. Добиться осуществления радикальной аграрной реформы. Восстановить права крестьянина на землю.

14. Добиться принятия закона, запрещающего продажу земли и жилых домов, а также других зданий, построек и установок, ценных предметов в собственность организациям и предприятиям, кооперативам других стран и республик СССР, а также лицам, не являющимся гражданами Латвийской Республики.

15. Добиться, чтобы республика переняла в свое ведение все научные, учебные, медицинские, художественные, культурные и спортивные учреждения. Перестроить их учебные и рабочие планы и программы в соответствии с нуждами республики. Прекратить политизацию и милитаризацию образования, способствовать его гуманизации.

16. Добиться независимости и

мостью спортивных организаций Латвии, способствовать претворению в жизнь стремлений Олимпийского комитета Латвии.

Резолюции

О съезде граждан Латвийской Республики.

Исходя из того, что только граждане Латвийской Республики вправе решать судьбу Латвии, ДННЛ полностью поддерживает инициативу соз-

дания гражданских комитетов с целью созыва съезда граждан Латвии как юридического представительства Латвийской Республики.

О сотрудничестве ДННЛ с проживающими на территории Латвии гражданами других национальностей.

Учитывая, что большинству проживающих на территории Латвии граждан, не понимающих латышского языка, недоступна достоверная информация о целях и формах деятельности

ДННЛ, чрезвычайный съезд ДННЛ заявляет:

— ДННЛ выступает за сотрудничество со всеми проживающими на территории Латвии народами, поистине желающими жить на этой земле и вместе с латышским народом неотомимо трудиться на благо свободной и независимой Латвии;

— только свободное и независимое государство, созданное на правовой основе, может гарантировать права человека всем жителям независимо от их национальной принадлежности.

ДННЛ В ЛАТВИИ

В этот раз ознакомим читателей с Движением за национальную независимость Латвии. О нем я расспросила члена Совета ДННЛ Андриса Паулса-Паулса. Возможно, кое-что из сказанного им может показаться утопичным, но это ясная и четкая позиция, разработанная на основе международных правовых норм и законов — Гаагских и Женевских конвенций, регулирующих отношения между государством-оккупантом и населением оккупированной территории.

— Попробуем восстановить в памяти события лета 1988 года, как было настроено общество.

— Еще весной 1988 года в воздухе витала мысль, что необходимо создать массовую организацию, которая боролась бы за независимость Латвии или за перестройку на данном этапе, за ее необратимость. События 14 июня того же года доказали, что медлить больше нельзя, в тот день через Ригу спустя многие годы пронесли красно-бело-красный флаг, и люди шли за ним, люди с нескрываемой радостью приветствовали его. Это знамя является не только национальным флагом, оно символизирует время независимости Латвии, поэтому реакция людей на него была очень важной.

Сначала была инициативная группа ДННЛ, составившая призыв к народу Латвии. Основателями ДННЛ можно считать Эйнарса Репше и Эдуардса Берклавса. Были приглашены также многие известные общественные деятели, но их не устраивала платформа ДННЛ, они считали, что, во-первых, надо бороться за необратимость демократизации во всем Советском Союзе. ДННЛ заняло позицию, при которой сперва надо защищать права латышской нации. В начале августа состоялось первое публичное выступление с призывом ко всем сочувствующим вступить в движение. В итоге на этом собрании вступило более двухсот человек. И странно, как только мы организовались, в прессе появилась серия статей о том, что настало время учредить Народный фронт. Народный фронт был организован в октябре. НФ был открыт доступ ко всем средствам массовой информации, этим, я думаю, можно объяснить меньшую численность Движения независимости. Плюс еще создавался психологический климат, что НФ, как неформальная организация, надежней, и она более защищена, нежели ДННЛ.

— По-Вашему, Коммунистической партии НФ пришелся больше ко двору, чем ДННЛ?

— Я считаю, что Народный фронт

и Интерфронт — это левая и правая руки партии. Во всех трех Балтийских государствах создано как одно, так и другое — это наводит на мысль о сценарии, а реализует его умелая режиссерская рука. ДННЛ есть только в Латвии, в Эстонии есть только малочисленная Партия независимости, в Литве существует Лига свободы, кстати, уже с семидесятых годов. Думаю, что таким образом партия, спланивая два противоположных лагеря, отвлекает народ от основной цели, от борьбы за независимость. НФ покупает мебель, хотя дом еще не построен, а ДННЛ хочет сначала построить дом и только потом обставить его. Энергия направляется по желаемому руслу. Возьмем хотя бы закон о языке. НФ борется за, ИФ — против. Партия остается в роли положительного арбитра, как примирительница. В ходе этих страстных стычек забывается главное: законы, принятые в независимой Латвии, не будут зависеть от чужой воли.

— Каковы основные положения ДННЛ в вопросе о независимости?

— ДННЛ считает, что de facto следует восстановить Латвийскую Республику, существовавшую до 17 июня 1940 года, когда Латвия (по соглашению между Германией и Россией от 23 августа 1939 года, известного также как пакт Молотова—Риббен-

тропа) была оккупирована. Большая часть государств мира до сих пор признает Латвийскую Республику *de jure*. Например, в США до сих пор находится посольство ЛР, и США вступают в дипломатические отношения только с дипломатическими представителями ЛР, они не имеют никаких связей с Верховным Советом Латв.ССР. ДННЛ выступает за практическое восстановление юридически существующей Латвийской Республики, ссылаясь на Конституцию ЛР 1922 года, в границах, установленных мирным договором между Латвией и Россией в 1920 году. Тут следует добавить, что после второй мировой войны, без народного референдума к России был присоединен Абренский округ, нынешний Пыталовский район.

— Нужно иметь отчетливое представление о возможности мнимого восстановления Латвийской Республики *de facto*. Путь реформ означает отказ от принципов, автоматически выдвинутых фактом оккупации, а это в свою очередь означает, что ссылаясь на них уже нельзя будет. Второй путь, обоснованный и с правовой, и с юридической точки зрения, — признание Москвой факта аннексии, признание Латвии статуса оккупированной территории со всеми вытекающими из этого последствиями.

— Восстановить независимость Латвии будет очень трудно и сложно. Потому что от нас это, к сожалению, зависит менее всего. По численности латыши очень маленький народ — полтора миллиона, и те рассеяны, в мире с нами очень мало считаются. Так что фактически все зависит больше от внешних факторов. Будут ли устранены последствия пакта Молотова—Риббентропа или не будут? Признает ли правительство СССР факт аннексии? Выступят ли западные державы за восстановление ЛР или же сочтут, что на данный момент этот вопрос неактуален? Сумеет ли мы добиться, чтобы этот вопрос был поставлен на обсуждение в ООН?

Решать дальнейшую судьбу ЛР вправе только граждане ЛР. Если юридически существует ЛР, то существует и гражданство ЛР. На сегодня гражданами ЛР следует считать всех, кто были гражданами ЛР до 17 июня 1940 года, и их потомков, по желанию. Мы вроде бы считаемся гражданами СССР, но юридически таковыми не являемся. Паспорт СССР можно считать справкой для выяснения места жительства. Ведь у граждан ЛР никто не спрашивал, хотят они принять гражданство СССР или нет. Это международное преступление, когда государство-оккупант меняет гражданство граждан оккупированной территории.

Намечено произвести учет граждан ЛР, считающих себя таковыми или желающих, чтобы их таковыми

считали. Тут надо привлечь эмиграцию, следует также регистрировать как кандидатов живущих в Латвии представителей других наций. Ведь предоставление гражданства могут только учреждения независимой Латвии. Поэтому сейчас создаются гражданские комитеты. Следующий шаг — организовать съезд граждан ЛР, на котором можно было бы создать представительство граждан ЛР. Это представительство имело бы полномочия вступать в дипломатические отношения с правительствами других государств, в том числе СССР. Новобразованное представительство будет иметь более реальный шанс стать членом ООН, хотя бы и на правах наблюдателя, чем Верховный Совет Латв.ССР. Последний мы обоснованно считаем оккупационной администрацией.

Может случиться, что на очередных осенних выборах большинство кандидатов в депутаты выступит с платформой, содержащей требования, чтобы ВС Латв.ССР назвал себя истинным именем — оккупационным самоуправлением и приложил бы усилия к демонтажу оккупации. Таким мог бы стать путь развития ВС Латв.ССР.

— Многие представители других наций все еще настроены враждебно по отношению к устремлениям независимости, потому что боятся, что будут выкинуты, выгнаны из Латвии. Тут я имею в виду людей, у которых вроде бы нет видов на гражданство ЛР.

— Зачастую кажется, что тут действуют какие-то неведомые нам силы, дезинформирующие этих людей. В Латвийской Республике пятую часть населения составляли представители других наций, и у них тоже было полное право стать гражданами ЛР, если они прожили в Латвии 5 лет. Думаю, что тем, кто в соответствии с законом о гражданстве ЛР будет вправе стать подданным и выразит желание трудиться на ее благо, никто не станет чинить препятствия. А остальным остаются два варианта: если их не удовлетворит жизнь в ЛР, они смогут уехать или же смогут жить на территории ЛР в качестве граждан СССР до момента, когда обретут право принять гражданство ЛР. Правда, до тех пор, пока гражданство не будет получено, они не будут иметь права голосовать.

— Одна из причин, почему в движении так мало представителей других народов, вероятно, кроется именно в названии.

— Да, я сам тоже этим не очень доволен. Более подходящим было бы — Движение независимости Латвии. Но во время основания мы еще не могли так свободно говорить о ЛР, тогда мы могли лишь объявить, что боремся за право латышской нации на самоопределение.

— Какой видит ДННЛ экономическую модель Латвии? Нам постоянно повторяют, что Латвия не может обойтись без остальных 14 республик, и наоборот. Но ведь это анахронизм — считать, что экономические связи могут существовать только в той форме, какая сейчас сложилась между республиками СССР.

— В этом случае слово «независимость» неуместно. Так как многим неясна суть вопроса. Нет ни одного государства, экономически полностью независимого. Более уместно, по-моему, было бы говорить о самостоятельном государстве, самостоятельно определяющем свою экономическую жизнь, с кем вести торговлю, какие заводы строить и т. д. В 30-е годы Латвия по уровню жизни не отставала от небольших европейских стран — Дании, Голландии — и даже опережала Финляндию.

— На данный момент рассчитано, что, обретя полную политическую и экономическую независимость, мы смогли бы догнать Финляндию за 10 лет. В противоположном случае — никогда.

— При разработке экономической модели Латвии большую помощь может оказать интеллектуальный потенциал латышского народа, находящийся за границей. Они, может быть, не очень хорошо знакомы с условиями Латвии, но они ориентируются на мировом рынке и могут оценить шансы Латвии на выход на него. Есть даже фирма, которая занимается разработкой экономических моделей для различных развивающихся стран и регионов, там работает много латышей.

Большие территории в экономическом плане не поддаются контролю, их трудно свести воедино, пример в цивилизованном мире есть: чем меньше страна, тем выше в ней уровень жизни.

— Сколько членов на данный момент насчитывает ДННЛ?

— Точное число я не смогу назвать, пару недель назад было более 8 тысяч. Поступила информация из отделений, что сейчас наблюдается разкий наплыв. Фактически в каждом районе Латвии есть отделения, и все, желающие вступить в ДННЛ, обращаются в районные отделения. Радует, что к нам наконец стали приходить представители творческой интеллигенции, раньше они занимали выжидательную позицию.

— Чем займется ДННЛ, когда Латвийская Республика будет восстановлена *de facto*?

— Сложит свои полномочия и завершит деятельность.

— Благодарю за беседу!

Беседу вела БАЙБА ОЗОДИНЯ

НАМ ПИШУТ...

В редакцию журнала «Родник»,
СССР, 226081, Рига, Баласта
дамбис, 3, а/я 35

kkuzminsky
PODVALЬ
150 Brighton 15th, 10 P
Brooklyn, NY 11235, USA
5 апреля 89,
н-й, подваль

Господа,

я категорически протестую против связывания моего имени (в публикации В. Константиади, «Родник», № 12, 1989, стр. 72—73) с именами Проф. М. Фридберга и покойной госпожи Элленди Проффер, а паче сам факт переписки с таковой. Переписывался я с ее поныне здравствующим супругом по поводу опубликованных без аннотаций фотографий из моего архива и неопубликованного каталога выставки «Под парашютом» (Ленинград, 1974), а также справлялся у него, «что за дальтоник оформляет обложки его издательства?». Лишь позднее я выяснил, что автором всех обложек являлась его покойная супруга.

Помимо, в адрес издательства «Ардис» мною было направлено письмо (по настоянию Саши Соколова), с просьбой разрешить включить его стихи из романа «Между собакой и волком» в публикуемую мною антологию. Благоприятный ответ, за подписью неизвестного мне секретаря (секретарши?) был своевременно получен и хранится в соответственном ему месте. Факт переписки с покойным Х. Л. Борхесом подтверждаю, но таковой нуждается в некоторых комментариях. Большая часть ее велась на языке «ток-писин» (неомеланезийском), который я изучил по руководству Дьячкова, Леонтьева и Торсуевой (М., Наука, 1981), частью же — на креольском диалекте «токи-токи» Малых Антиль и Северной Гвианы, родном языке г-на Борхеса, частью на южно-американском испанском. Результатом этого является некоторая трудночитаемость текстов, вычетом совместного творчества на «текс-мекс» (техасско-мексиканском варианте английского). Х. Л. Борхес особенно затруднялся прочтением первой части 3-ей главы моего романа «Хотэль цум Тюркен», а именно текста «Leopold Havelka» и требовал разъяснений для доброй четверти слов, заимствованных из языков угро-финской группы (марийского и эстонского), а также выражений на идиш.

Я же, в свою очередь, не мог осилить прочтение текста Борхеса «Doudou from Jamaica», особенно в заимствованиях из голландского и мало знакомого мне французского.

Единственным результатом нашего сотрудничества надлежит считать текст «Chapter Español», а равно и единственный сохранившийся у меня автограф Х. Л. Борхеса «Extra Saludo sordida...», ксерокопия которого прилагается.**

По памяти (так как большая часть архива была выброшена чернорабочими поляками, албанцами и эквадорцами, нанимаемыми русскими домовладельцами по соображениям экономическим — выброшена на помойку при очередном переезде из подвала в подвал, о чем публикатор — не говоря уже о публикаторе — горько жалеет) воспроизвожу еще 2 текста Хорхе Луиса, написанные, сколько я могу судить, по-испански:

Esat bueno del Rojo puerto
Los escapados Maria muerte
Rojo di burro mi esta enferma
Presto del terra, presto del terra

Busca venido un pronto di veras
Pobre estancia los Estanjeros
Por supuesto pedaso di sorte
Casa del norte, casa del norte

и второй, сохранившийся где-то в автографе (и даже с авторскими правками! но увы...):

agradecido si bueno caballero
enamorado dadivoso firme rico
puerto conde verdadero canoso

buena doña travestina mariposa
el moro sin conquista de la rosa
cercano tactio anselmo de un pico

honesto sabio asote sollicita
ilustre grande sierratapobana
albagca noble sin almendra carmensita

lasombra roja arma calibana
ho, sincia remedio fan grande
honrada mentirosa y urgada

(feb. 4. 1979, Texas)

Более ничем, к сожалению, помочь не могу. Посылаю вам копии сохранившихся текстов ***, письма же, как было изъяснено, погибли. Равно и немногие фотографии. С глубоким почтением, К. Кузьминский. Приношу также благодарность редакции за многие опубликованные материалы в немногих дошедших до меня выпусках. С почтением, К. К. К.

Leopold Havelka

This text is written thanks to the
delightful Romanische dishter
Ivanceanu in Alte und GROSSISCHE
Wiena
AD 1975, October, 8

Welcone, You, lotry und shabery, Bielorusians mit Ukrainish geschriben das Künstler und painter sans l'oeil. Yomkippurisch Blit monster Sie Branchen Teobaldus Grossier mit Poline zum Aliosha geschlossen — Potz und tausend Potz — meine Herren und Damen, genuk. Genug trepara, You, bloody busters of Socialismus der Aktress la bona New-York, showing Your loosy cunt, shaving belly, la belle Parisien curtizanus, anus mit Toches, geschlossen, Amen.

Miniatürische, mit Bliebe, mein Liebe Moskwitchka, Natürlich, jawohl. Sevsius das früleim Olimpus, Sevsius das Früleim, my Goodness, amore. Anchor la Polische blood sangue la putta Sangrada, sinitsamoskovska, Poline. La poulette, You, incredible whore, bitte, Rauchen nicht, Nachtigall lubricated by finger — fis donc. Jawohl, Kuperman vibirayet lopuh, cara, lecken Sie muust meine Saatana arsh, väjke nejju mit we suur vitt.

L'amore, Poline, servus, prostschatye, M-me, und fare-the-well, distributor! Take it on motokutka, Mal'utka, kochana, psia krew. Krivizna of Your legs, und kugu outstretched pečka. Balalayka in yey verentesh. Do svidanja, bul'-bul', la puffana Poline, na La Plata rasplata sans coeur. Sacredon, mein Herr, izi ider nicht Liebe olen'. Das ist Lenin tiska triste Ostia floating v mer. Adiós, mein Herr, meine Damen zusammen, chin-chin!

Peste, mal'utka, Polina mit breast. Take it easy, Madame, Eesti kelt das ist Grossische schrift. Qoe carajo, my löve, mein Liebe, mu armus — prostschaty! Ivan-chay das ist flower und gebt eine kiss, meine Früleim, marucha und miss. Bye-and-bye. Up to Paris, my tits!

* — письмо публикуется с сокращениями, касающимися отдельных частных моментов. (прим. ред.)

** — к сожалению (и, признаться, удивлению редакции), качество ксерокопии не допускает их репродуцирования в журнале (прим. ред.)

*** — см. ** (прим. ред.)

М. АГЕЕВ

РОМАН С КОКАИНОМ

2.

Случилось это в августе, когда вернувшийся из Казани Яг прямо с вокзала заехал за мной, разбудил, растормошил, заставил одеться и потащил с собой. Внизу его ждал лихач, но, видимо взятый с вокзала, был не из лучших. Лошадь была понура и мала для такой высокой, на автомобильных шинах, пролетки, да и сама пролетка имела на мою сторону шибкий крен, лакированные крылья ее были растресканы и швы их разлезались рыжей гнильцой. Яг был в светлом сером костюме с морщинистыми складками на рукавах — вероятно от чемодана, в белой панаме с трехцветной ленточкой, — а лицо его было желтое, — с красными, как крапивные ожоги, пятнами под глазами, и в светлых волосах бровей и в уголках глаз — вагонная грязь. Я все присматривался к черным и влажным крошкам гари в углах его глаз — испытывая болезненный соблазн вытащить их оттуда пальцем, обернутым в платок. Но Яг понял мой взгляд иначе. И все поднимая руку с надетым на рукав и съезжавшим вниз крюком палки, и пригибая передок панамы, который от ветра волнисто загибался, он улыбнулся мне воспаленными губами. — Все такой же красавец, — крикнул он мне сквозь ветер, — а между тем вижу, — тут его панаму опять загнуло вверх, — вижу в твоих глазах, — кричал он, бессмертную тоску безденежья. И что-то бормоча в ветер, кажется — не зыщи, — или что-то в этом роде, Яг, сморщившись и съезжая на спине, чтобы легче залезть в карман, вытащить трубочку сторублевых, и, вырвав из них одну, скомкать и воткнуть мне в руку. — Бери, бери, — злобно крикнул он, своей сердитостью предотвращая мой отказ; — чай от русского берешь, дура твоя голова, не от европейца какого-нибудь. И сразу заговорил о Казани и об отце, которого называл папаней, и рассказывать стало вдруг легче, потому что пролетка, въехав в полосу асфальта, шла как в сливочном масле — ощущение, с которым спорило цоканье копыт, столь участившееся, точно лошадь вот-вот поскользнется.

Мне, однако, было нехорошо. Эти сто рублей, которые были для меня неожиданны и радостны, сделали меня, как я этому внутренне не упирался, униженно податливым по отношению к Ягу. С преувеличенным вниманием слушал я неинтересный для меня рассказ о папане, заботливо давал Ягу место, с которого он из-за крена все съезжал в мою сторону, и внутренне сопротивляясь и в то-же время все больше подчиняясь этой подленькой необходимости, не только исходящей от моей воли, но просто даже противной ей, с унизительной ясностью чувствовал, как все больше теряю ту независимую насмешливость над Ягом, то самое мое лицо, которому он собственно дал эти деньги. Еще я чувствовал, что это мое настоящее лицо где-то ужасно близко во мне, и что я верну его себе тотчас, лишь только избавлюсь — не от денег, они мне были нужны, — а от присутствия Яга. Но уйти было нельзя и, воспользовавшись какой-то плоской Ягиной шуткой, и рассмеявшись ей столь отвратительно, что с наслаждением ударил бы сам себе по морде, я, — совершенно так, словно только-что своровал их, — сунул деньги в карман.

(Продолжение. Нач. в № 6, 1989.)

Водку пили в каком-то ресторане трактирного пошиба, сугубо русское название которого — Орел, — красовалось на вывеске белыми буквами по желтому, переливающему в зеленый, фону. Водку в белом чайнике подавал половой, и я с завистью каждый раз смотрел, как Яг ее пил из чайной чашки. Он выливал водку себе в рот, горло совсем не глотало, а лицо его после этого не только не морщилось, но всегда делалось таким, будто в него вошло что-то светлое.

Я так не мог. Мокрый водочный ожог, в особенности после глотка, когда первое дыхание, холодя пылающие рот и горло, приобретало отвратительный запах спирта, был мне чрезвычайно противен. Я пил водку, потому что пьянство почиталось одним из элементов лихости, и еще потому, что кому-то и зачем-то доказывал силу: пить больше других и быть трезвее, чем другие. И хотя мне и самому уже было ужасно худо, и каждое движение нужно было себе заказывать, а уж потом только с чрезвычайной сосредоточенностью проделывать, — но я ощутил это как приятную победу, когда Яг, уже после многих чайников, выпив из чашки, вдруг закрыл глаза, начал белеть, и подперев голову ладонью, так дышал, что весь раскачивался. В помещении уже горело электричество, вокруг лампы, смыкая круг, носились мухи, и машина, трясая деревянными лирами на синей сетке, надрывно выпускала сквозь нее свою мертвую музыку.

Уже поздно, к самому закрытию, мы еще попали в модное кафе, и там, глядя в зеркала на свои невыспавшиеся лица, шагали по паркету, как по качающейся палубе: с наклоном вперед и быстро, когда она под нами приподнималась, — и откинута назад и тормозясь, когда она под нами падала. И там же у швейцара, который по смещению величественности и подобострастия напминал опального вельможу, Яг прикупил самогона, и еще сговорился с двумя кельнершами ехать сперва кататься, а потом к ним домой.

Внизу, у темного и гулко пассажира, где нам пришлось их ждать, — мы перезнакомились. Их звали Нелли и Китти, но Яг, тут же переименовав их в Настюху и Катюху и отечески хлопая всех по задачам, подгонял скорее садиться и ехать. У Китти я успел рассмотреть только ее маленькую сухопарую фигурку, и, точно мышинные хвостики, приклеенные к щекам колечки волос. Ехать мне пришлось с Нелли, и ехать было приятно и ветренно. Редкие прохожие и ряды фонарей были равно неподвижны, и лишь на известном приближении трогались из общего ряда и пролетали мимо. Нелли сидела рядом. Ее шея была заметно искривлена, но улыбкой и постоянно скошенными глазами ей временами удавалось преобразовать это уродство в кокетливость. И вероятно потому, что в моей голове шибко дрожала водка, я, — освобожденный от необходимости воображать все то, что обо мне подумают прохожие, — целовал ее. У нее была очень противная манера: пока я прижимался к ее твердо зажатым, мокрым и холодным губам, она мычала сквозь нос ммм . . . , причем тональность этого ммм все повышалась, и на какой-то, самой высокой и пискливой ноте, она начинала вырываться.

После темных ворот, над которыми, сквозь невидимый фонарь, керосиновой желтизной просвечивала восьмерка,

составленная из двух кокетливо незамкнутых и несоприкасающихся кружков, и где лихачи, соскочив и с обиженой грозностью просили прибавки, — Нелли и Китти, держа нас за руки, тянули по темной лестнице и, долго провозившись с замком, ввели в темный коридор чужой квартиры. Потом отворили еще какую-то дверь, и в темной комнате обозначилось предутреннее светящееся окно, в которое упала ночь, когда зажгли лампу. — Только тише, ради Бога тише, господа, — прикладывая к горлу рабочую руку с наманикюренными ногтями, умоляюще просила Нелли, в то время, как Китти, осторожно отодвинув диванчик и зайдя за него, накидывала на стоящую лампу красный шелковый, с бахромой, платок. — Милая, не сумлевайтесь, — полным голосом кричал Яг, отчего девочки, как по команде, так втянули головы, словно их сейчас ударят. — Ежели ваши легкие и диванные пружины в исправности — шуму не будет. — И Яг стоял и улыбался, и закинув голову, широко раскрывал всем свои объятия. Только когда, наконец, расселись на диванчик у столика, и Яг первым выпил мутного, как болотная вода, самогону, — с ним стало нехорошо. Его белое лицо сразу шибко смокло, он шумно засопел носом, потом поднялся, широко раскрывая рот, пошел к окну, и легши грудью на подоконник и сотрясаясь спиной, начал блевать. Меня тоже мутило, я все глотал, глотал, но снова у меня сразу натекал полный рот. Китти сидела, стыдливо закрыв лицо руками, но сквозь пальчики на меня смотрел ее смеющийся черный глаз. Нелли же смотрела на Яга, углы ее губ были презрительно опущены, при этом она так покачивала головой, будто предчувствия ее относительно нас полностью подтвердились.

От окна Яг возвратился весьма довольным и, вытирая слезы и рот, по новому предприимчивый, шлепнулся к нам на диван. — Ну-с, а теперь пожалуйста бриться, — сказал он. И обняв Нелли, начал притискивать ее к себе. Каждый раз, когда она отбрасывала его лицо ладонью, Яг, не выпуская ее, оборачивал голову и смотрел на меня, а я, словно подбадривая его в каком-то очень смешном деле, поощрительно ему улыбался. Чтобы окончательно притянуть к себе Нелли, Яг валился все больше в ее сторону, и наконец, высоко подняв ногу, которая гуляла в воздухе в поисках опоры, — уперся ею в стол и с силою толкнул его от себя.

Несколько секунд после этого, показавшегося нам таким странным, грохота, — мы сидели, как закованные, прислушиваясь и громко дышали. В посветлевшем окне видно было, как на проводах сидели воробьи, и это напоминало колючую проволоку. С ужасными предосторожностями, стараясь не производить при этом ни единого звука, я начал поднимать упавший столик так, словно тишина, при которой я его подниму, могла в какой-нибудь мере уменьшить грохот, произведенный его падением. — Ну, авось, — начал было Яг, но с бешеными глазами Нелли сделала шшш, а Китти предостерегающе вытянула руку и все продолжала ее так держать. И в самом деле, как раз в этот момент, где-то в коридоре тихо хлопнуло, потом зашаркало, потом приблизилось и наконец затихло у самой нашей двери, ручка которой медленно и грозно начала опускаться вниз. И сперва в приоткрывшуюся дверную щель на меня тревожно посмотрел испуганный глаз, а затем дверь широко и нахально распахнулась и в комнату со скандальной решительностью шагнула мужская пижамы с поднятым вокруг прелестной женской головки воротником. Ее высокие каблуки красных и без задников туфель, волочили и стучали по паркету. — Ну, — сказала она, глядя на Нелли и Китти, будто ни меня, ни Яга в комнате не было. — Вы, я вижу, очаровательные жилицы. И это что же у вас так каждую ночь и будет, мм? Нелли и Китти сидели рядом на диване. Нелли, со своей кривой шеей, широко раскрытыми глазами смотрела в лицо говорившей, мигая и открыв рот. Китти опустила голову, пальцем рисовала круги на коленях, хмурясь, и как для свиста вытянула губы. Всех выручил Яг, и не потому вовсе, что был он уж очень пьян, а потому что, притворяясь шибко пьяным, он как бы вы-

ключал себя из числа виновных. Раскрывая объятия так напряженно широко, что в коленях сгибались ноги он животом вперед тяжело двигался навстречу пришедшей и, затянув пьяным блянем какую-то песню, тут же я оборвал и радостно остановился. И тут же между мной и хорошенькой владелицей квартиры произошел следующий разговор:

Она. Ваш товарищ прекрасно поет. Почему только он закрывает глаза. Ах, впрочем, да: чтобы не видеть, как я закрываю уши.

Я. Остроумие придает облику женщины то самое, что мужской костюм ее фигуре: подчеркивает имеющиеся у нее прелести и недостатки.

Она. Боюсь, что только благодаря моему костюму вы оценили мое остроумие.

Я. Это из вежливости. Было бы жаль по вашему остроумию оценивать вашу фигуру.

Она. Вашей вежливости можно было бы предпочесть галантность.

Я. Благодарю вас.

Она. За что?

Я. Вежливость безпола. Галантность сексуальна.

Она. В таком случае спешу вас заверить, что не в моих намерениях ждать от вас галантности. Да, впрочем, и где вам. Для того, кто галантен — женщина пахнет розой, а для таких, как вы, видно даже роза пахнет женщиной. А спроси вас, так вы даже не знаете толком, — что такое женщина.

Я. Что такое женщина? Нет, почему-же, — знаю. Женщина, это все равно, что шампанское: в холодном состоянии шибче пьянит и во французской упаковке — дороже стоит.

Развевая штаны и хлюпая каблуками, она подошла ко мне. — Если ваше определение правильно, — тихо сказала она, выразительно косясь на Нелли и Китти, — то я имела бы право утверждать, что ваш винный погреб оставляет желать много лучшего. — Испытывая стыдливый восторг победителя, я опустил голову и молчал. — Впрочем, — торопливо и почти шепотом добавила она, — может быть мы эту колючую беседу когда-нибудь сможем продолжить. Меня зовут Соня Минц. — И опустив голову, как бы заглядывая мне в лицо, пока я склонившись, почтительно целовал поданную мне руку, она с удивленным поощрением произнесла о-о, — и соорудила лисью мордочку, отчего китайски косыми сделались ее ужасно синие глаза. И тотчас, лишь только она, на этот раз всецело обращаясь ко мне и к Ягу, словно ни Нелли, ни Китти в комнате и не было, сказала нам, что ничего не имеет против нашего здесь пребывания, и только просит вести себя тише — лишь только сказав все это, она вышла и закрыла за собою дверь, как тотчас, словно по молчаливому уговору, или в одинаковости испытываемых нами чувств, — Яг разыскал свою панаму и палку, я взял фуражку и мы начали прощаться. И было так: пока Нелли и Китти провожали нас по коридору, какое-то отвращение, какая-то боязнь, что там, в квартире, услышат интимно сказанное между нами и связывающее меня с этими девочками слово — толкало меня возможно скорее уйти от них, не притрагиваясь, не разговаривая с ними, отделиться от них; но когда, спустившись с лестницы, я вышел во двор, мне вдруг стало жаль этих Нелли и Китти, мне стало как-то по хорошему жаль этих девочек, словно их кто-то, и я в том числе, горько и незаслуженно обидел.

3.

На следующее утро я проснулся, или вернее был просто разбужен чувством режущего беспокойства, напряженная радость которой была для меня очень необычна в оболочке тяжелой головной боли, жестяной сухости во рту и той, обычной после водки, серии уколов в сердце, словно туда зашили иглу. Было еще рано. По коридору прошлепала нянька и шептала пщ, пщ, пщ, пщ, и которые приписывались ею тому лицу, с которым она вела спор, —

видимо настолько ее возмутили, что остановившись у самой моей двери, она воскликнула: — ишь, ты, как бы не так. Я лег на бок, свернулся и вздохнул — дескать как мне тяжело, — а то время как мне было так славно и так радостно, — и сделал вид, что хочу заснуть, зная прекрасно, что в таком радостном беспокойстве не только заснуть, но и лежать-то совершенно невозможно. Из кухни стало слышно, как из открытого водопровода сухо застрекотала струя, которая от подставленной под нее кастрюли перешла в звенящий, тонально повышающийся, гул. И в звуках этих было нечто столь волнующее, что в необходимости выпустить излишек моих радостей, я приподнялся, и, шевельнув зашитую в сердце иглу и разливая ядовитую тупую боль по темени, изо всех сил заорал няньку. Водопровод сразу затих, но тупельного шлепанья совсем не было слышно и потому вдруг и бесшумно, как по воздуху, нянька вошла в дверь. Однако, даже и не глядя, я знал совершенно безошибочно, чем вызвана эта бесшумность ее шагов.

— Что это, Вадичка, — сказала она, — ни свет, ни заря, ты кричишь так. Только барыню разбудишь. — Ее шестидесятилетнее, крошечное, цвета осеннего листа личико, было пасмурно и озабочено.

— Ты что-же, чертова кукла, теперь летом в валенках ходишь, — спросил я ее, и не подымая головы, слушал, как между затылком и подушкой затихающе дрожит тупая боль. — Очень ноги болят, Вадичка, — сказала она просительно, а потом сразу деловито: — только за тем и звал? — И нянька, укоризненно раскачивая головой и закрыв ладонью рот, смотрела на меня смеющимися и любящими глазами. — Да, да, — сказал я, стараясь обмануть ее сонным спокойствием голоса, — только за тем, и тут-же, бешено выпрыгнул из кровати и, согнувшись вдвое, как убийца перед прыжком, закидывая назад руки, словно в них были кинжалы, и топающими босыми ногами изображая преследование уже в страхе бегущей няньки, дико орал: — пшла, эй, догоню, улюлю, брысь отсюда.

Этим, однако, то представление, которое я в это утро разыгрывал перед воображаемыми мною синими глазами Сони Минц, нисколько не закончилось. Все, что я делал в это утро — я делал не так, как обычно, а именно так, будто и вправду эта Соня неотрывно смотрела и следила за мною с восхищением. (Восхищение ее я приписывал именно тому изменению, которое отличало мои сегодняшние действия от обычных.) Так, вынув из шкафчика чистую и единственную мою шелковую рубашку, я осмотрев, бросил ее на пол только потому, что в плече чуть-чуть разошелся шов, и потом так ходил по ней ногами, словно у меня их целая дюжина. Бреясь и порезавшись, продолжал скоблить по резаному месту, будто мне вовсе и не больно. Меняя и скинув белье, выпячивал до последней возможности грудь и втягивал живот, точно и вправду у меня такая замечательная фигура. Отведав кофе, с капризной избалованностью отставил его в сторону, хотя оно было вкусно и мне хотелось его выпить. Невольно в это утро и впервые я столкнулся с этой удивительной и непобедимой уверенностью, что таким, каков я на самом деле есть, я никак не смогу понравиться, полюбить любимому мною человеку.

Когда, заботливо прощупав в кармане яговскую сторублевку, я вышел на улицу, — было часов одиннадцать. Солнца не было, небо было низким и рыхло белым, но вверх нельзя было смотреть — слезило глаза. Было душно и парило. Мое беспокойство все усиливалось. Оно владело всеми моими чувствами и уже даже болезненно ощущалось в верхней части будто портящегося желудка. По дороге в цветочный магазин, проходя мимо модной и дорогой гостиницы, я зачем-то решил зайти. Толкнув четырехстворчатую карусель двери, в зеркальное стекло которой дрогнув, поехал соседний дом, я зашел внутрь и перешел через вестибюль. Но в кафе было так пустынно, таким безпокойством путешествия пахли эти запахи сигарного дыма, крахмала скатертей, меда, кожи кресел и кофе, что почувствовав, что не высижу здесь и одной

минуты, сделал вид, будто кого-то разыскиваю, снова вышел на улицу.

Точно я не знал, когда именно возникло во мне решение послать Соне цветы. Я только чувствовал, что объем этого решения возрастал по мере моего приближения к цветочному магазину: сперва я представлял себе, что пошлю ей корзину за десять рублей, потом за двадцать рублей, потом за сорок, — и так как, по мере возрастания количества цветов, росло радостное изумление Сони, — то уже вблизи магазина я укрепился в необходимости истратить на цветы все имеющиеся у меня сто рублей. Пройдя мимо цветочного окна, в котором цветы морщились заплаканными пятнами, изнутри по стеклу струила вода, — я переступил порог. И вдохнув сырой и душный сумрак, — вдруг мысленно зажмурился от внутреннего и страшного удара: в магазине стояла Соня.

На мне была старая, еще гимназическая фуражка, с выцветшим околышем и треснувшим козырьком, — с выбитыми коленями брюки, у меня нехорошо тряслись ноги, и я гадко, как на пожаре, вспотел. Но уйти было невозможно: передо мной стояла продавщица и спрашивала — угодно-ли мосье корзину или букет — и уже успела указать рукой на десяток различных цветов, знакомых мне по виду, но которым я в большинстве не знал названий, и потом перечислила с десятком названий, большинство которых я не знал, как они выглядят.

Как раз теперь Соня обернулась и, спокойно улыбаясь, пошла на меня. На ней был серый костюм, пучок суконных фиалок был скверно приколот и морщил борт, ботинки ее были без каблуков и шагала она не по женски выворачивая носки. Только, когда она прошла мимо меня к кассе, находившейся позади, я уразумел наконец, что улыбалась-то она вовсе не мне, и вообще не тому, что видела, — а тому, о чем думала. И тут-же за моей спиной ее голос, какой-то особенный, с трещинкой, который я все утро никак не мог вспомнить, сказал распахнутому перед ней дверь приказчику: пожалуйста, цветы пошлите сейчас-же, а то господин этот может уйти и очень будет досадно. Спасибо, — и она вышла.

Когда по дороге домой я все высматривал местечко, куда-бы мне выбросить эти, приличия ради, купленные несколько гвоздик, — я уже знал, что с Соней покончено навсегда.

Конечно, я прекрасно понимал, что между мною и Соней решительно ничего еще не было, что все, что было — это было не в отношениях с нею, а только во мне самом, что очевидно Соня об этих моих чувствах знать не может, и что я видимо принужден буду как-то передать и возбудить в Соне мои чувства. Но вот именно это-то сознание необходимости добиваться Сониной любви, эта необходимость излагать, убеждать, уговаривать чужое мне существо, — все это с совершенной искренностью говорило мне, что с Соней все кончено. Может быть и вправду в уходевании есть какая-то противная ложь, какая-то обсахаренная улыбками настоженная враждебность. Но теперь я это чувствовал особенно остро, и какая-то оскорбленная горечь отталкивала меня от живой Сони, лишь только я начинал думать о необходимости добиваться ее любви. Хорошенько я не мог объяснить себе это трудное чувство, но мне казалось, что если бы меня, честного человека, заподозрила бы в краже любимая мною девушка, то совершенно такое же чувство оскорбленной горечи не допустило бы меня до унижения убеждать ее, эту любимую мною девушку, в моей невинности, — между тем как с совершенной легкостью я это сделал бы по отношению к любой другой женщине, к которой-бы был равнодушен. В эти короткие минуты я впервые и на самом деле убеждался в том, что даже в самом сквернейшем человечке бывают такие чувства, такие непримиримо гордые и требующие безоговорочной взаимности чувства, которым страдание горького одиночества милее радостей успеха, достигнутого унижающим посредничеством разума.

И что это за господин, которому она посылает цветы, — думалось мне, и усталость была такой, что тянуло лечь

тут-же на лестнице. Господин. Госпо-дин. Что же это такое за слово. Барин — да, это понятно и убедительно. А господин это что-же, это финтифлюшка какая-то. Я отомкнул дверь, прошел коридорчик нашей бедной квартиры и в чайнии скорее лечь на диван прошел к себе в комнату. В ней уже прибрали, но было по летнему пыльно, светло и убого. А на письменном столике лежал пузатый пакет из белой шелковой бумаги и заколотый по шву булавками. Это были Сонины цветы, с запиской и с просьбой встретиться сегодня-же вечером.

4.

К вечеру дождь перестал, но тротуары и асфальт были еще мокры, и фонари в них отсвечивались, как в черных озерах. Гигантские канделябры по бокам гранитного Гоголя тихо жужжали. Однако их молочные, в сетчатой оправе, шары, висевшие на вышках этих чугунных мачт, плохо светили вниз и только кое-где, в черных кучах мокрой листвы мигали их золотые монеты. А когда мы проходили мимо, — с острого, с каменного носа отпала дождевая капля, в падении зацепила фонарный свет, сине зажглась и тут же потухла. — Вы видели, — спросила Соня. — Да. Конечно. Я видел.

Медленно и молча мы прошли дальше и завернули в переулок. В сырой тишине было слышно, как где-то играли на рояле, но — как это часто бывает со стороны улицы, — часть звуков была вырвана, до нас доходили только самые звонкие и так пронзительно шлепались о камни, будто там в комнате лупили молотком по звонку. Лишь под самым окном вступили выпадавшие звуки: это было танго. — Вы любите этот испанский жанр, — спросила Соня. Наугад я ответил, что нет, не люблю, что предпочитаю русский. — Почему? — Я не знал почему, — Соня сказала: — испанцы всегда поют о тоскующей страсти, а русские о страстной тоске, — может быть поэтому, мм? — Да, конечно. Да, именно так . . . Соня, — сказал я, со сладким трудом преодолевая ее тихое имя.

Мы зашли за угол. Здесь было темнее. Только одно нижнее окно было очень ярко освещено. А под ним, на мокрых и круглых булыжниках, светился квадрат, словно на земле стоял поднос с абрикосами. Соня сказала — ах — и выронила сумочку. Быстро наклонившись, я поднял сумочку, достал платок и начал ее вытирать. Соня же, не глядя на то, что я делаю, а напряженно глядя мне в глаза, протянула руку, сняла с меня фуражку и осторожно, как живую кошечку, держа ее на согнутой руке, гладила кончиками пальцев. Может быть, поэтому, а, может быть, еще потому, что она все неотрывно смотрела мне в глаза, — я, (сумочка в одной, платок в другой руке), в жестокой боязни, что вот-вот упаду в обморок, шагнул к ней и обнял ее. — Можно, — сказали ее утомленно закрывшиеся глаза. Я склонился и прикоснулся к ее губам. И может быть, именно так, с такой же нечеловеческой чистотой, с такой же, причиняющей драгоценную боль, радостной готовностью все отдать, и сердце и душу и жизнь, — когда-то, очень давно, сухие и страшные и беспольные мученики прикасались к иконам. — Милый, — жалобно говорила Соня, отодвигая свои губы и снова придвигая их, — детка, — родной мой, — любишь, да — скажи же. Напряженно я искал в себе эти нужные мне слова, эти чудесные, эти волшебные слова любви, — слова, которые скажу, которые обаян сейчас же скажут ей. Но слов этих во мне не было. Будто на влюбленном опыте своем я убеждался в том, что красиво говорить о любви может тот, в ком эта любовь ушла в воспоминания, — что убедительно говорить о любви может тот, в ком она всколыхнула чувственность, и что вовсе молчать о любви должен тот, кому она поразила сердце.

5.

Прошло две недели, и в течение их мое ощущение счастья с каждым днем становилось все более беспокой-

ным и лихорадочным, с примесью той надрывной тревоги, присущей вероятно всякому счастью, которое слишком толсто сплывает в нескольких днях, вместо того, чтобы тоненько и спокойно разлиться на годы. Во мне все двоилось.

Двоилось ощущение времени. Начиналось утро, потом встреча с Соней, обед где-нибудь вне дома, поездка за город, и вот уже ночь, и день был, как упавший камень. Но достаточно было только приоткрыть глаза воспоминаний — и тотчас эти несколько дней, столь тяжело нагруженных впечатлениями, приобретали длительность месяцев.

Двоилась сила влечения к Соне. Находясь в присутствии Сони в непрерывном и напряженном стремлении нравиться ей и в постоянной жестокой боязни, что ей скучно со мною, — я к ночи бывал всегда так истерзан, что облегчаюсь вздохом, когда Соня, наконец, уходила в ворота своего дома и я оставался один. Однако не успевал я еще дойти до дому, как снова начинала зудить во мне моя тоска по Соне, я не ел и не спал, делался тем лихорадочнее, чем ближе подступала минута новой встречи, чтобы уже через полчаса совместного пребывания с Соней — снова замучиться от потуги быть занимательным и почувствовать облегчение, когда оставался один.

Двоилось ощущение цельности моего внутреннего облика. Моя близость к Соне ограничивалась поцелуями, но эти поцелуи вызывали во мне только ту рыдающую нежность, как это бывает при прощании на вокзале, когда расстаются надолго, может быть, навсегда. Такие поцелуи слишком действуют на сердце, чтобы действовать на тело. И поцелуи эти, будучи как бы стволом, на котором росли отношения с Соней, понуждали меня превращаться в мечтательного и даже наивного мальчика. Соня словно сумела призвать к жизни те мои чувства, которые давно перестали во мне дышать, которые были поэтому моложе меня, и которые своей молодостью, чистотой и наивностью, никак не соответствовали моему грязному опыту. Таков я был с Соней и уже через несколько дней уверовал в то, что я и на самом деле есть таков, что ничего и никого другого во мне быть не может. Однако через два-три дня, встретив на улице Такаджиева (которому я еще в гимназии к его вящему удовольствию и одобрению проповедывал мой «сугубый» взгляд на женщин), и который в течение последних дней уже несколько раз видел меня в обществе Сони, — я, еще издали увидев Такаджиева, почувствовал внезапно какую-то странную совестливость перед ним и неприменную необходимость оправдаться. Вероятно, совершенно такую же совестливость должен испытывать вор, отказавшийся от своего ремесла под влиянием трудовой семьи, в которой он поселился, и который теперь, встретив своего бывшего товарища по воровству, совестится перед ним, что до сих пор не обворовал своих благодетелей. И после ответственной матерщины я рассказал ему о том, что мои частые свидания с этой женщиной (это с Соней-то) объясняются исключительно эротическими потребностями, которые она-де умопомрачительно умеет возбуждать и удовлетворять. Моя двойственность, моя раздвоенность при этом заключалась не столько в той лжи, которую говорили мои губы, сколько в той правдивости, с которой всколыхнулось во мне естество наглого молодчины и ухара.

Двоились чувства к окружающим людям. Под влиянием моих чувств к Соне я стал, — по сравнению с тем, как это было раньше, — чрезвычайно добр. Я щедро давал милостыню (более щедро, когда бывал один, нежели в присутствии Сони), я постоянно дурачился с нянькой, и как-то, возвращаясь поздно ночью, вступился за обиженную прохожим проститутку. Но это новое для меня отношение к людям, это, как говорится, радостное желание обнять весь мир, — тотчас обнаруживало желание этот же мир разрушить, лишь только кому-нибудь, хотя бы и косвенно, приходилось противоборствовать моей близости и моим чувствам к Соне.

Через неделю те сто рублей, что дал мне Яг — были истрачены. Оставалось лишь несколько рублей, с которыми я уже не мог встретиться с Соней, ибо в этот день мы уговорились вместе обедать и потом ехать и оставаться до ночи в Сокольниках.

Выпив утреннее кофе, с отвращением глотая его из той взволнованной сытости, которая доходила до рези в желудке, — все от мысли о том, — что же будет, и как же мне при этом безденежья удастся проводить все эти дни с Соней, — я зашел в комнату к матери и сказал, что мне нужны деньги. Мать сидела у окна в кресле и была в этот день какая-то особенно желтенькая. На коленях у нее спутанно лежали разноцветные нитки и какое-то вышивание, но руки ее лежали как брошенные, а выцветшие старые глаза в тяжелой неподвижности смотрели на угол. — Мне нужны деньги, — повторил я, по утиному растопыривая пальцы, ибо мать не шелохнулась, — мне нужны деньги и немедленно. Мать с видимым трудом чуть приподняла руки и в покорном отчаянии дала им упасть. — Ну, что же, — сказал я, — если денег нет, так дай мне твою брошь, я заложу ее. (Эта брошь была для матери как бы священной и единственной предметной памятью об отце). Все также не отвечая и все также тяжело глядя прямо перед собой, мать шибко трясущейся рукой пошарила за пазухой старенькой своей кофточки и вытащила оттуда канареечного цвета ломбардную квитанцию. — Но мне нужны деньги, — кричал я в плаксивом отчаянии при одном представлении о том, что Соня уже ждет меня, и я не смогу к ней прийти, — мне нужны деньги и я продам квартиру, я пойду на преступление, чтобы добыть их. Быстро пройдя нашу маленькую столовую и выбежав сам не зная зачем в коридор, я наткнулся на нянюку. Она подслушивала. — Тебя еще только, старый черт, не хватало, — сказал я, жестоко толкнув ее и желая пройти. Но нянька, дрожа от смелости, словно для поцелуя захватив мою руку, сдерживая меня и глядя на меня снизу вверх умоляющим настойчивым взглядом, которым она всегда смотрела на икону, — зашептала. — Ва-дя, не обижай ты барыню. Вадя, не добивай ты ее; она и так сидит неживая. Нынче день смерти твоего отца. — И глядя мне уже не в глаза, а в подбородок, может у меня возьмешь. А? — Возьми, сделай милость. Возьми ради Христа. Возьмешь, — а. Возьми, не обессудь. — И нянька быстро зашлепала в кухню и через минуту принесла мне пачку десятирублевых. Я знал, что деньги эти она сберегла долголетним трудом, что копила она их, чтобы внести в богадельню, чтобы на старости, когда работать не будет уже сил, иметь свой угол, — и все-таки взял их. А подавая мне эти деньги нянька все шмыгала носом, и моргала глазами, и стыдилась показать свои счастливые, светлые, жертвенные слезы любви.

Два дня спустя случилось так, что проезжая с Соней вниз по бульварам, — мы ехали за город, — Соне понадобилось позвонить по телефону домой. Остановив лихача, — это было на площади вблизи нашего дома, — Соня попросила подождать ее на улице. Сойдя с пролетки, прохаживаясь в ожидании Сони, я дошел было до угла, когда вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я оглянулся. Это была мать. Она была без шляпы, седенькие волосики ее распушились, на ней была ватная нянькина кофта и в руке она держала веревочную сумку для провизии. Она просительно и пугливо погладила мое плечо. — Я, мальчик, раздобыла немножко денег, если хочешь я. — Идите, идите, — прервал я ее в ужасной тревоге, что сейчас выйдет Соня и увидит и догадается, что эта ужасная старуха — моя мать. — Идите же, говорю я вам, чтоб вашего духу здесь не было, — повторил я, не имея возможности здесь на улице прогнать ее силой голоса и потому назвал ее на «вы». И когда вернувшись к лихачу, я подсаживал тут же вышедшую Соню, то взглянув в ее синие глаза, косо жмурившиеся от солнца, бившего в лакированные крылья экипажа, — я уже испытывал такое счастье, что без содрогания посмотрел на седую голову, на ватную кофту и на опухшие ноги в стоптанных башмаках, которые трудно шагали по ту сторону мостовой.

На следующее утро, проходя по коридору к умывальнику, я столкнулся с матерью. Жалея ее и не зная, что мне сказать ей о вчерашнем, я остановился и погладил рукой ее дряблую щеку. Против моего ожидания мать мне не улыбнулась и не обрадовалась, лицо ее вдруг жалко сморщилось, и по щекам ее сразу полилось ужасно много слез, которые (как мне почему-то показалось), должны быть горячими, как кипятки. Кажется, она силилась что-то сказать, и может быть даже сказала бы, но я уже счел, что все улажено, я боялся опоздать и быстро пошел дальше.

Таковы были мои отношения к людям, такова была эта раздвоенность, — с одной стороны, влюбленное желание обнять весь мир, осчастливить людей и любить их, — с другой бессовестная трата трудовых грошей старого человека и безмерная жестокость к матери. И особенно странным здесь было то, что и бессовестность эта и жестокость нисколько не противоречили этим моим влюбленным позывам обнимать и любить весь живой мир — как будто усиление во мне, столь необычных для меня, добрых чувств — в то же время помогало совершать мне жестокости, к которым (отсутствуй во мне эти добрые чувства) — я не счел бы себя способным.

Но из всех этих многих раздвоенный — наиболее четко очерченным и остро ощущаемым — было во мне раздвоенное духовного и чувственного начал.

6.

Как-то, — уже поздно ночью, проводив Соню, возвращаясь домой по бульварам и переходя ярко освещенную и потому еще более пустынную площадь, — я обогнул сидевших на внешней скамье трамвайного вокзальчика проституток. Как всегда, — от их предложений и заигрываний, которыми они меня позвали, пока я проходил мимо, — я почувствовал оскорбленное самолюбие самца, в котором одним этим заигрыванием как бы отрицалась возможность получить бесплатно у других женщин то же самое, что они мне предлагали приобрести за деньги.

Несмотря на то, что проститутки с Тверской были по внешности подчас много привлекательнее тех женщин, за которыми я ходил и которых находил на бульварах, — несмотря на то, что пойти с проституткой обошлось бы денежно никак не дороже, — что опасность заболевания была равно велика, и что, наконец, взяв проститутку, я избавлялся от многочисленного хождения, поисков и оскорбительных отказов, — несмотря на все это, — я никогда не ходил к проституткам.

Я не ходил к проституткам по причине того, что мне хотелось не столько узаконенного словесной сделкой прелюбодеяния, сколько тайной и порочной борьбы, с ее достижениями, с ее победой, где победителем, как мне казалось, было мое я, мое тело, глаза, которые были моими и могли быть только у меня одного, — а не те несколько рублей, которые могли быть у многих. Я не ходил к проституткам еще оттого, что проститутка, взяв деньги вперед, — отдавала мне себя, выполняя при этом некое обязательство, — она делала это принудительно, — даже может быть (так воображал я себе), сжав при этом зубы от нетерпения, желая только одного, чтобы я поскорее сделал свое дело, и ушел и что в силу этого враждебного ее нетерпения — со мной в постели лежал не распаленный соучастник, а скучающий созерцатель. Моя чувственность была как бы повторением тех чувств, которые по отношению ко мне испытывала женщина.

Я не успел пройти и половины короткого бульвара, когда слышал, как кто-то поспешными мелкими шажками и тяжело дыша настигает меня. — Ух, насилу догнала, — сказал с противной профессиональной игривостью голос. Я оглянулся, увидел желтый свет, и в нем бегом шагающую на меня женщину. Я посторонился, но она круто повернула на меня, столкнулась со мной и обняла меня. И сразу ее тесно прилипшее ко мне и шибко грею-

щее тело задрожало меня в нижнюю часть живота, ее губы придвинулись, прижались, раскрылись и выпустили мне в рот мокрый, холодный и дергающийся язык. Испытывая то приличествующее такому моменту чувство, когда кажется, что вся земля обвалилась и остался только тот кусочек, на котором стоишь, — я, вероятно, чтобы не сверзиться вниз, чтобы держаться, тоже ее обнял. А дальше все было ужасно просто.

Сперва извозчицья пролетка, которая тряслась и будто не двигалась, потому что невольно мне виделся кусочек звездного неба, пока в блаженной жестокости я рвал ее губы. Потом ворота, и в стороне, на кончике воткнутой в дом кочерги, подвешенной золотой сапог, — а сами ворота деревянные и сплошные, в которых дверца открывалась, как в часах с кукушкой. Потом коридор, отбитая штукатурка с обнажившимися деревянными сплетениями, и клеенчатая дверь с ободками пыли во впадинах, турки вбитых в клеенку гвоздей. Потом стоячая духота каморки, керосиновая лампа и над нею, на черном потолке, яркое световое пятнышко, как от солнца сквозь увеличенное стекло. И одеяло из цветных лоскутков, сырое и тяжелое, словно с песком, и вяло сваливающаяся на бок женская грудь с расплывшимся каштановым соском и белыми вокруг пупырышками. И, наконец, остановка и точка всему, и уверенность, (в который раз и каждый раз по-новому), что распляющие чувственность женские телесные прелести — это только кухонные запахи: дразнят, когда голоден, — отвращают, когда сыт.

Когда я вышел, было уже утро. Труба с соседнего дома выпускала прозрачный жар, в котором, трясся кусочек неба. На улицах было пусто, светло и бессолнечно. Трамваев не было слышно. Только бульварный сторож, в гимназическом поясе при седой бороде и в фуражке с зеленым околышем, подметал бульвар. Поднимая тяжелое и тут же падающее облачко песочной пыли, он медленно наступал на меня, — похожий на циркуль, в котором сам он был укрепленной стороной, а метла на длиннейшей палке — другой, водящей полукруги промеж газонами. На песке, от жестких прутьев его метлы, оставался бесконечный ряд царапин.

Я шел и чувствовал себя так изумительно хорошо, так чисто, точно внутри у меня вымыли. На монастырской розовой башне золотые спицы на скучном черном циферблате показывали без одной минуты четверть шестого. Когда, перейдя площадь, я вошел в сырую тень бульвара, то с другой стороны башни на таком же черном циферблате, такие же золотые спицы показывали ровно четверть. И тотчас раздались тоненькие звуки и такие разрозненные, словно курица гуляла по арфе.

Через семь часов я должен был уже встретиться с Соной, и радость и нетерпение снова увидеть ее я вдруг почувствовал с такой свежесой, отдохнувшей силой, что знал, что заснуть уже не смогу. — Это измена, — говорил я себе, вспоминая ночь, но как чистосердечно и настойчиво ни пытался я прицепить это коварное слово хоть к какому-нибудь из испытываемых мною чувств, — как его сам себе ни навязывал, — оно решительно не удерживалось, отклеивалось, соскальзывало, отпадало от меня. Но если не измена — то что же это. Ведь если содеянное мною не измена, то это значит, что духовное мое начало несколько не ответственно за мое чувственное, что чувственность моя, как бы грязна она ни была, не может запачкать духовного, что чувственность моя открыта всем женщинам, духовность же только одной Соне, и что чувственность во мне как-то отделена от духовности. Я не столько знал, сколько чувствовал, что во всем этом есть какая-то правда, — но уже что-то тяжелое сдвинулось во мне, и я не смог отвернуться от возникшего во мне образа, в котором Соня, поставленная на мое место, совершает нечто подобное, и что с ней случается то самое, что случилось нынче со мной. Конечно, я и чувствовал и знал, что это совершенно невозможно, что ничего похожего с Соной случиться не могло и не может, но вот именно это-то сознание невозможности подобного происшествия с Соной — с очевидной ясностью говорило за то, что у нее-то,

у женщины, чувственность может и даже должна запачкать духовность, и что ее женская духовность отвечает в полной мере за проступок ее чувственности. Выходило так, что в ней, в Соне, в женщине — духовность и чувственность слиты воедино, и что признать их отделенными друг от друга, раздвоенными, взаимно неотчетственными и расколотыми, как у меня, — это значило расколоть себе жизнь.

И я представил себе, конечно, не Соно, а другую девушку или женщину примерно из такой же, как и я, семьи, и так же, как и я, в кого-нибудь влюбленную с чрезвычайной, с исключительной жаркостью. Вот она одна возвращаясь домой, вот в темноте бульварной ее догоняет какой-нибудь хлыщ, она не знает его, она даже не может хорошенько рассмотреть его, молод ли, уродлив или стар он, но вот он хватает ее, он гадко тискает и скверно целует — и она уже готова, она согласна на все, она едет к нему, и главное, уходя поутру, даже не взглянув на того, с кем проспала эту ночь, — выходит, и возвращается домой, не только не чувствует себя загрязненной, а с чистенькой радостью ждет свидания с человеком, в которого влюблена. К такой женщине как-то само собой подкрадывается страшное слово: проститутка. И получалось странное. Получалось, что если мужчина делает то, что он делает, — так он мужчина. А если женщина делает то, что мужчина, — так она проститутка. И выходило еще, что раздвоение духовности и чувственности в мужчине — есть признак мужественности, — а раздвоение духовности и чувственности в женщине есть признак проституционности.

Я начал слышать этот неожиданный для меня вывод. Вот я, Вадим Масленников, будущий юрист, будущий, как это утверждает окружающий меня мир, полезный и уважаемый член общества. А между тем, — где бы я ни был, в трамвае ли, в кафе, в театре, в ресторане, на улице — словом, всюду, всюду, — достаточно посмотреть мне на фигуру женщины, достаточно даже не видя ее лица, прельститься выпуклостью или худобой ее бедр, — и, свершив все по моему желанию, я бы, не сказав этой женщине и двух слов, уже потащил бы ее на постель, на скамейку, а то и в подворотню. И я бы несомненно так бы и поступил, если бы женщины позволяли мне этокое проделывать. Но ведь это раздвоение во мне духовного и чувственного начала, в силу которого во мне не встречается нравственных препятствий к осуществлению таких позывов, — ведь это то самое раздвоение и было же главной причиной того, почему мои товарищи признавали меня и молодчиной и ухарем. Ведь если бы во мне было полное слияние духовного и чувственного, то я бы ведь смертно влюблялся решительно в каждую женщину, которая чувственно прельщала бы меня, и тогда мои товарищи, беспрестанно смеясь надо мною, дразнили бы меня бабой, девчонкой или еще каким-нибудь другим словом, но обязательно таким, в котором было бы ярко выражено их мальчишеское презрение к проявляемому мною женственному началу. Значит во мне, в мужчине, это мое раздвоение духовности и чувственности воспринималось окружающими, как признак мужественности, молодчества.

Ну а вот если бы я, с этим моим раздвоением духовности или чувственности, был бы не гимназистом, а гимназисткой, девушкой. Если бы я, будучи девушкой, точно так же в кафе ли, в трамвае, в театре, на улице, словом, всюду-всюду, увидав мужчину, подчас не разглядев даже его лица, просто разволновавшись от мускулов его бедр (а в силу раздвоения во мне духовности и чувственности, не испытывая в себе препятствий к осуществлению этих моих позывов), тут же, бессловесно и с веселостью побуждала и разрешала бы тащить себя на постель, на скамейку, а то и в подворотню, — какое впечатление произвело бы такое мое действие на моих подруг, на окружающих, или даже на мужчин, которые имели со мной дело. Были бы эти мои поступки толкуемы и воспринимаемы, как проявление мною молодчества, ухарства, мужественности? Даже смешно подумать. Ведь даже сомнений не может возникнуть, что я тут же и реши-

тельно всеми была бы общественно заклеимлена, как проститутка, да к тому же еще не как проститутка в смысле жертвы среды или материальных страданий (такую ведь можно оправдать), — а как проститутка вследствие внешней проявляемости внутренних моих наитий, иначе говоря такая, которой уже нет и не может быть оправданий. Значит и верно и справедливо то, что раздвоение духовности и чувственности в мужчине есть признак его мужественности, — а раздвоение духовности и чувственности в женщине есть признак ее проституционности. И значит, достаточно всем женщинам дружно пойти по пути оужествления — и мир, весь мир превратится в публичный дом.

7.

Для влюбленного мужчины все женщины — это только женщины, за исключением той, в которую он влюблен: она для него человек. Для влюбленной женщины все мужчины — это только человек, за исключением того, в которого она влюблена: он для нее мужчина. Такова была та невеселая правда, в которой я все больше и больше уверялся, по мере длительности моих отношений с Соней.

Однако, ни в этот день, ни в последующие затем встречи с Соней — я не рассказал ей об этих моих мыслях.

Если людям, с которыми я сталкивался до знакомства с Соней, я не мог правдиво передать истинность моих переживаний, дабы не разрушить тем самым того налета молодечества, который мне во что бы то ни стало хотелось перед этими людьми изображать, — то с Соней я не мог быть искренен, не покалечив облика того мечтательного мальчика, которого она желала во мне видеть.

Рассказывать с полной правдой свои чувства товарищам, пред которыми я обязательно желал казаться молодой — было невозможно. Я понимал, что молодечество воспринимается, как таковое, лишь тогда, когда является результатом весело поверхностного мироощущения. Стоило мне поэтому изобразить свои переживания чуть более вдумчиво-глубокими, и тотчас все мои поступки, которыми я хвастался, становились гадостными, жестокими, ничем уже неоправданными.

Соня была первым человеком, перед которым мне уже не нужно было утруждать себя этой противно-веселой, бодрой наигранностью. Для нее я был просто мечтательным и нежным мальчиком. Но именно это обстоятельство, которое на первый взгляд столь располагало к откровенности — заставило меня испуганно спохватиться при первой же попытке рассказывать Соню про свою жизнь. При первом же позыве на откровенность с Соней я почувствовал, что не должен, не имею права, не могу быть откровенным. С одной стороны, я не мог быть откровенен с Соней потому, что невозможно же было мне, мечтательному мальчику, рассказывать о зараженной мною Зиночке, о моих отношениях с матерью, о том, как я прогнал мать из боязни, что Соня ее увидит, или, наконец, о том, что деньги, которые я плачу за лихачей или за мороженое, которое ест Соня, — принадлежат моей старой няньке. С другой стороны, я не мог быть откровенен с Соней, ибо даже попытки рассказывать ей хотя бы только о таких моих поступках, которые выказывали бы меня единственно с доброй, с благородной стороны — тоже никак не клеились: прежде всего добрых деяний в моей жизни вовсе не было, — далее (на случай, если бы я такие добрые мои деяния просто бы выдумал), рассказывать о них не доставило бы мне решительно никакого удовольствия, —

и, наконец, и это главное, — такие рассказы о моих добрых делах (хоть это и очень странно, но я так чувствовал), нисколько не послужили бы тому духовному сближению с Соней, которое ведь и было основной причиной, побуждавшей меня к откровенности. Все это мучило меня не столько потому, что я как бы обрекался на духовное одиночество, к которому я слишком привык, чтобы им тяготиться, — сколько той крайней бедностью разговорной темы, которая могла бы способствовать нашему сближению и росту чувств. Я понимал, что влюбленность — это такое чувство, которое должно все время расти, все время двигаться, что для своего движения оно должно получать толчки подобно детскому обручу, который, как только теряет силу движения и приостанавливается, так тотчас и падает. Я понимал, что счастливы те влюбленные, которые, в силу враждебных им людей или неудачливых событий, лишаются возможности часто и подолгу встречаться. Я завидовал им, ибо понимал, что влюбленность их растет за счет тех препятствий, которые возникают между ними. Встречаясь с Соней ежедневно, оставаясь с нею непрерывно много часов, я, как только умел, старался развлекать ее, но слова, которые я говорил ей, нисколько не способствовали ни росту наших чувств, ни духовному меж нами сближению: мои слова заполняли время, но не использовали его. Получались какие-то пустые, незаполненные минуты, которые особенно тяжело нависали над нами, когда мы садились на скамейку, оставаясь совершенно одни, и невольно побуждаемый страхом, что Соня заметит и почувствует тоскливые мои потуги, — я заполнял поцелуями эти все чаще и чаще случавшиеся пропуски недостающих мне слов. Так случилось, что поцелуи заместили слова, переняв на себя их роль нашего сближения, и совершенно так же, как слова, по мере сближающего знакомства, становились все откровеннее и откровеннее. Целуя Соню, я от одного сознания, что она любит меня, испытывал слишком нежное обожание, слишком глубокую душевную растроганность, чтобы испытывать чувственность. Я не испытывал чувственности, будучи как-то не в силах прободать ее звериной жестокостью всю эту нежность, жалостливость, человечность моих чувств, — и невольно во мне возникало сравнение моих прежних отношений с женщинами с бульваров и теперь с Соней, где раньше я, испытывая только чувственность в угоду женщине изображал влюбленность, а теперь, испытывая только влюбленность, в угоду Соне изображал чувственность. Но, когда, наконец, и поцелуи наши, исчерпав возможность доступного им сближения, вплотную подвели меня к той запретной и последней черте телесного сближения, переступить которую, — как мне тогда казалось, — предвещало наивысшую, доступную человеку на земле, духовную близость — тогда, решившись, я попросил Яга предоставить мне на несколько часов его комнату, чтобы встретиться и побыть там с Соней. В эту ночь, после того как, проводив Соню, я уже у самых ворот рассказал ей о том, что завтра мы будем у Яга и потом останемся одни, что в этом ничего «такого» нет, что Яг душевнейший малый, и что он мне лучший и преданный друг, — в эту ночь, когда Соня в ответ на мои заверения только промолвила свое о-о, и сделала лисью мордочку и китайские глаза, — в эту ночь, возвращаясь домой, я радовался не тем телесным радостям, которые меня на следующий день ожидают, а тому окончательному духовному владычеству над Соней, которое будет следствием этого телесного сближения.

(Продолжение следует)



Иллюстрация Айварса Рушманиса к роману
М. Агеева «Роман с кокаином»

I, IV обложки — оформитель **ОЯРС ПЕТЕРСОНС**
«РОДНИК», 1989, № 8, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

